

**Александр  
Столяров**

# **НОВАЯ КНИГА**

Днепропетровск  
АРТ-ПРЕСС  
2011

УДК 821.161.2-3.09  
ББК 84(4Укр-4Дні)6  
С 81

Автор  
**А. Н. Столяров**

До нової книги режисера, сценариста, поета Олександра Столярова ввійшли оповідання й повісті для дорослих і трішки для дітей.

Книга призначена для всіх, хто не втратив таланту міркування або хоче його придбати.

### **Столяров Олександр**

С 81 **Новая книга : [Рассказы, повести] / Александр Столяров. – Днепропетровск : АРТ-ПРЕСС, 2011. – 232 с.**

ISBN 978-966-348-259-0

В новую книгу режиссера, сценариста, поэта Александра Столярова вошли рассказы и повести для взрослых и немного для детей.

Книга предназначена для всех, кто не потерял дар рассуждения или хочет его приобрести.

**УДК 821.161.2-3.09**  
**ББК 84(4Укр-Дні)6**

*Автор благодарит меценатов  
«Центра православной культуры «Лествица»  
и лично депутата Андрея Шипко за финансовую помощь  
в издании книги.*

*На 1-й странице обложки – рисунок Александра Столярова.*

*На 4-й странице обложки – фотография Юрия Косина*

ISBN 978-966-348-259-0

© А. Н. Столяров, текст, 2011  
© А. Н. Столяров, рисунки, 2011  
© «Центр православной культуры  
«Лествица», 2011  
© АРТ-ПРЕСС, техническое  
оформление, 2011

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Перед нами книга, в которой автор сам сомневается, книга ли это. Смотрим на название: «Новая книга». Так озаглавлено. Попробуем разобраться, то есть, по крайней мере, начнем читать.

Сначала построение ее несколько смущает: какая-то мозаика, но в не законченном, не в собранном виде – эпизоды, эпизодики, а то и целые рассказы или почти повести представляют жизнь растрепы-недотепы, слегка бравирующего своей безалаберностью. Конфликтов тьма, катарсиса маловато. Но как-то исподволь, из-под этой заунывной, сиротской жалостливенькой музыки начинает прорастать чудная мелодия, глубокая и жизнеутверждающая. (Автор терпеть не может пафоса, но тут он сам попадается.) Это книга не столько про писателя, замученного проблемами творчества, сколько про метания верующего человека, настойчиво и постоянно нащупывающего границы своей веры.

При первом взгляде на это повествование бросается в глаза несколько назойливая откровенность. Это какая-то пассажирская откровенность: два человека сойдутся в поезде, разговорятся, изольют душу, чтобы навсегда расстаться и раствориться без следа в пустыне мира, чтобы никогда не вспоминать об этой откровенности. А вспомнишь, так еще, может быть, стыдно станет за то, что такая распахнутость никого ни к чему не обязывает.

Но разрозненное, хаотичное повествование становится все-таки книгой, подходя к финальной своей части, в которой (она называется «Детский мир») автор (он же и главный герой книги, но об этом потом) рассказывает истории о своих детях и сказки собственного сочинения, точнее, сочиненные вместе со своими детьми.

Свет финальной части книги ровный, устойчивый и настолько сильный, что хватает этой силы озарить и предыдущие части, и они уже воспринимаются по-иному. Оправданной и понятной становится неприцельная пристальность ко всяким мелочам жизни: не конфликты, не конфликтики в них главное, важно то, что они подталкивают к пониманию общей драматической ситуации, заложенной в книге: спору автора с самим собой по всякому малейшему поводу. Малосвязанность и хаотичность эпизодов исчезает, и вся книга предстает продуманной и в ней уже не находишь ничего случайного.

В книге Столярова, как в дантовской матрешке – ад, чистилище, рай, – вынимается одно из другого, и надо набраться терпения, чтобы прочитать всю книгу по порядку, а не бродить по ней из угла в угол как попало, мол, все равно ведь перед нами какое-то броуновое движение. Да, порядок таков: ад, чистилище, рай, но зато рай в такой матрешке выходит самой значительной куколкой, хотя и запрятана она глубже всего. Это, наверное, для большего эффекта что ли. Такой вот хитрый писатель оказывается, этот Столяров, даром что режиссер, а, может, как раз и потому что режиссер.

И вообще автор рассказывает о себе много всякого такого: он, оказывается, и швец, и жнец, и на дуде игрец – талантов хоть отбавляй, но главное всего – склонность к юродству. Ну к этому мы еще вернемся.

Не однажды автор в своем повествовании признается в том, что все происходящее с ним все равно, что сон наяву. А категориальность сна – в его категоричности для сновидца, сновидцу предлагается роль только ведомого, никто не может управлять сном, и уж тем более никто из него не волен выйти: игра навязана, и нельзя взять да и проснуться. Так же и эпизоды, и герои этих эпизодов в «Новой книге» предстают как персонажи сновидений, нет, одного сверхсновидения, сновидения-спектакля, а ведь ни один режиссер не может вмешаться в то, что происходит на сцене во время спектакля, даже сам Господь Бог, если представить весь мир в виде театрального действия.

Однако в книге Столярова нет разницы между режиссером и спектаклем, т. е. по сути автор и герой представляют собой одно целое, хотя это оттого так кажется, что автор умеет ловко спрятаться в тени своего героя. И в этом отличие столяровской книги от другой какой-либо дневниковоподобной литературы (допустим, от «Опавших листьев» В. Розанова). А если это не дневник, то что это? Жизнеописание? Жизнь раба Божьего А. Столярова, рассказанная им самим? Нет, автор вряд ли воображает себя новым Робинзоном, хотя, судя по тексту, он так же, как Робинзон, построил крепкий дом, хоть и на острове, но в достаточной глуши, окружил его зеленым кольцом огорода, добротным забором среди достающих до небес дубов и сосен, назвал все это ковчегом для всяких жаждущих и страждущих, в том числе собак и кошек. Все это так, подобия, но не больше, а уж если чем они сродни, так это идеей спасения.

Может, книга и писалась как дневник, а сложилась как роман. Роман-автоисследование, роман-автовоспитание, роман-автоспасение.

А что до юродства, то ведь это оттого, что пока автор жив, книга, если она – автороман, остается открытой для завершения. Она завершена в композиционном смысле, но не в личностном. В этом ее выигрыш – то есть, каким бы ни был читатель этого повествования, он живо почувствует на себе эффект присутствия автора: вот тут он весь как на духу. То есть, книга эта, как ни крути, исповедальная. Ну а при таком подходе к делу в ней всякое лыко будет в строку и даже похабные стишки будут выглядеть как-то уместнее: они тут не просто так, это ведь стишки самого шута лировского. С шута что взять: вроде правду скажет, да в такой ернической форме, что все для него оканчивается подзатыльником, а не головоотрыванием. Столяров как автор не беспредельничает в юродстве, он и юродствует, и за собой приглядывает. Это как проснуться от кошмара, но не совсем проснуться, не наяву, а как бы попасть в другое состояние сна, нечто золотистое и голубенькое или вроде того. Юродствующий и воспринимает реальность как собственное сновидение. А автор под видом дурака саморазоблачается до мозга костей, до дна, так сказать, души. И тут личина-то от самого себя и предохраняет.

**Иван ЖДАНОВ,**  
**ПОЭТ**



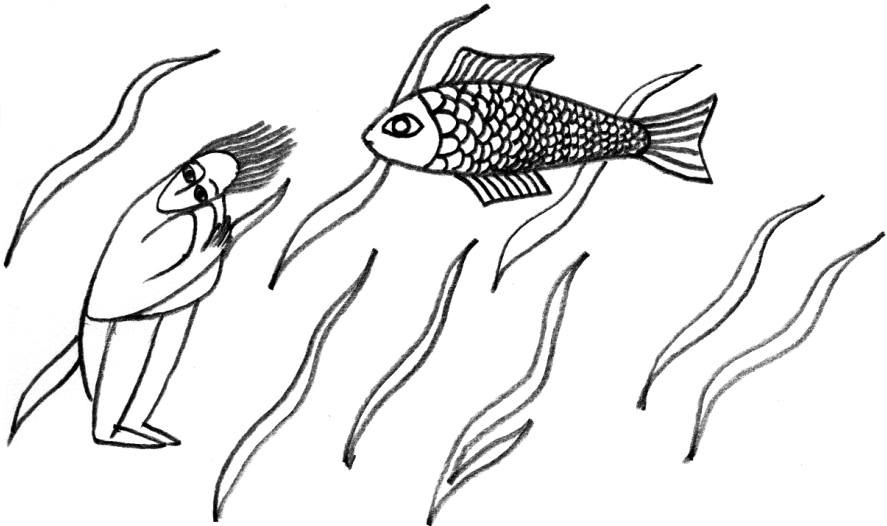
# БУМАЖНОЕ КИНО

## Я ДЕЛАЮ ОТКРЫТИЯ

**Я** делаю открытия. Иногда неосознанно, как в детстве: один плюс один равно двум, но гораздо позже я понял, что два – много больше, чем один плюс один, двое – это уже компания. Или вот еще, у Достоевского: «Все мы выросли из «Шинели» Гоголя». А я открыл, что Федор Михайлович не прав: просто все мы выросли. И с Гоголем тоже открытие: от его «Носа» у нашей литературы до сих пор насморк. Не знаю, куда деваться от этих открытий. Я понял, отчего пейзажная живопись мертва: небо светится изнутри, и краской этого не изобразить. Все, что светится изнутри, для меня важно. Поэтому телевидение лучше кино. И хорошее кино лучше смотреть одному, и по телевизору.

Однажды я открыл, что Бог есть, и Он живой, но это бесконечное открытие. Чуть позже я открыл, что всю жизнь стоял на голове, и мои попытки встать на ноги вызывают удивление и смех. Да, ноги мои слабы, но надо набраться терпения, и все придет в норму, а норма – это вечность, и это тоже мое открытие. Я знаю, что нет в мире того, чего не было бы в Церкви, но в самом мире многого недостает. И мир негодует на мою Церковь от несогласия со своей ущербностью. И это обнадеживает.

Я знаю, что любовь шире моря, ярче света, выше солнца, но не нахожу слов, чтобы убедить в этом других. А недавно открыл, что никто не нуждается в том, чтобы его убеждали. Каждый открывает сам, и это обыкновенно и таинственно. Каждый сам ведет свой диалог с Богом, и Бога на всех





хватает. Это даже не сеанс одновременной игры – там соблюдается очередность, а к Богу очереди нет, и нет правил, есть заповеди, но это другое.

В Китаевской пустыни есть монах, который в Великий пост слышит, как движется среди звезд Земля. И я ему верю. Это его открытие пока недостижимо для меня. Но вдруг и мне откроется, и я услышу шум Земли в ее движении во Вселенной.

## О ВРЕДЕ КУРЕНИЯ ТАБАКА

Я умер, и на этот раз окончательно. Сомневаюсь, что на панельной малосемейке повесят бронзовый барельеф с моим изображением: «Здесь жил и работал русскоязычный украинский писатель Александр Столяров». Я курил возле мусоропровода, подошел лифт. Я решил проشمыгнуть в квартиру незамеченным (там у меня так же неуютно, как возле мусоропровода, но вид из окна еще хуже).

– Саша! – окликнул меня сосед, когда я ковырял ключом в замочной скважине. – Что это ты как партизан?

– А, привет, – сказал я.

Все время забываю его имя, и сейчас не вспомнил. Сосед подошел ко мне и спросил:

– Может, по пятьдесят?

– А у тебя есть?

Он улыбнулся и пошел к себе. Дома я стал думать о том, какой странный разговор у нас получился. Юлька нажарила рыбных котлет и дала мне. Я стал есть, но тут три раза постучали в дверь. Открываю – сосед. Так и не вспомнил, как его зовут. Он сразу прошел на кухню и сел за стол. Я уже чувствовал, что умираю, но чтобы так? Сосед достал из кармана бутылку из-под кетчупа с темной жидкостью внутри, и сказал:

– Это моя, на ореховых перегородках, помогает от желудка и головы. Грецкие орехи вообще напоминают кишки и мозги одновременно, так что будем лечиться.

У меня здоровый желудок, но лечиться я согласился и разделил котлеты на двоих. Поговорили о джазе. Сошлись на том, что эта музыка может нравиться лишь людям, лишенным логики. Потом я подписал ему свою книгу: «Соседу от соседа. Надо чаще встречаться». Вспомнил, что это слоган рекламы пива. Сосед тоже это вспомнил. Своей вторичностью я его разочаровал, но зато он перестал говорить о неустроенности жизни артистов и художников. Когда он ушел, я стал обустраивать свои похороны: надел свежую рубашку, галстук, костюм и ботинки, лег на диван и умер.

Утром Юлька ушла на работу, а я подумал о том, что забыл побриться и ей придется платить в морге за косметические услуги. Собака Варвара не скулила и не выла, а забилась в кухне под стол и пролежала там весь день. Кстати, я понял, почему трупы воняют. Вечером жена открыла форточку и сказала:

– Господи, когда это кончится?

Я прощаю ей непочтение к усопшему. Отныне ее будут называть молодой вдовой. Это очень эротично и гораздо приятнее, чем жить со старым мужем. Из великих русских писателей меня пережил только Лев Николаевич Толстой.

Еще я узнал, что у мертвых тоже есть желания. Хочется курить. Скоро патологоанатом вскрыет мои легкие и поставит диагноз: смерть от курения. Хочется пить, лучше – пива. Молодая вдова сдохнет, но за пивом не пойдет. А было бы как в сказке: жили счастливо и умерли... она на день позже.

Хоронить меня будут, скорее всего, на Южном кладбище. Холодно, ветрено, по радио обещали снег, он будет тихо падать мне на лицо. Я был на таких похоронах. Тогда умер мой друг музыкант. Мы мерзли, курили и ждали могильщиков. Рядом тоже хоронили, но с оркестром. Кларнетист подошел к нам, глянул в гроб и сказал:

– Надо же! Это ж Вовка!

«Встретились», подумал я.

– Так мы это, сыграем, что ли? – предложил лабух.

– Не надо, – сказал я.

– Мы даром, – не отставал он.

– Володя просил без музыки, – сказал я.

Пришли могильщики, следом – музыканты. Вовку закопали. Оркестр молчал.

Надо было предупредить молодую вдову, чтобы без музыки. Конечно, все будут плакать: и Дударь, и Верховинец, и Будяк, а Петя будет часто креститься и тоже плакать, а Трегубов будет изображать мужественность, а Химич-вонючка не придет. Только Пафнутий, как всегда, будет светел лицом. Я про него на Троицу стих написал:

Вот идет отец Пафнутий,  
У него худая шея,  
Длинный нос, глаза сияют,  
А в руках букетик мяты.  
В храм вошел, перекрестился.  
И кого это он ищет?  
Мир тебе, отец Пафнутий.  
Все рифмуется, что свято.

По-моему, ему понравилось. А вообще – свинство: на исповеди не был месяц, не причащался – два. И чего это я здесь разлежусь?

– Эй, молодая вдова драматурга, приготовь-ка постный ужин, я завтра еду в монастырь!

## АБГЕМАХТ

**В**озле нашего дома поставили круглосуточный киоск и несколько столов под брезентовыми зонтами. Иногда среди ночи я бужу Юльку и говорю:

– Пойдем в ресторан.

Юлька молча одевается.

– В ресторан, гулять, – команду я Варваре. Варвара подскакивает со своего коврика и начинает прыгать вокруг нас. Заспанный Гамлет (кот) выходит в прихожую и лениво пытается дать ей по морде.

– Фу, Варвара, – прошу я. Но Гамлет уже завелся: он цепляется когтями в Варвару и висит на ней – Давид и Голиаф.

На улице осень. Под фонарями лужи в пупырышках. Возле «ресторана» танцует тощий мужчина в коротком пиджаке.

– Ай лав рок-энд-рол, – приветствует он нас. Я видел, как он днем нашел в мусорном баке белую кастрюлю, обер ее рукавом, потом повис на баке животом и достал со дна бутылку из-под водки.

Я усаживаю Юльку за столик, беру пару пива, делаю глоток и громко спрашиваю:

– Откуда мы не знаем, что кит не есть огромных масштабов бактерия?

Бородач с соседнего стола протягивает мне руку:

– Василий, – у него широкая сухая ладонь. – Десять лет на флоте.

Юлька смотрит на меня как на больного.

– Какой хороший собачка, – слышу я за спиной и оборачиваюсь.

– Хороший собачка, черный, – повторяет худая старуха. Молча показываю ей кукиш.

– Да я ничего, – извиняется старуха.

Пью пиво. Стая мальчишек осматривает столы и под ними.

– Дядь, вы мне бутылку дайте, ей не давайте, – говорит белобрысый. Я протягиваю ему бутылку. Он допивает остатки и убегает. Старуха обиженно сидит поодаль.

– Хочешь абгемахт?

– А что это?

– Что-то по-немецки. Ты сколько языков знаешь?

– Два: украинский и русский.

– Значит, абгемахт ты не хочешь?

Два «полиглота» пьют самогон, запивая пивом. Появляется пара ментов под одним поломанным зонтиком. Говор стихает. Потрескивают капли по брезенту. Моя отрыжка звучит вызовом. Менты оглядываются на меня, а я закуриваю и отрыгиваю второй раз. Менты ждут. Я встаю из-за стола и объявляю:

– Стихи собственного сочинения!.. «Я веселый паренек, – читаю я с выражением, – не дружу со скукою, то присяду на пенек, то хожу и пукаю».

Раскланиваюсь. Моряк с дамой, самогонщики и старуха аплодируют. У ментов зашипела рация, и они уходят. Я дарю вторую бутылку старухе и шествую домой. Следом идут Юлька и Варвара. Они гордятся мной. Дождь усиливается.

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НАПОЛЕОНА

Сегодня день рождения Наполеона, – говорю я. Мы идем по нашему микрорайону: я – груженный сумками с продуктами, рядом Юлька грызет зеленое яблоко. Вокруг в домашних тапочках местные жители и торгующий элемент.

– Ужас, – говорит Юлька, – представляю, как его тошнило.

– Когда? – не понимаю я.

– На острове Святой Елены от мышьяка. – Юлька вдруг задумывается. – Вот так тошнишь-тошнишь, а потом родишь какого-нибудь императора.

– О Господи, – вздыхаю я. По небу плывут маленькие и кудрявые, как Юлькины мысли, облака.

– В этот день двадцать, двадцать два года назад во Львове...

– Мне было тогда семь лет, – вставляет Юлька.

– ...мы праздновали день рождения Казимира Медвецкого, я тебе о нем рассказывал, он теперь мировая величина в архитектуре, живет в Будапеште...

– Мы к нему поедем? – спрашивает Юлька.

– Поедем-поедем. Н-да.

Я раздумываю, рассказать ли ей о том, как двадцать два года назад мы рванули на самый верх улицы Зеленой, чтобы встретить рассвет, как маленький Гоша Буренин кричал: «Здравствуй, солнце!» (через восемь лет он умрет от цирроза печени в Ростове-на-Дону), как читал свои стихи Мишка

Марцев (он повесится от несчастной любви через два года), как пьяно и нежно улыбался Олежка Францкевич (он, слава Богу, жив и учительствует в провинции). Самого Медвецкого мы оставили дома, сидящего в позе лотоса на чертежном столе с дымящейся трубкой во рту. Наверху Зеленой мы пили портвейн, смотрели, как яичным желтком вставало солнце, и слушали птиц.

– Так вот, – продолжаю я, – утром с головной болью я пошел на работу. Мастер коротко глянул на меня и огромными пальцами – у него вообще руки были как ноги – отсчитал двадцать две копейки и сплюнул: «Похмелись».

Я его зауважал. Мастеру было лет сорок, он недавно женился на юной рыжей и конопатой малярше, коротко по моде брил виски и молча терпел насмешки бригады. Однажды я увидел его супругу за работой – она белила потолок, в белом платке, лицо в мелу, вся в мелу, будто скульптура, она вдруг глянула на меня, и я обалдел. У нее было лицо Венеры Милосской – мы рисовали ее голову на первом курсе – так вот, у нее были те же черты, с огромными зелеными глазами. Тут я и понял, почему Венера – идеал женской красоты. На стройку молодожены приходили порознь: впереди – Венера, следом, шагах в двадцати, мастер.

Пива не было. И я вернулся к своей вечно голодной бетономешалке. Вода для нее была в ста метрах, цемент – в противоположной стороне, песок и щебенка – еще дальше. К полудню похмелье мое вышло с потом, и я заинтересовался жизнью. Объявили обед.

– А вдруг у нас будет двойня? – перебивает меня Юлька, – у нас в роду были двойняшки или даже тройняшки... Я где-то читала про женщину, которая родила сразу шестерых.

– Шестерню, – говорю я и вспоминаю, как принимал роды у Варвары. Вываливающиеся из нее пузыри со щенками внутри – я их называл космонавтами – подкладывал к собачьей морде, Варвара съедала послед, откусывала пуповину, вылизывала упругий плод, после чего он присасывался пиявкой к сиське, вкусно чмокал и засыпал.

– Ты перебила меня на завязке сюжета, – отчитываю я Юльку.

– Что, появилось пиво?

– Какое пиво?

– Ну то – по двадцать две копейки.

– Появился автобус, – говорю я.

– А-а-а, – говорит Юлька.

Я пересиливаю себя и продолжаю:

– Автобус остановился посреди стройплощадки, и из него выпорхнули разноцветные бабочки. Я так и сел на кучу щебня, небритый, местами

забетонированный, и заворуженно смотрел, как они, смеясь колокольчиками, исчезали в нашем сером объекте строительства. Подошел мастер проверить наличие всего, перехватил мой взгляд.

– Бабы, – сказал я и пошло закурил.

– Студентки-экономисты, тоже на практике, – сказал мастер и опять сплюнул.

– Раствор давай, – услышал я привычный вопль облицовщиков и понесся по четырем полюсам: север – цемент – бетономешалка, восток – песок – бетономешалка, запад – вода... Через два замеса экскурсия студенток-экономисток появилась в районе юго-запада. Наш бухгалтер – это был его звездный час – пропел арию о взаимосвязи нарушения технологии и оплаты труда, сострил по поводу «Дгесигованной лошади Пгжевальского», после чего я бросил ведра, подошел, выбрал девушку посимпатичнее и спросил: «Тебя как зовут?»

– А как мы ее назовем? – спрашивает Юлька.

– Джульетта.

– Почему Джульетта?

– Я забыл, как ее звали. Олеся, Оксана... – не помню.

– Я про дочку, – настаивает Юлька.

– А почему не сын?

– Потому что дочка.

– Джульетта, – говорю я, – была маленькой, тоненькой блондинкой с голубыми глазами.

– Фу, какая банальность, – говорит Юлька.

– Зато правда. Я предложил ей пойти со мной в кино. «Жду тебя в семь у фонтана».

– А она?

– Согласилась.

– Да ну?

– И не пришла.

– Да-а-а, – тянет Юлька.

– И это естественно – то, что я тоже студент-архитектор, я скрыл. Социальная драма, пролетариат и интеллигенция.

– Это все? – радостно спрашивает Юлька. – В социальной драме есть что-то железобетонное.

– Нет, не все! На следующий день они, студенточки-экономисточки, появляются вновь. Будущая интеллигенция рассаживается на штабелях досок и загорает под летним солнцем. Моя, в голубом платье с обнаженными руками, щебечет весело с однокурсницами. Я, в дырявой

робе с беломориной в зубах, являюсь угрюмой тучей на их безоблачном небосводе.

– Ты так и напишешь? – спрашивает Юлька.

– Что напишу? – не понимаю я.

– «Угрюмой тучей на безоблачном небосводе».

– Да, так и напишу. Являюсь на их небосводе и спрашиваю: «Ну ты это... че не пришла-то?» Вспомнил! Я ее так и назвал тогда – Джульетта. Так вот, не выходя из образа, то есть, сморкаясь в цементную пыль, объявляю, что в моем лице она весь рабочий класс продинамила. Наблюдаю, как моя сопля приобретает прочность бетона, и продолжаю: «Вы тут все умные, а понять не можете, что обидно с билетами у фонтана, пусть они и сорок пять копеек, но я не богач какой-нибудь, чтобы два часа на воду глядеть». Студенточки рассмеялись, а Джульетта смотрит мне в глаза и серьезно так: «Извини. Не получилось. Заходи вечером за мной в общежитие, пойдем в кино». И адрес дает.

– И ты пошел? – спрашивает Юлька.

– Да.

– Бабник.

– Да здравствует искусство перевоплощения! После смены – домой: моюсь, бреюсь, надеваю темно-синюю тройку, оранжевый галстук, розовую рубашку, красные носки и бордовые туфли на платформе, покупаю бутылку «Ахашени», коробку конфет и укладываю в дипломат (эти чемоданы только входили в моду), еще цветы – алые розы – символ страсти. Согласно моде семидесятых, в полном комплекте юный ловелас вдыхает воздух и стучится в дверь. Вхожу. Девушек трое. Моя в замешательстве.

– Здравствуйте, сударыни.

Одна тотчас исчезает. Бутылку, конфеты – на стол, цветы – Джульетте.

– Нас ждет волшебный мир кинематографа.

– Ах, я не готова, – передевается за дверцей шкафа. Кстати, гитара на стене. «Глядя на луч пурпурного заката, стояли мы на берегу-у-у...» Между романсами наливаю оставшейся соседке вина, чтобы закрыла рот. Роль сохраняю прежнюю. «Мы, знаете ли, потомственные бетономешальщики, любим скоротать вечерок в беседах об искусстве, а иногда и приобщиться – Тарковского смотрели? Напрасно. Решаются вопросы духа. Советую».

И вдруг дверь распахивается, на пороге стоит Ромео. А ты думала, что Ромео – это я?

– Нет, – говорит Юлька. – Я думаю, что ты прохвост.

– Не без того, – соглашаюсь я, – но тогда кураж пошел, остановиться невозможно.

– Либо он, либо я! – восклицает Ромео с порога.

Третья-то, исчезнувшая девица, успела настучать, соображаю я.

– Ах, вот как, – говорю, обращаясь ко всей собравшейся публике, – значит, пригласили меня для насмешки, у вас тут студент интеллигентный имеется, а я – обыкновенный пролетарий, возможно, лишь для пробуждения ревности в гаснущем костре чувств вашего избранника, – стиль неплохой, напелся романсов, но сила слова какова!

Ромео тоже хорош: «Только через мой труп!» – восклицает, когда я и Джульетта устремляемся к выходу. Она просит меня подождать, я спускаюсь по лестнице, думаю о том, что Ромео мне даже симпатичен, я бы на его месте послал бы Джульетту к чертовой матери, а он вот борется за свое счастье.

– Саша, я буду ждать тебя! – кричит мне сверху Джульетта. Очень мелодраматично. Следом спускается Ромео: «Поговорить надо». Вдвоем покидаем общежитие. Нет, не совсем вдвоем, следом – еще трое. Фух, как нехорошо. Я почти полюбил своего соперника.

– Это что, – спрашиваю я, – тоже ее кавалеры?

– Нет, – отвечает Ромео.

– Так, значит, твои, – не отстаю я, – переживают, вдруг уведу.

Ромео возвращается к троице, о чем-то шепчется с ними и догоняет меня уже у гастронома.

– Пить будешь? – спрашиваю я, и покупаю бутылку портвейна. Ромео в ответ берет тоже. Идем к стадиону. Я чувствую, что напряженность сюжета спадает, Ромео против меня после бетономешалки – дохляк, и бить его мне не хочется, вот разве что потом... Ну да ладно. Сели, выпили.

– Любишь? – спрашиваю.

– Люблю, – отвечает Ромео.

– И я люблю, – вру я, – что делать будем?

– Драться, – шепчет Ромео.

– Эх, – я допиваю свою бутылку и встаю, – идем.

– Куда? – спрашивает Ромео.

– Покажу тебе человечество.

Я намеренно делаю паузу в своем повествовании в надежде, что Юлька нетерпеливо спросит: «Ну что там дальше?» Не спрашивает.

Дальше мы покупаем еще вина, я веду Ромео в центр города, мы поднимаемся по черной лестнице на смотровую площадку самого высокого дома. Ветер, быть буре. Я тыкаю пальцем вниз: «Вот люди – мельче тараканов, и у всех чувства, как у тебя. Смотри».



– Все равно любишь? – я перекрикиваю ветер. Он кивает. – Жить без нее не можешь? – Он кивает. – Либо ты, либо я? – Ну просто китайский болванчик. Я хватаю его за воротник и шепчу ему в ухо: «Ну вот что, Ромео, сейчас я взберусь на конек крыши, оттуда соскользнуть вниз – левое дело, и там, стоя на коньке, выпью до дна всю бутылку. Если сам не свалюсь, подтолкни – и Джульетта твоя. Вперед!» Мы на карачках ползем по крыше к дымоходу, я открываю бутылку и дальше – один. Ветер рвет одежду, металлический конек скользит под ногами, я встаю во весь рост и пью, пью, пью. «Ну толкай же!» К шуму ветра примешиваются какие-то всхлипы. Спускаюсь. Прижавшись к трубе, плачет мой Ромео. Мне скучно.

– Дуй, Ромео, домой, к своей Джульетте.

– Если я один вернусь, – шмыгает носом Ромео, – она подумает, что я тебя убил.

На коробке из-под сигарет пишу: «Джульетта, я тебя не люблю, желаю счастья. Александр». Он благодарит, ползет на террасу, исчезает, не взглянув на меня, не попрощавшись. В бутылке еще осталось вино, но пить не хочется. Пошлость, во всем пошлость. И если вы думаете, что это был ее апогей, то вы ошибаетесь.

Потом пьем с Гошкой Бурениным, Царствия ему Небесного, крепкий чай. Меня уже не трясет, возвращаюсь домой. Теплая летняя ночь, влажный асфальт, я и не заметил, когда был дождь, блестит листва под фонарями и вдруг:

– Ах, какой костюмчик и носочки красненькие, замечательные носочки! Оборачиваюсь – стоит пидарь раскрашенный, улыбается ласково.

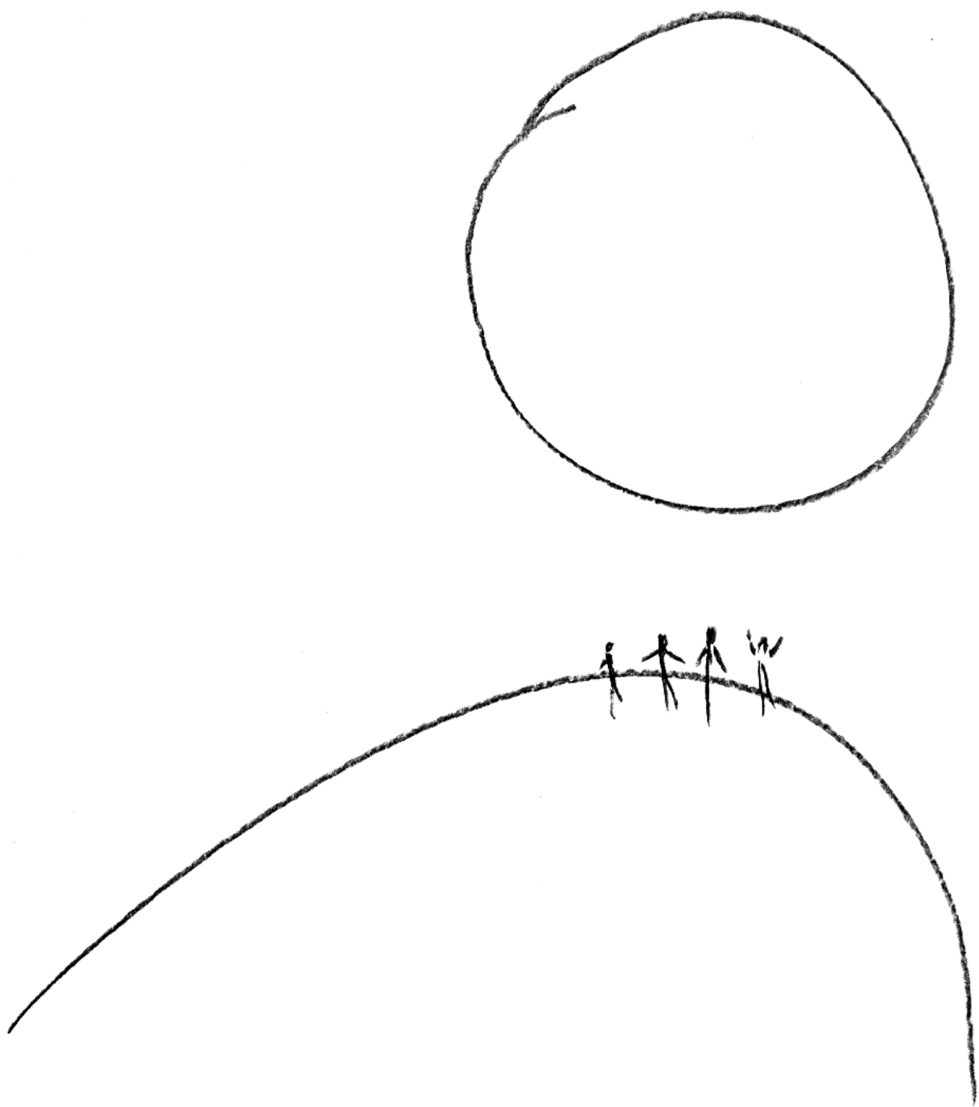
– Молись, пидарь, – хватаю его за шею и отрываю от земли, а он вдруг сипит: «Срать хочу». От неожиданности отпускаю его.

– Где здесь туалет? – спрашивает.

– Везде.

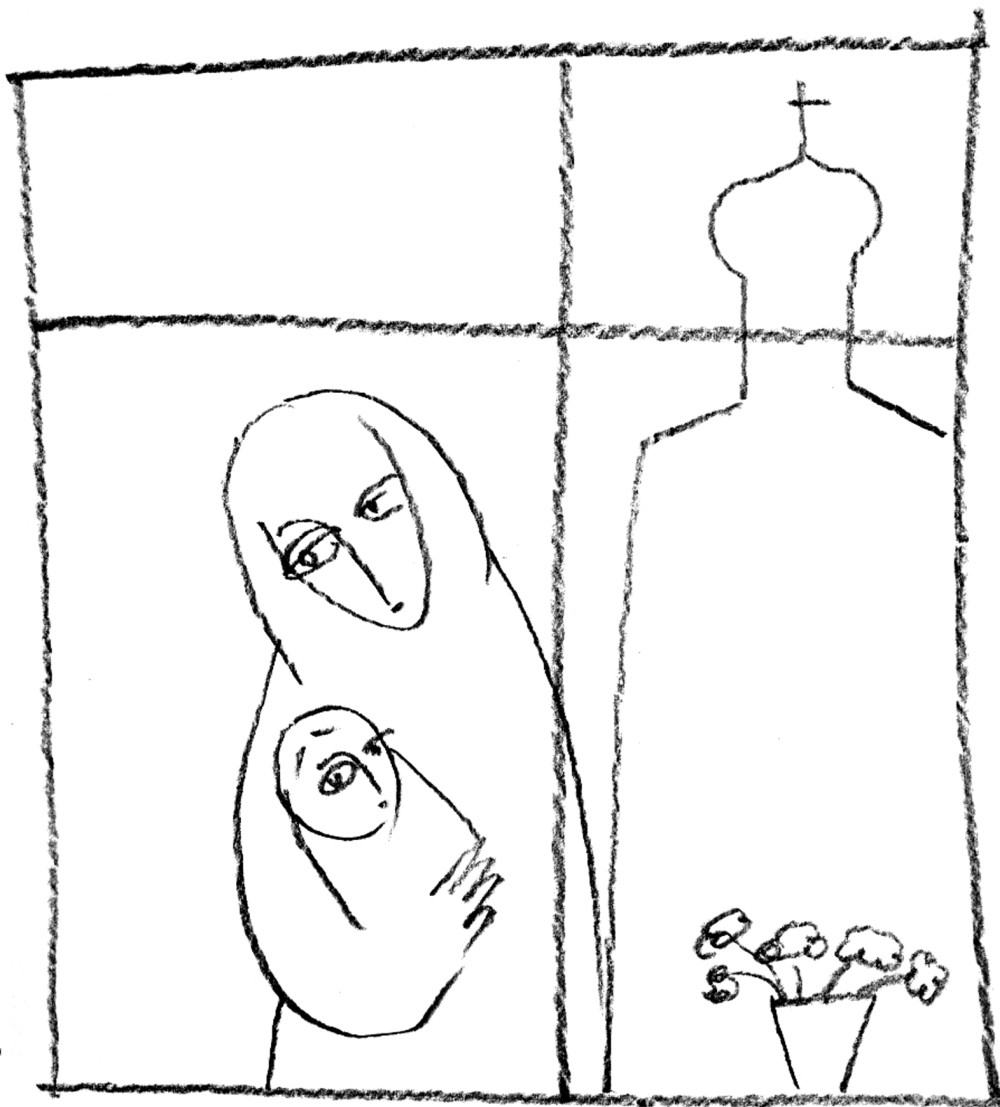
За что, Господи, ты ввергаешь меня в такие сюжеты? Неужто по достоинству моему? И что удивительно: ведешь меня до самого конца драматургической формы. Ты же помнишь, Господи, как через полгода, на зимней сессии, я шел по коридору политехнического и вдруг увидел своих Ромео и Джульетту. Они сидели рядышком в рекреации на лавке и зубрили один конспект на двоих. При моем приближении коротко глянули на меня и вновь спрятались в тетрадь. А я прошел мимо.

Ночь. Юлька спит. Я сижу во дворе и курю дешевую сигару, ее привез из Словакии режиссер Тарас Дударь. Сегодня день рождения Наполеона. При чем здесь Наполеон? Юльке скоро рожать. Но это твой сюжет, Господи.



## БЫТИЕ

- Не умничай, – говорит Джон. Это я его научил, я его спросил:
- Джон, ты Экклесиаста читал?
  - Да, – сказал Джон.
  - Что там написано?
  - Конечно, – ответил Джон.
  - Там написано – не умничай.
  - Хочешь сакэ?
  - Нет.
  - За водкой иди сам.
  - Я не хочу похмелья, Александр, я хочу твой кофе.
  - Кофе – говно.
  - Я вчера думал, что я хочу? Я хочу сидеть у тебя на кухне и пить твой кофе.
  - «Один американец засунул в жопу палец и думает, что он заводит патефон». Это про тебя, Джон. Ты думаешь, что твой палец – ось вселенной.
  - Да, мне было стыдно вчера, Александр, после нашего телефонного разговора. Я прошу прощения.
  - Давай-ка я налью тебе сакэ.
  - Я думал все сделать сам, моя идея, я забыл о тебе, прошу прощения.
  - Ну, завел пластинку.
  - Не понял, Александр?
  - Патефон – одно и то же.
  - Ты прав. Больше не буду. Я говорил тебе, Александр, что у меня умер ребенок – это не совсем так, это был аборт.
  - Я знаю.
  - Ты знаешь про аборт?
  - Нет, но я понял, что ты врешь.
  - Это не вранье, он мог бы быть.
  - Понюхай, как пахнет. Мне из Токио привезли. Градусов четырнадцать, как пиво, они его горячим пьют.
  - Я сейчас буду блевать, Александр.
  - Давай.
  - У меня есть хорошая идея: мы снимаем фильм для БиБиСи за пятьдесят тысяч о Гагаузии. Сколько стоит документальный фильм?
  - Тридцать тысяч.
  - Десять – тебе, Александр, десять – мне.



– А я, пожалуй, выпью.  
 – Ты согласен, Александр?  
 – У тебя есть чек от БиБиСи?  
 – Ты прав, денег пока нет. Но есть еще одна отличная идея. Мы идем с фотографом, снимаем русскую девушку-проводницу в эротической позе, я пишу текст, и это будет журнал. У тебя есть хороший фотограф?  
 – Записывай: 2024939.  
 – Вчера ты отказался со мной встретиться, почему?  
 – Вчера у меня родилась дочь.  
 – Поздравляю, Александр. Мне тоже нужна семья. У меня есть девушка, она русская, она хороший сексуальный партнер и с ней интересно говорить...  
 Когда он уйдет, я нарисую жену и дочь. Они стоят в окне роддома и смотрят на Святопокровскую церковь, ее можно нарисовать как отражение на стекле.

## ФИНИКОВАЯ ВЕТВЬ

**З**ахария убьют. Но это будет потом. А сейчас мне радостно. Я взбегаю по ступеням. Раз, два, три, четыре, пять... всего пятнадцать. Девушки останавливаются на каждой и поют, с ними поют Ангелы. Я слышу их голоса, и Захария слышит. Он улыбается, берет меня за руку и ведет в храм. Здравствуй, церковь иерусалимская, прощайте, Иоаким и Анна, возвращайтесь домой, в Назарет, веселитесь, пейте и ешьте с гостями своими, свершился обет Ваш: Мария отдана Богу.

На рассвете проснуться, умыться, и через двор, сдерживая шаг, на молитву. Пасть ниц и выдохнуть:

– Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе...

С шести до трех – молитва.

С трех до девяти – рукоделие или чтение.

С девяти – молитва до прихода Ангела.

«...остроумна, учиться любит, прилежна в чтении Божественного Писания, вышивает шелками священные одежды, принимает пищу от ангела...»

*Св. Епифаний*

Был свет и голос: «Ты родишь Сына Моего». Пророчество Исайи сбывается через меня, но это тайна. Сегодня восьмое сентября, мне исполнилось четырнадцать. Закон требует покинуть храм, вернуться в дом и выйти замуж. Но я обещала Ему сохранить себя, и это твердо.

24 ноября. Захария сказал, что Бог услышал мою молитву: ему велено собрать двенадцать безбрачных мужей из рода Давидова, взять у них жезлы и положить на ночь в алтаре. Но я знаю, кто обручник мой, чей жезл утром расцветет, знаю и волнуюсь.



Январь, февраль, начало марта. Какая долгая зима. Я отдана на сохранение Иосифу-плотнику. Пахнет свежеструганным деревом. Дела по дому, чтение, изредка разговоры с дочерьми Иосифа, пощусь. Ангелы покинули меня. Мой хлеб – мои слезы.

25 марта. Ликуй, Исая! Ликуй, Галилея! Ликуй, Израиль! Я зачала!

Сегодня размышляла о том, как это возможно: «Се Дева зачнет во чреве». Тихо вошел Архангел Гавриил, ликом светел: «Радуйся Благодатная, Господь с Тобою». Я смутилась.

Глядя на тень, не увидать солнца. Все, что написано мной, и все, что написано, будет после меня о Благовестии и Зачатии по действию Святого Духа, наверное, хорошо, но не описать человеческими словами тайну самого Слова. Бог вечный во мне, я таю и погружаюсь в Него.

Еммануил... Иисус... Мессия... У Захария тоже радость: уже шесть месяцев, как зачала Елисавета предтечу Богу и Сыну моему. Так сказал Гавриил. Поспешу в Хеврон.

Взыграл младенец во чреве Елисаветы – я, ничтожная раба Его, благословенна, благословен плод чрева моего.

Три месяца не была дома. Здравствуй, бедный мой Назарет. Здравствуй, Иосиф. У нас ничего не переменилось, но все видят перемены во мне и недоумевают.

– Мне стыдно за тебя, Мария. Что мне делать? Обличить – и тебя побьют камнями, смолчать – взять твой грех на себя. Уходи, Мария, уходи тайно.

– Потерпи, Иосиф, я не знаю греха.

Спит Иосиф и видит сон. Пусть спит.

Сегодня утром он вошел ко мне, поклонился и сказал, что ему было явление Ангела и ему, Иосифу, оказана честь дать имя младенцу. Имя Ему – Спаситель.

«Иосиф-древодел сотворил беззаконие: Деву, взятую на сохранение из Церкви Господней, он не соблюдает».

Книжник Аннин – Архиерею и всему Собору.

Архиерей: Ты, воспитанная в Святая Святых, забыла Господа Своего! Ты принимала пищу из рук Ангела и слышала пение ангельское: как ты могла сделать это?

Мария: Жив Господь Бог мой, я чиста и вины за собой не знаю.

Архиерей: Ты, Иосиф, это сделал?

Иосиф: Жив Господь Бог мой, я чист.

Архиерей: Ты не захотел преклонить главы своей под крепкую руку Божию, чтобы плод твой получил благословение, и не объявил перед сынами Израиля о браке твоём, тайно согрешил с Девойю, отданной в Дар Господу, и потому вы оба должны испить воду обличения.

Мы оба выпили клятвенной воды, как предписано Моисеем в книге Чисел, и на обоих не оказалось обличения.

– Господь не открыл в вас греха, – сказал архиерей, – идите с миром.

Мы возвращались домой, иногда вдруг смеялся своим мыслям Иосиф, я улыбалась ему, нам было хорошо.

25 декабря. Ах, как некстати кесарь Август назначил перепись. Три дня шли в Вифлеем. В гостинице нет мест. У меня отошли воды. Иосиф стучится в каждый дом и возвращается ни с чем. Спустились под гору в пещеру. Молюсь. Иосиф ушел за Соломией, чтобы та была повивальной бабкой. В полночь родила без болезни Господа нашего Иисуса Христа.



«Девкою зачала, Девкою носила, Девкою родила и осталась Девкою».

Накормила грудью, спеленала, положила в ясли. Рядом вол и осел, их дыхание согревает моего первенца.

Когда пришли Иосиф и Соломия, я молилась Ему.

– Опустила, – всплеснула руками Соломия, – плохая из меня старуха-повитуха.

Иосиф поклонился нам.

«Когда в тихое молчание погружена была вселенная, и ночь в своем течении преполовлялась, Всемогущее Слово Твое, Господи, с небес, от престолов царских, снизошло, как ратник могучий, на средину погибельной земли».

*Книга Премудрости, гл. 18*

Под утро пришли пастухи. Они видели Ангела, и он возвестил им радость для всего мира: «Ныне родился ваш Спаситель, найдете младенца повитого, лежащего в яслях». Они видели и многочисленное воинство небесное, слышали хор: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человеках благоволение!» Я вслушивалась в их слова и плакала.

Были волхвы из Персии, Аравии и Эфиопии. Поклонились младенцу. Принесли дары: Мелхиор – золото, Гаспар – ладан, Валтасар – смирну. Их привела звезда. Иосиф выходил из пещеры и видел ее.

40 дней от Рождества Христова.

Взяли две горлицы и золота пять сиклей, пришли в Иерусалим. Я чиста, но по закону должна очиститься, освятить первенца и отдать его в дар Господу Богу Нашему.

Вот сын Твой, Отче Превечный. Ты родил Его прежде меня, а я родила Его без мужа. Ты один ведаешь, как это случилось. Он мой Первенец, но Твой Первейший. Прими Его от меня, земной матери, устрой Его и меня по воле Твоей Святой.

Вошел Симеон, который не смел умереть до прихода Мессии, увидел младенца, воскликнул радостно: «Ныне отпускаеши раба Твоего!» и благословил нас. Анна-пророчица прослышала, пришла, обняла Симеона, расплакалась. Много дивного напрогочили они в тот день: и что с Ним падет Ветхая и восстанет Новая Церковь, и что повесят Его на древе и меч пройдет сквозь душу мою. Молчали фарисеи и книжники. Донесут Ироду о рождении Нового Царя. Как нам быть?

Младенец глядит куда-то мимо меня, и верю: Он видит Бога и Ангелов.

Бежим в Египет. Иосифу было явление Ангела: приказано бежать. В пути пытались нас ограбить. Что было взять с нас, кроме осла? Один из разбойников увидел младенца и остановил прочих. Я обещала ему, что младенец вознаградит его.



Блуждаем по земле египетской. Куда не придем – всюду чудеса: деревья преклоняют ветви, источники наполняются, разрушаются идолы. Остановились в Назорее.

– Почти Назарет, – сказал Иосиф.

Пришла горькая весть об избииении Иродом младенцев в Вифлееме.

Ирод скончался. Мы снова в Назарете. Пахнет деревом – Иосиф плотничает, наш Иисус растет и помогает ему. На Пасху ходили в Иерусалим. Молились и радовались. На обратном пути заметили: пропал Иисус. Нашли через три дня в храме. Возвращались счастливые. Господи, продли эти дни.

Он ушел в пустыню и был там сорок дней. Вернулся худой и веселый, говорит: «Нас пригласили на свадьбу в Кану Галилейскую, пойдем».

На свадьбе не хватило вина, и Он обращал в вино простую воду. Все радовались чуду, и пили новое вино.

Он ходит, проповедует, исцеляет, воскрешает – творит чудеса. У него верные ученики. Я служу Ему.

Взят под стражу.

Пилат не нашел в нем вины и предложил им отпустить Его. Отпустили Варавву-разбойника. Одна надежда – что меч пронзит мое сердце прежде, чем они распнут Его.

Свершилось. Мой сын и мой Бог умер. Сердце мое пронзено. Тьма на Израиле.

«Солнце незаходимое! Чадо мое сладкое, Чадо возлюбленное! Куда поспешаешь так скоро? Не зовут ли Тебя в Кану на новый брак? Не затем ли спешишь, чтобы опять претворить воду в вино? Не позволишь ли и мне пойти с тобою, Чадо мое? Или повелишь мне здесь дожидаться Тебя? О, вечное Слово, промолви, хотя одно слово. Не проходи мимо меня молча. Ты Сын мой и Бог мой. Возьми меня с Собою, Владыко мой, в ад, только не оставляй одну на этой земле опустевшей. Я не могу жить без Тебя. О, если бы я могла умереть с тобою. Рыдайте со мною, плачьте со мною, Учитель ваш дивный во гроб полагается. Тайна чудная, высочайшая, как могут они положить Тебя во гроб, по повелению которого мертвецы вставали из гробов? Исцели рану души моей, Чадо мое! Утоли мои печали, Воскресни!»

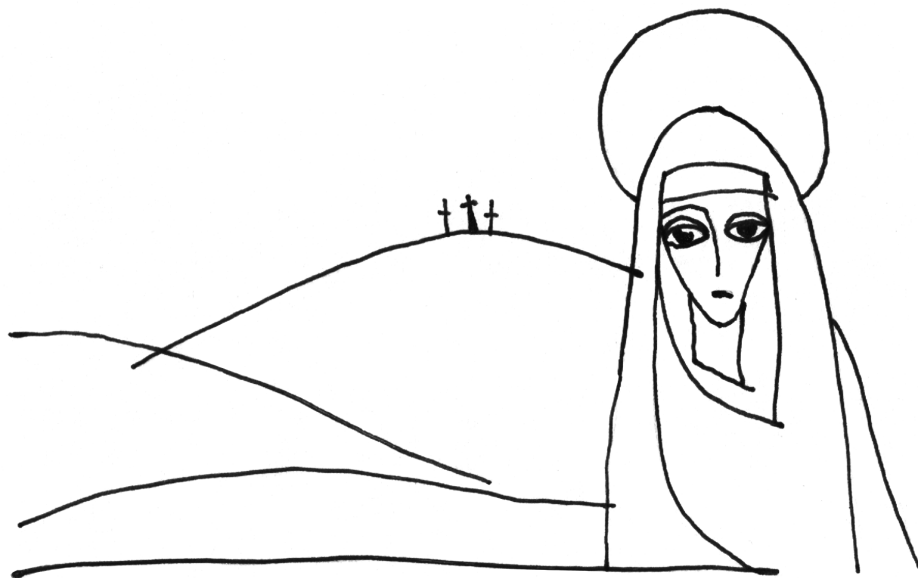
Игнатий – Иоанну:

«Многие жены у нас желают посетить Пречистую Деву, коснуться персей, питавших Господа Иисуса, и услышать от Нее о многих таинствах. У нас пронеслась о Ней слава, что сия Дева и Матерь Божия

исполнена благодати и всех добродетелей. Рассказывают, что Она в гонениях и бедах всегда весела, в нуждах и нищете не огорчается, на оскорбляющих Ее не только не гневается, но даже делает им добро, в благополучии кротка, к бедным милостива и помогает им как и чем может, крепко стоит за веру, против врагов оной, и нашему еще юному благочестию есть Наставница и Учительница всем верным на всякое доброе дело, более всего любит смиренных, потому что Сама исполнена смирения. Много похвал раздают Ей видевшие Ее. Неисто щимо Ее терпение, когда насмехаются над нею учителя иудейские и фарисеи. О Ней рассказывали нам люди, что по Ее святости видно, как в Ней соединилось естество ангельское с человеческим.

Если только буду иметь возможность, то приду к тебе увидеться со всеми верными святыми, у тебя собранными, а более всего желаю увидеть Матерь Иисуса, о которой говорят, что она во всех возбуждает к Себе удивление, почтение и любовь, и все горят желанием Ее увидеть. И как не желать увидеть Пресвятую Деву и побеседовать с Той, которая родила Истинного Бога!»

Была в Вифлееме. Пуста пещера. Помолилась. Нет Его там. Мой Сын и мой Бог в неведомом. Все создано им: и эта пещера, и я, родившая по воле Его. Я – вход в Церковь Бога и Сына Моего. Томлюсь в глубоком молча-



нии, ожидая: да сбудется последнее пророчество и откроется мне тайна тайн Его: Сын мой и Бог мой примет меня в свои объятия.

Вернулась в Иерусалим. Но не сидится мне. Брожу вокруг. Здесь любезнейший Сын мой был мучим, а здесь венчали Его венцом терновым, здесь изнемог он под крестом, а здесь был распят. А здесь Его погребли, и в третий день Он воскрес. Радуйтесь. Не смотрите, что на лице моем слезы. Это слезы веселья. Радуйтесь вместе со мной. Радуйтесь.

Сегодня явился мне Архангел Гавриил, сообщил о скором моем представлении, сказал, чтоб не смущалась, Сын Мой и Бог мой ждет меня со всеми Архангелами и Ангелами, с Херувимами и Серафимами, со всеми небесными духами и душами праведных. Гавриил вручил мне ветвь из рая от финикового дерева, чтобы несли ее перед гробом. Сказал, что смерть моя будет, как тихий сон, на короткое время, а после очнусь и увижу Свет Лица Господня; ликуя и радуясь, перейду в горня к Сыну Моему.

Завещаю похоронить меня в Гефсимании, где покоятся праведные родители мои Иоаким и Анна, и святой Иосиф, обручник мой.

Хоронили Ее пятнадцатого августа. Впереди гроба шел Иоанн и нес финиковую ветвь. Все видели светозарный круг над телом Ее и слышали ангельское пение.

На третий день отвалили камень от гроба и тела Ее не обнаружили. Вечером того же дня Она явилась апостолам со множеством Ангелов и сказала: «Радуйтесь! Я с вами есть во все дни». Все пророчества о ней сбылись.

## ФЕТИШИСТ

**С**офья родилась тринадцатого в понедельник, а Оленька умерла в четверг. На календаре у меня до сих пор тринадцатое, можно посмотреть в день какого святого умерла Оленька, но я не хочу. Когда ее тело выносили из театра, все вокруг заплотировали, а ко мне подошел телережиссер Алик и поздравил с рождением дочери. Поэтому я пропустил момент, когда гроб исчез в автобусе, а на «бис» уже не вызывали. До этого, на панихиде, директор театра пробубнил, как пономарь, и мне показалось, что он был точнее всех. Остальные говорили с пафосом, со слезой, договорились до того, что Оленька была великой актрисой, но, испугавшись, добавили, что болезнь вырвала ее из наших рядов на взлете. Когда в финале вышел представитель бюро похоронных услуг и завершил митинг, мне стало неловко: он тоже был киевским актером.

Здравствуй, Юра. Оля умерла. Она рассказала мне, как однажды пришла домой, а там сидишь ты в прихожей на стуле с букетом цветов. Когда она вошла, ты встал и сказал: «Дорогая Ольга, я Вас люблю, выходите за меня замуж. Вашей маме я уже сказал, она согласна».

– Да? – переспросила Оля маму. (Оленька видела тебя второй раз в жизни, а мама – первый.) Александра Федоровна, Царствия ей Небесного (она тоже умерла), вышла на кухню.

Я представляю тебя, Юра, в коричневом пиджачке с короткими рукавами, худого, с длинной шеей, оттопыренными ушами, с мягкой «г» в словах и – Оленьку. С таким же успехом ты мог прийти к Клаудии Шиффер, и тоже взять чайную ложку на память. Но теперь все переменялось, и мне жаль, что Оленька отпаивала тебя чаем, как ребенка, вместо того, чтобы сказать: «Дорогой Юра, я согласна выйти за тебя замуж и нарожать тебе кучу детей с оттопыренными ушами».

Деревня Новая Свежень.

Юрию Петкевичу.

Я на похоронах все головой вертел, надеясь его увидеть. А его не было. Жаль. Он бы написал о том, как было одиноко всем.

## ВЫДОХ

**Н**очь для меня всегда неожиданность. Вот так сидишь дома днем или в сумерки, или вечером, а потом выйдешь на балкон покурить, а уже готово – ночь. Когда об этом думаешь, об этой неожиданности ночи, хочется сесть с полудня во дворе и проследить ее наступление, ни на что не отвлекаясь, даже на литературу и мысли о Боге. Но это вообще невозможно. К примеру, утром были такие облака – как ангелы – что я подумал: вот люди, столько всего умеют делать, а облаков делать не умеют. И даже сами облака, по-моему, нуждаются в усовершенствовании. Я тут же и придумал облака любви. Просто, как все, что я придумываю. Берем цистерну с обыкновенной водой, к ней подводим шланги с раструбами, к раструбам подводим человек и говорим:

- Говорите.
- Что говорить? – спрашивают они.
- Слова любви говорите, – говорим мы.
- Для чего?
- Для науки.

Они и говорят. Со стороны посмотреть – так вроде ерунда: бульки пу-

скают. Но бульки для того и бульки, чтобы всплывать на поверхность и пустые звуки производить. Бульки – не слова. А слова любви растворяются в воде и пропитывают ее. Получается сырье для облаков любви. Мы это выпариваем, и – лети облако любви, пролейся теплым дождем где-нибудь в горячей точке планеты.

Вы, конечно, можете аплодировать мне и восклицать: «Ах Вы, талант-самоучка, самородок Вы наш!» А я вам скажу: «Хорош самородок с тремя высшими образованиями». Вообще-то я гений, но скрываю это, не из скромности, нет. Просто хочется пожить с людьми. Вот и живу. Хожу, как все, на двух ногах. Странно. На этих ногах футляры из кожи неизвестного мне животного. Если у него есть душа, она смотрит на меня, точнее, на мои ноги. Кстати об облаках любви. Их можно выпускать в виде тумана – очень романтично. Можно настаивать, как вино, да и в виде сырья – тоже неплохо: искупаться в любви. А можно и наоборот. Наговорить гадостей, бульки выйдут, а мерзость выпарить тучкой. Н-да. Тот еще дождичек. Так что лучше считайте меня сумасшедшим поэтом.

Ну вот, опять ночь, а я и не заметил.

## КТО СКАЗАЛ, ЧТО ФРЕЙД ПРАВ?

**Я** военный, у меня новая форма. Я хочу ее надеть и не могу найти. Она разбросана в чужой спальне по разным углам. Женщина торопит меня, сейчас должен прийти ее муж.

– Сколько ему лет?

– Тридцать восемь.

Значит, он младше ее и меня. Я ищу свои туфли и натываюсь на грудь его обуви. Я не помню, как выглядят мои новые туфли. Входит девочка – моя дочь, и тоже торопит меня. Вдруг мне становится все безразлично, пусть, пусть он придет и увидит, но женщина помогает мне застегнуть китель (она сама его шила). Она уже одета в роскошное платье – я никогда не покупал ей ничего подобного – я должен уйти.

Эта женщина снится мне постоянно, через ночь я пытаюсь уйти от нее. Бывают и другие женщины, но это обычные блудливые сны. Я ужасный прелюбодей по ночам.

Встаю, готовлю кофе – это она приучила меня пить кофе по утрам. Светает. Курю на балконе. Во дворе стоит мужчина, полный и лысый, рядом ходит голубь. Они похожи. Может, это его ангел? Господи, все мои попытки жить по заповедям твоим уничтожаются снами.

## ЖЕРТВА

– **Н**апиши про евреев, евреи – это всегда тайна, – говорит мне Моргулис.

– Тайна – это Бог, – говорю я.

– Вот и напиши.

«Третьего дня, – пишу я, – сапожник с Подола Моисей сшил башмаки Изе Мойжес».

– Кто же сейчас шьет обувь? – вправе спросить вы вместе с Моргулисом.

– Изя Мойжес, – отвечаю я. – Там, где Изя – прогресс буксует. Изя ходит пешком, пишет письма и не имеет телевизора.

– П-п-посмотрите, Изя, к-какая подошва, к-каблук – это вечная обувь, – говорит Моисей, пока Изя, мелко тряся головой, снимает войлочные тапочки и примеривает башмаки.

– А к-какая нежная кожа, пощупайте, у моей Розы была такая в пятнадцать лет.

– Освенцим? – вдруг перестает трястись Изя и пытается снять обновку.

– Изя, Вы н-неправильно п-поняли, я не антиквар, я – Пасхавер Моисей, уже много лет шью Вам обувь из телячьей кожи.

– Есть только один Моисей, – Изя долго глядит в свое портмоне и вдруг прячет его обратно. – Вы – самозванец.

Он заворачивает тапочки в газету и уходит. Моисей смотрит вслед своим башмакам и думает о том, что шаркающая походка Изи Мойжес портит впечатление от хорошей работы Моисея Пасхавера.

А сегодня в его мастерскую пришла Роза Пасхавер и сказала:

– Изя Мойжес умер.

– Я сшил ему хорошие башмаки, – сказал Моисей. – Он мог бы ходить в них еще сто лет.

– Да, – сказала Роза, – с таким выражением лица рекламируют вечность.

Моисей Пасхавер снимает фартук, надевает костюм, шляпу и выходит на пустынную Крестовоздвиженскую. Орут птицы. Съезжают с товаром торговцы на Подольский рынок. Во Флоровском звонят к заутрене. На бывшей Ливера Моисея обгоняет поливальная машина, он прижимается к решетке монастырского сада и задыхается от запаха буйной киевской сирени.

В доме Изи Мойжес тихо и сумрачно. На скрип входной двери из кухни появляется женщина с мокрыми руками. Моисей касается пальцами шля-

пы и проходит в комнату, где на двух столах в обтянутый черным крепом гроб упакован Изя Мойжес. На нем новые башмаки работы Моисея Пасхавера. На лице выражение высокомерия и независимости.

– Надеюсь, Иезикиль, Вы скажете Ему, кто сшил Вам эту пару башмаков, – говорит Моисей и оглядывается по сторонам. Женщина с мокрыми руками глядит на него из прихожей. Моисей улыбается ей, хочет попросить квасу, но, спохватившись, покидает дом.

Квас Моисей пьет на Контрактовой площади возле фонтана, изображающего Самсона, раздирающего пасть льву.

– Н-да, – говорит Моргулис и возвращает мне рукопись. – Это Бабель с плохим финалом. «Изображающего, раздирающего» – сплошное рычание. Я знаю этот фонтан: карлик Самсон и лев ростом с болонку, иногда из пасти у него течет струйка воды.

– Понимаешь, – оправдываюсь я, – лето, утро, воскресенье, пить квас и ни о чем не думать...

– Ну и что? – перебивает Моргулис.

– Ничего, – говорю я, – ничего.

## КНИГА СОКОЛОВА

В ночь с пятницы на понедельник.

Сергей Соколов

**С**ергей Соколов пишет две книги одновременно: одна называется «Алкоголь наш друг», вторая – курс лекций по физике. О последней мне ничего неизвестно. С тех пор, как Соколов оставил педагогическую деятельность, разговоры об учебнике прекратились. Работа над первой обрела второе дыхание. Когда Соколов вваливается в мой дом с бутылкой водки в кармане, я понимаю, что нам предстоит не заурядная пьянка, а изнурительная литературная работа.

– Книга почти закончена, – говорит Соколов, – идут переговоры со спонсором, думаю над тиражом.

После чего мы пьем за обещанное мной предисловие.

– Угадай, как будет заканчиваться моя книга? – спрашивает Соколов, закусывая. Я знаю, как заканчивается его книга, но молчу.

– Двумя словами, – говорит Соколов и наполняет обе рюмки, – Не спится, не спиться. А? Как тебе? Не спится, не спиться. Всего одна буква разницы. – Он гордо поднимает рюмку и предлагает выпить за нас талантливых.

Напивается Соколов быстро.

– Мне пора, – говорит он и не уходит.

– Куда? – спрашиваю я.

– На вокзал, я буду ночевать на вокзале.

Соколов ждет, что я спрошу его о деньгах – он взял их у меня, и не отдает. А я не спрашиваю.

– Все, – говорит Соколов, – все, все, все, – и поднимается из-за стола. Он не смотрит мне в глаза, он оскорблен моим молчанием.

– Как там Наталочка? – спрашиваю я.

– Какая Наталочка? – наливает Соколов себе, выпивает и уже с вызовом: – Это вы о моей жене?

Я проклиная тот день, когда дал ему займы денег.

– Мне всего пятьдесят, а ей уже двадцать семь, – говорит Соколов. Здесь я обычно смеюсь, да и сейчас не сдерживаю улыбку.

– Хм. Наталочка? – Соколов удобно усаживается, ловит вилкой маринованный опенок, изучает его так долго, что я задумываюсь о ядовитых грибах.

– Наталочка мне изменила, – говорит Соколов и проглатывает опенок как мухомор.

Далее следует история о том, как он встретил свою супругу, прогуливающуюся с молодым человеком из Канады. Был скандал с дракой. Молодой человек вскоре покинул Украину. Но Сергей прочел «совершенно случайно» письмо Наталочки за океан, в котором она «косвенно» дает согласие на свой переезд в Торонто.

– И, главное, представляешь, оказывается, во всем виноват я, – продолжает Соколов, – она потребовала, чтобы я: А – бросил пить, Б – приносил в дом деньги, В...

Он неожиданно засыпает. Я понимаю, что все эти три месяца он пропивал мои деньги, на душе у меня скверно.

– Сережа, – бужу я его, – давай я постелю.

На рассвете я вхожу в кухню. Соколов спит на диванчике, сложив руки у щеки. Под ногтями у него черно. Лысый, сморщенный, с седой щетиной старичок.

– Сереженька, – шепчу я.

– Я не сплю, – говорит он.

– Поедем в монастырь.

В Китаево идет дождь. Пятница. Монахи служат в пещерах. Отец Пафнутий, проходя в алтарь, благословляет нас. Серега сосредоточен, вот он крестится, вот передает свечу, шевелит губами. А я думаю о том, что от нас несет перегаром, и здесь, в пещере, это нестерпимо.



По дороге домой Соколов разглагольствует:

– Я ей сказал – давай так: год поживем порознь, за год я брошу пить, издам книгу, заработаю денег, а через год выбирай: он или я.

– Ты уверен, что проживешь еще год? – спрашиваю я. Сергей умолкает. Я прислушиваюсь к шуму мотора, в который раз думаю о том, что машине необходим ремонт, а денег нет, и Соколов не отдаст; «...и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим...»

Я оставляю тебе твой долг, Соколов, но и тебя тоже с книгой твоей, я оставляю. Я бы еще многое мог написать о тебе, ты талантливее и умнее меня, но я оставляю тебя, как действующее лицо рассказа, в котором тобой сыграна не лучшая роль.

## ПУТЕШЕСТВИЕ ОТЦА И СЫНА

– **Н** а лобовое стекло птичка насрала – знать, до Житомира нам ехать осталось недолго, – вдруг читает нараспев отец. Я думал, он спит.

– Это хокку? – спрашиваю я.

– Из меня мог бы выйти великий японский поэт, не гони, не гони, твою мать!

Я сбрасываю газ.

– «Жигули» у обочины, – опять запел отец, – Полная дама писает в лесопосадку.

Я смотрю в зеркало.

– Это «Фольксваген», – говорю я.

– Это хокку, – говорит отец. – Куда мы едем?

– К Францкевичу.

– Не слышу.

– Мы едем к Францу! – кричу я.

– Не ори, – говорит отец. – Какого хрена?

– Франц – мой друг.

– Читал. Примитив и пошлость. Ты спал с его женой. Итальянка. Должна хорошо делать минет. Муссолини. Вслушайся. Му-со-ли-ни – это минет. Макаронники отсосали у Гитлера.

– Я не спал с его женой. Это литературный домysel.

– Я и говорю – пошлость, – итожит отец.

Светает. Я за рулем четвертый час. Ночью отец напросился в дорогу, был пьян, плакал и умолял не бросать его на произвол судьбы. Произволом

судьбы он называет свою жену – кроткую терпеливую женщину, дом, где я вырос, и свою мастерскую. Мой отец художник.

– Тормози, твою мать! – приказывает отец. Я останавливаю машину.

– Здесь в шестьдесят пятом нам подавали превосходных раков. Помнишь?

Пошел дождь, запахло пылью, с вишневых деревьев облетает цвет. В придорожном ресторане «Охотник» мы единственные посетители. Я заказываю у зевающего бармена кофе и сто граммов водки. Отец занял столик в углу. На стенах висят пластиковые головы оленя, кабана, косули...

– За торжествующую пошлость! – говорит отец и пьет до дна.

– Поешь чего-нибудь, – прошу я.

Он выдыхает, утирает слезы и шелкает пальцами:

– Официант, повторить!

Дождь перерос в ливень. Мы ползем по трассе за колонной грузовиков. Отец вертит ручкой настройки радио, натывается на новости – говорят о выборах в парламент.

– Всемирный потоп, а у них ярмарка тщеславия. И мой сын среди них, – комментирует отец. – Уроды с одним полушарием. Деньги, деньги, деньги. Кому ты служишь? России? Нет, ты у них в холуях. Понавешал тут иконок.

Я не выдерживаю и иду на обгон колонны. Впереди ничего не видно, сигналю неуступчивым дальнобойщикам. Первый, второй, третий... Ну, вот и простор.

– Останови, – говорит отец.

– Ты чего, испугался?

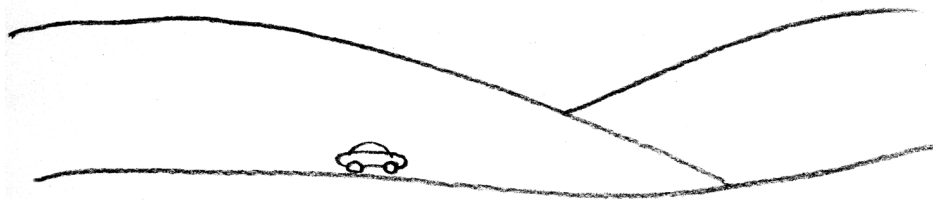
– Останови, я приказываю.

– На хрена я тирщиков обгонял?

Отец выходит под дождь, идет по зеленому полю, его тошнит. Я закурываю. Мимо с грохотом и брызгами проносятся грузовики. Иду к отцу.

– Не пошла, сука, – хрипит отец и плачет, – паленая. А каких раков подавали в шестьдесят пятом!.. Ты забыл, забыл.

– Помню, – говорю я, – тогда лето было, мы на мотоцикле приехали, в реке купались, у меня трусов не было.



Льет как из ведра.

– За год ни одной работы не продал, – говорит отец. – Денег у них нет. За гроши отдаю – не берут.

– Пойдем, батя, разбогатеют – возьмут.

– Ты не понял. Дай закурить.

Он все-таки закуривает враз намокшую сигарету, зажимая ее в кулаке.

– Вот поле, – говорит он, – оно настоящее. Дождь – настоящий. А я что? Что я?! Что?!

Мы опять плетемся вслед за грузовиками. Едем к Францу. К нему из Италии вернулась жена. Два года была на заработках. Зачем он ее отпустил? Хотя Наташка – командир, если ей что взбрело в голову... Как она сейчас посмотрит на нас? Франц – провинциальный архитектор, я – неизвестный писатель, мой отец – художник-любитель и – Рим. Никто из нас никогда не был в Италии и, наверное, уже не будет.

– Приехали, батя. Житомир.

## ПРО ГОВНО

**Вот Вы говорите: «говно», «говно»,  
а Вы пробовали?**

**Н**ам было восемнадцать, мне и другу моему Олегу Францкевичу, и мы работали электросварщиками в пансионате «Солнечный», летом, на берегу Черного моря. Зачем? Да денег у нас не было, чтобы просто отдохнуть, вот мы и нанялись днем варить забор, а вечером... вечером – море, девушки и вино: рубль – литр, но об этом потом.

Моя душа, как летний дождь,  
Небесная вода,  
И краснокожий сердце-вождь  
Идет туда-сюда,  
И пуголовицы глаза  
Глядят через очки.  
Вокруг все «за», мы тоже «за»:  
И де... и мальчики.

Я был советским поэтом, меня не печатали, но я был. Я скрывал свою девственность бородой и табаком, мечтал перетрахать все побережье, что, в общем, и делал мой друг Олег Францкевич. Куда ни шел я пьяненький, везде: в море на мелководье, задыхаясь от хлестких пощечин волн;

на берегу, скользя под ливнем по отвесному склону; на пляже, исчезая женской парой ног в кабинке для переодевания и с грохотом обрушивая ее (кабинку) на песок – везде хохотала плоть моего друга. А я писал стихи, и все о любви, я ждал, я звал – и она пришла: в сумерках, в виде двух девушек в белом, на аллее под фонарем среди мотыльков.

– Мне – длинная, – сказал Францкевич. Покороче досталась мне. Ее папа – доцент (пансионат был предназначен преподавательскому составу Львовского политехнического института) и мама – домохозяйка оздоравливались в номерах.

Я читал ей стихи – той, что покороче, в то время, когда Францкевич и длинная корчевали кусты, я даже поцеловал ее на третий день знакомства, я заваливал ее дверь розами, разоряя по ночам клумбы соседних пансионатов.

В один из этих чудных дней сгорел сортир. А дело было так. Я варил очередной километр забора в бесконечной сухой степи, когда появившийся с новой пачкой электродов Францкевич фальшиво запел: «Гори-гори ясно, чтобы не погасло». Загорелась трава, огонь дополз к одинокому деревянному туалету, а тот вспыхнул так, что случись это ночью, все корабли плюнули бы на жалкий фонарь маяка одесского порта и устремились бы к нам.

В конце рабочего дня та, что покороче, пришла на свидание с расстроенным лицом. Оказалось, что у нее тоже сгорел, но не сортир, а казенный утюг. Поцелуи двух погорельцев были как никогда горячи. А утром я бросил Францкевича одного на нашу китайскую стену, на попутках умчался в Одессу, где и приобрел утюг отечественного производства.

Вечером под фонарем стояли двое: я и Длинная. Та, что покороче, вместе с папой-доцентом и мамой-домохозяйкой, покинули меня, пансионат и побережье.

– Понимаешь, – тараторила Длинная, – ее родители, они не понимают, это они увезли ее, она не хотела, она любит тебя, она... Сейчас!

В кустах призывно орал Францкевич. Я стоял под фонарем с утюгом отечественного производства и тени не отбрасывал.

– Слышь, милый, заработать хочешь?

– Что?

Завхоз пансионата, женщина толстая, добрая, лет сорока-пятидесяти, протягивает мне три рубля:

– Это аванс. Завтра в четыре утра с напарником здесь, «утра», а не вечера, понял?

На треху я напился, как на червонец.

– Доценты, академики хреновы!.. – орал я под корпусом своей возлюбленной, размахивая утюгом. – А что вы в нежных чувствах понимаете, невежи?!

Может не совсем этими словами, может, вообще не кричал, а так казалось мне, но проснулся я с чувством, будто совершил что-то постыдное, что именно – предстояло выяснить.

Перед рассветом я без бороды и Францкевич стояли в условленном месте. Меня подташнивало.

– Что делать-то будем? – приставал Францкевич.

– Не знаю, может дрова грузить.

– Зачем им дрова летом?

Ну, слава Богу, вот и завхоз.

– А-а-а, – пропела она, – сбрил бороденку, чтоб не узнали.

– Подумаешь, – я независимо закурил.

– Да ты хоть помнишь, что натворил?

– Нет, – ответил я, курить расхотелось.

– Сначала обматерил всех, а потом влез в центральную клумбу, снял штаны...

– Прошу Вас не продолжать, – решил я прекратить разговор.

– Отчего же, Александр Николаевич, – вступил Францкевич, – продолжайте, сударыня.

– Да не успел он, я же его и увела от позора, – продолжила завхоз, – и штаны тебе застегнула, у самого не получалось.

– Давайте работать, – сказал я. – Что там у Вас?

– Да все то же, – сказала завхоз, – бочки с дерьмом надо погрузить, вывезти и опорожнить.

Францкевич попытался посмотреть мне в глаза.

– Что же это такое, – заговорил я фальцетом, – двадцатый век, а у вас канализации нет!

– Нету, милый, – ласково ответила завхоз.

– Мы – сварщики, а не какие-нибудь ассенизаторы. Мы отказываемся, – заявил я.

– А аванс зачем брал? – спросила завхоз.

– Францкевич, отдай ей три рубля, – сказал я как можно небрежнее.

– Сволочь, – сказал Францкевич. – Пошли говно грузить.

– Подумаешь, бочки, – засеменял я следом, – не цистерны же.

– Алкаш, – процедил Францкевич, не оборачиваясь.

Технология санитарной очистки пансионата была отработана годами. Вдоль корпусов бодро шла завхоз, следом – грузовик, замыкали траурную процессию два золотаря. По команде завхоза машина останавливалась, мы нежно, чтоб не расплескать, устанавливали бочки на машину, и двигались дальше. На выходе из пансионата завхоз села в кабину, мы – в кузов и, как

по минному полю, – по степи, к засекреченной выгребной яме. Бочки хлюпали, и на ухабах норовили плеснуть на нас своим содержимым. Тогда мы стучали кулаками по крыше кабины, водитель ненадолго замедлял ход и вновь разогнался до следующего ухаба. Наконец приехали. Солнце еще не взошло, молчали птицы. Среди безжизненной степи зловонным бульоном, размером с бассейн, зеленела выгребная яма.

– Ну, давай по-быстрому, – скомандовала завхоз, и я почувствовал, что здесь ее власть безмерна. Мы осторожно сгружали бочки, опорожняли их в яму и возвращали тару на грузовик. Все бы ничего, если бы не мое похмелье: меня мутило, глаза заливало потом. Последняя бочка, черт бы ее побрал, выскользнула из рук, плюхнулась в яму и, удовлетворенно захрюкав, пошла ко дну.

– Ну и во что теперь народ срать будет? – спросила завхоз.

– Надо новую искать, – попытался спасти меня Францкевич.

– Нет новых, на всем побережье нет, милые, – сказала завхоз.

– Глубоко тут? – обреченно спросил я.

– Тебе по пояс будет, – сказал водитель грузовика, до этого он не проявлял к нам никакого интереса.

– Давай скорей, – скомандовала завхоз, – народ проснется, не в клумбу же им ходить.

Я сполз в яму, оказалось – по грудь. Подлая бочка не нашупывалась, должно быть легла на бок, меня стошнило, но это было уже не важно, ситуация требовала подвига, я вздохнул и, как Садко, погрузился в пучину.

Возвращался я пешком, хлюпая по степи. На пляже, не раздеваясь, вошел в море. Солнце золотой бочкой поднималось над горизонтом, воняло все.

Только через три дня мир вернул мне свои запахи, но и срок нашего найма кончился. Нас рассчитали, утюг отечественного производства я без сожаления подарил завхозу, и, с рюкзаками за плечами, мы с Францкевичем вышли на дорогу ловить попутку.

Остановился фургон.

– В Одессу, плачу пятерку, – по-барски предложил Францкевич.

– Даром довезу, если не слабонервные, – сказал водитель, вышел из машины и распахнул фургон. Мы глянули внутрь. Там стояли три новеньких гроба.

– Не бойсь, они свободны, – сказал водитель.

– Каждому по одному, – сказал Францкевич и полез в фургон.

Машина тронулась, мы сели на гробы, глянули друг на друга и расхотались.

В тот год соседка лишила меня девственности.

## ТРИ ПОДВИГА ГЕРАКЛА



Батя, ты помнишь, как мы на лыжах...

– Что ты пьешь?

– В Бродах...

– У меня тоже простатит. Антибиотики – говно.

Подвиг первый.

Однажды вечером папа принес домой лыжи и говорит: «Пойдем кататься». А я говорю: «Я варежки потерял». Папа взял старую шинель и сшил из нее пару варежек. Указательный палец был отдельно. «Это для стрельбы», – сказал папа. Мы поехали кататься. Была ночь, сияли звезды, скрипел снег, было очень хорошо.

Подвиг второй.

Однажды я пришел в детский сад. Воспитательница говорит: «Ты почему, Столяров, в резиновых сапогах зимой? Заболеешь ревматизмом». А вторая воспитательница говорит: «Отец-одиночка, что с него возьмешь». Летом папа купил мне ботинки, новые. Но я отказался их надевать, потому что они были девчачьи – белоснежные. Папа взял черную масляную краску и покрасил ботинки. Они стали не новые – в серо-черных разводах, и я ходил в них в садик.

– Батя, ты говорил, что в детстве вылечил меня от ревматизма.

– Ну да, вылечил.

– Как?

– Марганцовкой.

– Я тоже вылечил одного кинорежиссера от СПИДа.

– Чем?

– Ужгородским коньяком.

Подвиг третий.

Однажды вечером папа пришел домой пьяный, а я спрашиваю: «Ты купил мне цветную бумагу для аппликаций? У нас завтра рисование». Папа достал гуашь и раскрасил страницы в тетради по арифметике в разные цвета. В школе все смеялись надо мной. А учительница дала мне пачку настоящей цветной бумаги, и я взял.

– А помнишь, ты мне саблю сделал?

– Нет. Когда?

– Мы сидели на холме, и ты вырезал ножом из дерева. А гуся помнишь?

Он на иву взлетел и гоготал.

## БАЛАБОЛ

Однажды мы играли во дворе в футбол. Я стоял на воротах. На моей белой майке отпечатался футбольный мяч, и я этим гордился.

– Рыжий, – позвал меня отец.

– Сейчас, – сказал я и пропустил мяч.

Мы с отцом пришли домой и удивились: у нас исчезла вся мебель, даже сесть было не на что. Отец постучал к соседям и спросил, не знают ли они, куда делась наша мебель?

– Как же, – сказали соседи, – знаем. Были грузчики, сказали, что вы переезжаете, а Ваша жена приглашала всех на новоселье.

– Ну да, переезжаем, – сказал отец, – я и забыл.

Мы вышли из дома и сели на лавку. Отец закурил «Беломор». Соседи спустились вниз и еще раз поздравили нас с новосельем. Отец нашел в кармане три рубля, и мы пошли в магазин. Там мы купили бутылку вина и котлет. Дома отец разогрел котлеты и я поел. Потом отец налил мне и себе вина, мы выпили, не чокаясь, и я уснул на полу. Проснулся ночью, оттого что отец плакал: он то всхлипывал как маленький, а то выл, и мне было страшно, но я молчал.

Однажды в Великий пост, накануне Пасхи, когда сердце мое стало нежным, я написал об этом отцу. В ответ он прислал письмо с одним словом – Балабол.





## СИДЯ НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ

— М иллион миллионов.  
— Сколько-сколько?  
— Триллион.

— Столько не бывает.

— А у меня есть, — говорит Санька, достает из носа «козу», пробует на вкус и плюется.

— Соленая? — спрашивает Маринка.

— Как картошка, — говорит Саня, поворачивается и идет к дому.

— Ты куда? — кричит Маринка.

— Улиток ловить.

— Я с тобой.

— Не-а-а, — говорит Санька, спускается по лестнице в подвал, на цыпочках тянется к выключателю, щелкает, открывает дверь и видит, что лампочка не загорелась. Дохнуло сыростью. Маринка уперлась руками в зеленые коленки и глядит с верхней ступени. Санька входит в подвал. Дверь, сначала тоненько, потом с визгом и скрежетом, захлопывается. Санька открывает глаза, но видит все ту же тьму.

— Са-а-а-нь, Саня-я-я, — зовет Маринка из другого мира. Санька пошевелил где-то ногой. Шорох разнесся вокруг, как крылья. Вдруг загудела, затарахтела и смолкла труба. И опять: кап, кап. Улитки там. Санька садится на корточки и так передвигается вперед. Он слышит, как навстречу ему ползет огромная, больше него в сто раз, рогатая улитка. Санька замирает, но и она тоже затаилась.

— На золотом крыльце сидели: царь, царевич, король, королевич... — считает Маринка. Голос ее становится громче, значит, поворот рядом. Санька встает и делает шесть шагов.

— ...сапожник, портной, кто ты будешь такой?

Синий свет из оконца под потолком освещает вертикальные трубы, двери с навесными замками и улиток на стене. Крайняя смотрит на Саню. Он ждет, когда она отвернется, протягивает руку, осторожно снимает ее со стены, подносит ко рту и дышит на нее теплым воздухом.

— Сань, Саня? — лицо Маринки расплосилось на стекле оконца, — выходи, тебя мама зовет.

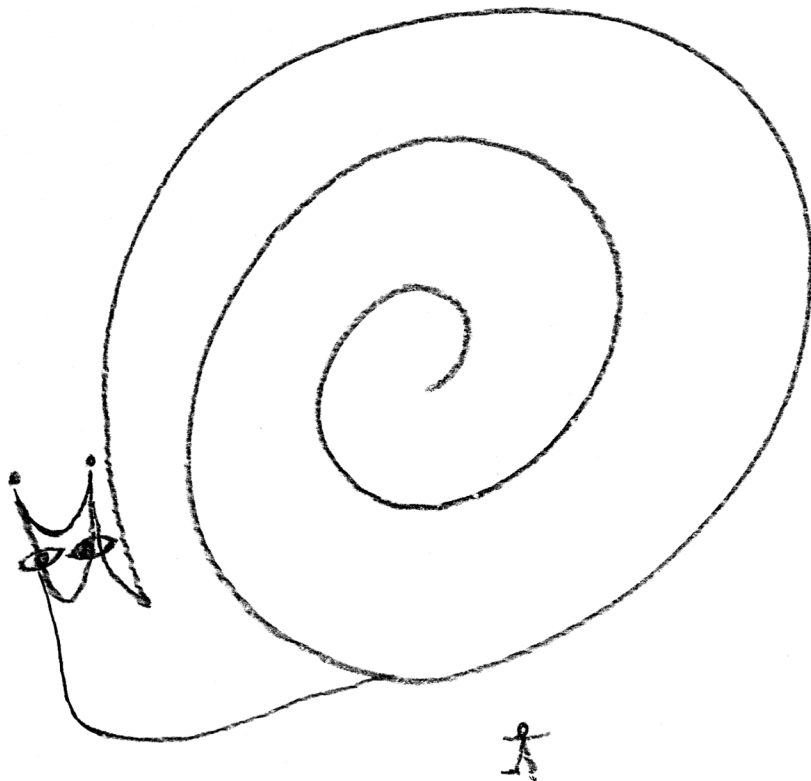
— У меня нет мамы, — говорит Саня и видит, как улитка прячется в ракушку.

Свет яркий, жгучий растворяет Саню. Он замуривает глаза, но и там видит свет, и Саня понимает, что свет проник внутрь его, и уже нет границ между ним и белым светом.

- Она мертвая, – говорит Маринка.
- Сама ты мертвая, – говорит Саня и несет ракушку в тень каштана.
- Улитка-улитка, – просит Маринка, – высунь рожки.
- Марина! – зовет сверху женский голос. – Обедать!
- А можно я с Саней?
- С каким еще Саней?!
- Ну с Саней!

Маринка выталкивает Саню из-под каштана. На балконе стоит рыжая, как солнце, женщина.

- Можно, – говорит она.
  - Пойдем обедать, – приказывает Маринка и берет ракушку.
  - Не трогай улитку! – кричит Саня. – Она не твоя.
  - Ну и ешь свою соленую картошку, – говорит Маринка, кричит: – Мам, я иду, – и исчезает в парадном.
  - Улитка-улитка, высунь рожки, – просит Саня, – дам тебе картошки.
- Тихо пошел дождь. Саня стоит под каштаном, а по стволу ползет улитка.



## УМИЛЕНИЕ

**Н**а рассвете Володька услышал женский смех. Он бросил убирать двор и забродил взглядом по окнам. Смех был особенный: благодарный. Так могла смеяться женщина после ночи нежных счастливых ласк, утомленная и легкая, вот-вот упорхнет как перышко. Володька подумал, что никогда не был причиной такого смеха. Подумал без горечи и без зависти. Он так и не определил, в какой квартире была эта радость. Вернулся к парадному, сел на лавку и стал думать о любви.

«Кто больше любит, – задал себе вопрос Володька, – мать – младенца или младенец – мать? – и сам стал отвечать: – Любовь матери терпелива, а у младенца нет терпения. Значит – мать. Но разъедини их, что будет? Мать останется жива, а младенец умрет. Значит – младенец».

Вставало солнце. Рыжий кот вспугнул из мусорного бака голубей.

«Возьмем мужчину и женщину, – вспомнил Володька счастливый смех в окне, – влюбленных сразу видно: они радостны и не печалются ни о чем. Но кроме любви должен быть страх ее потерять. Любовь без страха – глупость. Когда уходит любовь – приходит страх, и кто не боится – тот не любит. Надо помнить, что любовь может уйти, а если нет ни страха, ни любви – значит, душа умерла. Страх сохраняет любовь...»

Фактически Володька не был даже временно исполняющим обязанности дворника. Дворничиха Галка в пьяном кураже подхватила его ранней весной на улице, обогрела, накормила, обстирала, и уже на следующий день Володька вышел вместо нее убирать двор и чистить мусоропровод. Галка не издевалась над Володькиной инвалидностью, а наоборот – показала ему свою плешь. До начала июня жили хорошо. А после Галка затомилась и вдруг уехала в свою деревню «збирать врожай». Оставленные ею на все лето деньги Володька пропил в три дня, но в этом был и положительный результат: хоть и алкаши, но приятели у него появились. Володька сдавал бутылки, собранные по подъездам, редко, но мыл машины из своего шланга, помогал носить вещи при переездах – немного, но на хлеб хватало, а иногда даже на пиво. Тогда Володька жарил картошку с луком, созывал гостей и произносил речь.

Вчера он говорил о надежде.

– Что такое надежда? – спросил своих гостей Володька.

– Ну? – сказали гости. Володька выключил в комнате свет и распахнул дверь в общий коридор.

– Видите, – сказал Володька, – надежда – это свет в коридоре.

– Да, – согласились гости и выпили по второй.

– Даже если я буду сидеть в темноте, я не буду унывать, – сказал Володька, – потому что я знаю – в коридоре есть свет!

– А если лампочку сопрут? – спросили гости.

– Тогда я буду ждать солнца!

Со вчерашнего Володьку мучило. Он выпил воды из шланга и стал поливать траву и деревья. Во всех дворах трава уже выгорела и листья пожухли, только у нас все было зелено, как весной.

Однажды, уже в августе, Володька взял у меня взаймы рубль.

– Ты, писатель, все в чувствах понимаешь. Что это: когда душа болит и воображает, как покинет этот мир, но утешается и радуется тому, что скоро явится в мир иной. Что это за чувство?

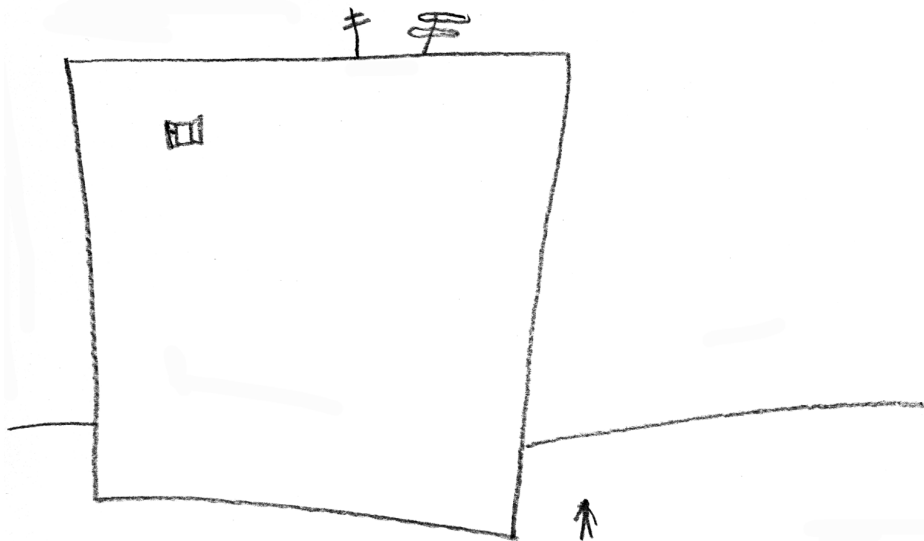
Я пожал плечами и подумал, что рубль он мне не отдаст.

– Вот и я не знаю, – сказал Володька, закурил мою сигарету и стал следить за тем, как дым поднимается к небу.

Рубль Володька отдал первого сентября. В тот день вернулась Галка. Приехала не одна, а со здоровенным шофером-земляком.

– Не могу я без мужика, Володенька, у меня даже волосы расти начали, веришь? – спросила она, но плешь не показала.

– Верю, – ответил Володька шепотом и освободил помещение. Но двор убирать и поливать газоны не бросил. Являлся откуда-то под утро и дворничал. Галка как-то раз избивала его, вся в слезах, шофер-земляк ее оттаскивал.



– Всю душу мэни порвав, дворняга приبلудный, – рыдала Галка, а Володька вытирал рукавом кровь с лица и молчал.

Пришли холода. Володька все реже появлялся пьяненький и сидел со старухами на лавочке, а зимой исчез совсем.

Сегодня я спросил Галку:

– Как там Володенька?

Галка пробурвила глазами землю и сказала:

– Стерся.

## ОБОЛОНЦЫ

**Н**ичего не происходит в нашем микрорайоне. Вот пес гоняет голубей. Зазвонил телефон. Раз, два... шесть звонков. Взял человек трубку или нет? Мужчина высморкался с балкона и вернулся в квартиру, оказывается, он голый. Суббота. Шестой час. Ночью из окна пятого этажа кричала женщина:

– Помогите, помогите, пожалуйста!

Мы стояли во дворе и спрашивали:

– Что, что случилось?

А она не отвечала, может, не слышала и продолжала кричать, пока ее голос не сел. Тогда к нам подошла дворничиха Галя и сказала:

– Цэ Катька. Покры трэзва – хороша женщина, а як выпье – пэрэмыкае. Жывэ без мужа. В нэй трое деток, йих жалко.

– Столяров! Сто-ля-ров! – вдруг слышу я. Оборачиваюсь – Лешка в окне голый по пояс, а может, и весь голый. – Заходи водку пить.

Я пришел. А он в штанах и с новой гражданской женой. Она говорит:

– У вас здесь очень часто хоронят.

Я плечами пожал и выпил. А она говорит:

– У вас здесь все ходят в тапочках, продают квас прямо из бочки, и нет одноразовых стаканчиков.

– Они были, – говорю я, – только мы их не покупали – дорого.

– Вика из Москвы, – хвастается Лешка.

– А... – говорю я, – а загар у Вас, как на рынке.

– Это мы на залив ходим, – говорит она. Я был на заливе с Варварой. В нем Леня-консерж утонул. Его выгнали за пьянство, а нашли одетым. Может, самоубийство. Вообще-то Бог любит оболонцев. Он нам подарил два залива и судоходный Днепр. Летом мы все ходим купаться: дети, старики, собаки и влюбленные. Песни поем про улицы Саратова.



– Вот, началось, – говорит вдруг Вика, – слышите?  
– Это качели, – говорю я.  
– Каждую ночь, – говорит Вика, – вот так мерзко визжат.  
– И по утрам бывает, – говорю я, – их уже много раз меняли, а поют все так же. Мы привыкли.

– Может, их чем-то там смазать надо? – говорит Вика.

– Может, – говорю я, – У нас в тридцать четвертом доме петух жил. Кукарекал, тоже чем-то там смазали – умер.

Мы выпили, и я почувствовал, что Лешка уже жалеет, что меня пригласил.

– А ко мне приемная мама приезжала, – говорю я.

– Ну и что? – говорит Лешка.

– Вы так неясно выражаетесь, – говорит Вика. – Мачеха, что ли?

– Можно и так, – говорю я. Она с Софьей сюсюкала-сюсюкала, мне даже противно стало. А потом вспомнил, как ее сын и мой брат выбросился из окна на рассвете, и она в одной ночной рубашке выбежала на улицу. Это был ее единственный ребенок. Он сказал: «Мама, мне больно»... и все. Апрель, холодно. Отец пальто принес. «Лида, надень, – говорит, – неприлично».

Лешка опять налил, и мы выпили со значением.

– Отец Пафнутий на Афон собрался, и меня зовет, – говорю я. Про Пафнутия – правда, а что меня зовет – соврал.

– Поедешь? – спрашивает Лешка.

– Да. Это будет настоящее путешествие отца и сына.

– Он что, Ваш отец? – спрашивает Вика.

– Да, – говорю я, – только он моложе меня на пять лет.

– Как это так может быть? – спрашивает Вика.

Я плечами пожал и пошел домой, хотя водка еще оставалась. По этажам у нас два лба опять проститутку водили. Она им жалуется: «Устала, спать хочу». Лбы мне говорят: «Хочешь? Давай десять гривен». Я отказался. Дома Юльке рассказал. Она достала откуда-то десять гривен и говорит:

– Иди, дай им, пусть отдохнет.

Я пошел по этажам, но никого уже не нашел. Вернулся. Софья спит. Юлька молится.

– Ты о проститутке тоже молишься? – спрашиваю. Она кивает и дальше молится, потом слышу, плачет. Я тоже помолился за всех, кого вспомнил, и лег спать. Ночью шел дождь, и пели качели. А утром рыжий пес гонял по двору голубей.

Ничего не происходит, вот только небо над нами огромное и когда ни помотришь – новое.

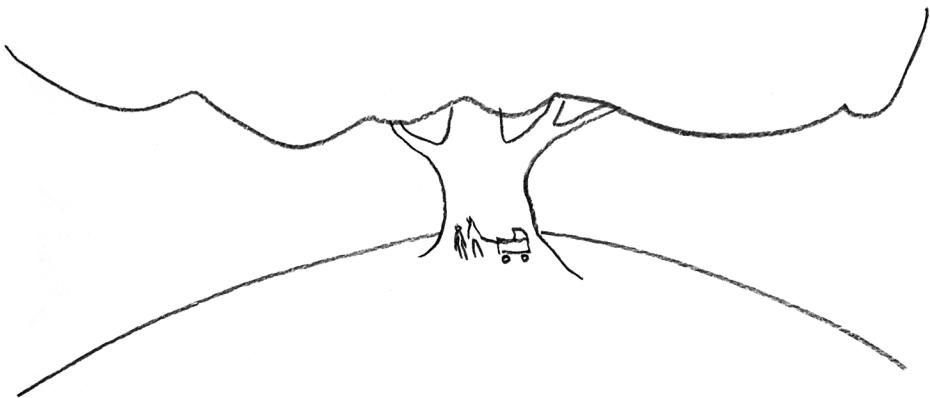
## ВОСКРЕСЕНЬЕ

**Д**ушно. Мы с Софьей уже час стоим под деревом на случай дождя. Вдоль дороги идет девушка и всем улыбается. Может, у нее юбка новая?

– Вы не знаете, где здесь парикмахерская? – спрашивает меня мужчина с короткой бородой. Объясняю.

– Большое спасибо, – и пошел совсем в другую сторону.

Вчера один душевнобольной жаловался, что к ним в психбольницу подсадили наркоманов – невозможно нормально болеть. И Дударю сегодня зуб вырывают.



Из магазина вышла Юлька с копчеными куриными окорочками. Я ей говорю:

– Становись под дерево.

Мы стали есть окорочка, а кости складывать в кулек, для Варвары. Мы ее дома забыли. Тут звонок.

– Внимание-внимание, говорит Германия. Сегодня под мостом поймали Гитлера с хвостом...

Это Лосев, режиссер. У него в Киеве не было работы, и он голодал, а потом уехал в Мюнхен и там кушает хорошо. Я ему про дерево рассказываю, вдруг – как бабахнет!.. и полило с неба. К нам под дерево все и набежали, а я стих сочинил:

Дождь идет, глазами влажными  
Смотрим в неба потолок,  
А за пазухой у каждого  
Мокрый греется щенок...

А Софья заснула. Я ей сказку про Волшебную Сисю напишу. После ливня.

Ба-бах! Свят-свят-свят, Господь Саваоф.

## ИЕРЕЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ

**В** субботу двенадцатого мая, в полдень, мальчик, пасший в очередь общественное стадо, постучал в окно дома приходского священника – настоятеля Свято-Покровской церкви отца Игнатия – и, заикаясь, объявил, что в лесу лежит «мертвяк безносый, а изо рта у него торчит дубина». Отец-настоятель после трапезы, надеясь вздремнуть чашок-другой, разобрав дурную весть, охнул, мальчика направил на почту, а сам, набросив на плечи шерстяной платок, поспешил в буковую рощу. Труп отец Игнатий обнаружил на поляне в луже с лягушачьей икрой. Положение тела было неестественно прямым, его будто пытались нанизать на гладко оструганную суковатую палку. Громко трещала сорока, коровы бестолково бродили среди деревьев. Отец Игнатий зачерпнул ладонью воду и омыл лицо от грязи. Глаз, носа и ушей у покойника не было.

– Ох, как нехорошо, – вздохнул отец Игнатий, – и глаз-то не закроешь. Петр, Петр, какими муками Бог наградил тебя перед смертью, ими очистишься.



Своя милиция прибыла первой, благо их отделение стояло в соседней деревне. Газик, чихая и надрываясь, въехал на поляну и заглох. Стражи порядка, чертыхаясь, вытащили тело из лужи, перевернули, бросили обратно, вновь перевернули. Отца Игнатия отогнали, и тот стоял поодаль, наблюдал с подошедшими односельчанами за крикливо матерящимся следствием. Все видели, что доблестная милиция была пьяна, и молчали отчужденно. Никто бы и не заподозрил, что все они: и крестьяне, и трое милиционеров, и мертвый Петр Симонов – прихожане одной церкви.

Всенощную отец Игнатий служил обстоятельно и не торопясь. Собрался почти весь приход. Иногда мелькало нехорошее предчувствие, но отец гнал его от себя, крестясь чаще обычного. Во время каждения заметил в притворе мужчину средних лет, по костюму судя – городской: головы пред кадиллом не склонял, лба не крестил, а к елеопомазанию и вовсе исчез.

Уже разоблачаясь, отец Игнатий предложил дьякону выпить чаю и «еще чего-нибудь», но в душе чувствовал напраслину. Дьякон Стефан отказаться не посмел.

Вечер выдался тихий, светлый. По дороге к дому отца-настоятеля дьякон глубоко и шумно вдыхал носом воздух, улыбаясь цветущим вишням.

– И среди такой красоты глаза выколоть! – вдруг возгласил он.

– Не шуми – не на амвоне, – укорил его отец Игнатий.

– А палку-то в горло зачем? – перешел почти на шепот дьякон Стефан.

– Голос у него хороший был, тенор, – невозмутимо ответил отец Игнатий.

– Откуда знаешь? – удивленно спросил дьякон.

– Не тебе, а вот кому такие вопросы спрашивать, – указал отец Игнатий на поджидавшего у калитки давешнего городского мужчину.

– Здорово, отцы! – почти по-военному обратился мужчина.

– Спаси Господи! – чуть в разной, но, в общем, бодро отозвались дьякон и отец-настоятель.

– Следователь Пушкин Георгий Николаевич, – представился мужчина и протянул руку.

– Отец Игнатий, – пожал руку настоятель.

– Отец Стефан, дьякон Свято-Покровской церкви; видел Вас при свечах сегодня мельком, полагаю – не к Богу приходили, – поручкался отец дьякон.

– Да, – несколько не смутился Пушкин, – я к вам по делу об убийстве Петра Симонова.

– Допрос или беседа? – сухо спросил отец Игнатий.

– Просто разговор.

– Если разговор, – размыслил отец Игнатий и улыбнулся, – мы с отцом дьяконом чай пить собрались, и Вас милости просим.

– Как раз об убиенном... – начал дьякон, но вдруг осекся под взглядом отца Игнатия.

Пока следователь бездельничал в красном углу, отцы слаженно собирали на стол.

– А это вот след от пули, – взял в руки следователь икону Казанской Божьей Матери и указал на дырку в правом нижнем углу.

– Это с войны, – отозвался отец Игнатий.

– Неужто такую на груди носили? – удивился Пушкив. Икона была размером с книгу.

– Зачем на груди? В вещмешке. А пуля попала при отступлении, – объяснил отец Игнатий.

– Вы про стояние Зои Самарской слышали? – неожиданно спросил следователя отец дьякон.

– Нет.

– Вам в пятьдесят шестом сколько лет было? – не отставал дьякон.

– Я тогда еще не...

– А мне – восемнадцать, – перебил Пушкива Стефан, – и Самара тогда Куйбышевским называлась. Так вот. Легкомысленная девица Зоя на свой день рождения, не дождавшись жениха, при гостях, то есть, при свидетелях, сняла со стены образ Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, и решила с ним станцевать. Но вдруг замерла. И простояла, как каменная, три месяца. Врачи проверяли: сердце бьется, а сама...

– Вы видели? – перебил следователь.

– Нет. Стража не пустила. И напрасно Вы, Георгий Николаевич сомневаетесь. Все это есть в документах, ныне опубликованных. Вы настойки уважаете?

– Какие настойки? – переспросил Пушкив, возвращая икону на место.

– Анна Сергеевна, наша матушка, Царствия ей Небесного, умела и понимала это дело. Хотя сама ни-ни, в рот не брала. Вот ведь парадокс. А мне сочувствовала. «Все вы, – говорила, – басы – пьяницы, а тенора – бабники». Я ведь еще при патриархе Пимене в самом Елоховском пел. Он любил, чтобы именно я – «Жертву вечернюю», говорил, что умиление вызываю. Вот Вы улыбнулись, а «истинное умиление, – писал преподобный отец наш Иоанн Лествичник, – есть болезнование души, которая не возносится и не дает себе никакого утешения, но ежечасно воображает исход свой из сего мира».

– А Петр Симонов воображал свой исход? – вдруг спросил следователь.  
– Мне неизвестно, – посерьезнел дьякон. – Благослови на молитву, отче, – обратился он к отцу Игнатию.

Молитву следователь отстоял, кротко сложив руки на чреслах.

– Раб Божий Петр был мною лишен причастия – каинов род, и будет об этом, – сказал отец Игнатий. Сели за стол. Воцарилось молчание.

– Тихий Ангел пролетел, – прошептал дьякон, и точно: будто прошестели крылья в комнате – теплый ветер весенний взмахнул занавеской, приоткрыл небо, а в нем – молодой месяц и свежие проснувшиеся звезды. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Перед обедней отец-настоятель послал меня, иерея Иннокентия, к нашему прихожанину сержанту милиции Виктору Пикалову с требованием ему немедленно быть в церкви и непременно исповедаться. Во время проскомидии в небе загромыхало, молнии разорвали тучи и забарабанил дождь. Потемнело в церкви. Исповедаться Виктор Пикалов не успел. В очереди стоял последним. Прихожане, чувствуя недоброе, пропускали его вперед, но он не соглашался. Все слышали, как подъехала машина, видели, как вошли в церковь следователь Пушков с двумя городскими, вооруженными автоматами, милиционерами, остановились в притворе. Только отец Игнатий видеть этого не мог, в это время он вырезал копием средину из агничной просфоры со словами пророка Исайи: «Яко овча на заколение ведесе и яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, тако не отверзает уст своих; во смирении его суд его взятся; род же его кто исповесть; яко вземлетя от земли живот его». Сержант Пикалов опустился на колени, трижды земно поклонился, осеняя себя крестным знамением, встал и со словами: «Простите, братья и сестры» пошел к ожидавшим его.

После обедни мы узнали, что арестовали и милиционера Ерькина. Говорили, что он пытался бежать. Через три дня из города пришла весть, что Пикалов и Ерькин сознались в убийстве Петра Симонова. А на праздник Вознесения пришло отцу Игнатию письмо из прокуратуры.

**Настоятелю Свято-Покровской церкви  
о. Игнатию  
от старшего следователя обл. прокуратуры  
Пушкова Г. Н.**

Уважаемый о. Игнатий!

Дело об убийстве в Вашем приходе в моей и вообще в судебной практике – необычно. Мне не составило труда выяснить, что двадцать семь лет назад гр. Симонов П. И., находясь в нетрезвом состоянии за рулем грузовика, совершил ненамеренный наезд на другое транспортное сред-

ство: мотоцикл с коляской, в котором были гр. Пикалов А. Н. и его супруга гр. Пикалова М. И. В результате наезда гр. Пикалов А. Н. скончался от многочисленных травм на месте. Его супругу гр. Пикалову М. И. в бессознательном состоянии доставили в больницу, где она преждевременно родила и, не приходя в сознание, скончалась от многочисленных травм. Дело это хранится у нас в районном архиве. И сегодня разработать версию убийства Петра Симонова как убийство из мести оказалось несложным, так как бывший сержант милиции, двадцатисемилетний Виктор Пикалов и был тем, прежде времени рожденным, ребенком. На первом же допросе гр. Пикалов В. сознался в убийстве гр. Симонова П., а гр. Ерькин М. не отрицал своего соучастия. Но отягчающие обстоятельства: отрезанные нос, уши, выколотые глаза и палка в горле не согласовывались с версией убийства из мести. И тут я вспомнил Ваши слова о том, что Петр Симонов был лишен причастия. А что, – подумал я, – если он нарушил седьмую заповедь и «сотворил прелюбы» – выражаясь нормальным языком: гр. Пикалова изменяла мужу с гр. Симоновым? И если мое предположение правильно, то возможно, что ребенок, которого родила гр. Пикалова, был зачат в «прелюбах» с гр. Симоновым. Каинов род – Ваши слова. Посылаю Вам отредактированную мной стенограмму последнего допроса гр. Ерькина М. Верить ему окончательно невозможно, но картину преступления это проясняет.

*Гр. Ерькин: Мы возвращались домой, были вытимиши. Возле деревни видим – старик Симонов хромает. Виктор говорит: «Вот идет убийца моих родителей». Я говорю: «Он за это расплатился – отсидел восемь лет».*

*Следователь: Гражданин Пикалов показал, что это вы сказали: «Вот идет убийца твоих родителей».*

*Гр. Ерькин: Путаает, он пьянее меня был.*

*Следователь: Кто был за рулем?*

*Гр. Ерькин: Он.*

*Следователь: Продолжайте.*

*Гр. Ерькин: Мы подъехали, старик Симонов улыбается и говорит: «Здравствуй, Виктор».*

*Следователь: С вами Симонов не поздоровался?*

*Гр. Ерькин: Он со мной никогда не здоровался.*

*Следователь: Продолжайте.*

*Гр. Ерькин: Виктор вышел из машины и дал ему по его улыбочке. Потом мы затащили его в машину, привезли в лес, поставили на колени – чтоб прощения просил.*

*Следователь: Кто поставил?*

*Гр. Ерькин: Пикалов, конечно, – мне его прощение даром не нужно.*

*Следователь: Продолжайте.*

*Гр. Ерькин: Старик попросил прощения, а потом вдруг говорит, что он Виктору есть родной отец. Я, говорит, твою мать любил, у меня, говорит, после нее жизни не было. И ты мой сын – был у нас грех – смотри, как мы схожи: нос у тебя, говорит, мой, уши мои, глаза мои. Виктор меня спрашивает: «Схожи?» Ну мы и стали эту схожесть убирать.*

*Следователь: Отрезать. (Я уверен, что резал Ерькин.)*

*Гр. Ерькин: А потом, когда уже не похож стал, он говорит, что Виктор про голос забыл. У нас, говорит, у обоих тенора, я, говорит, в церкви в хоре пел, а ты – в армии запевалой был. И как запоет «Господи, помилуй». Ну, тут мы ему клюку в горло и вогнали.*

*Следователь: Кто вгонял?*

*Гр. Ерькин: Я вгонял. Виктору слабо – он у нас верующий.*

*Следователь: Но ведь и вы верующий?*

*Гр. Ерькин: Да какое там. Так, на Пасху яйца посвятить – отдать, так сказать, дань ритуалу. А мы ведь с вами знаем – Бога нет.*

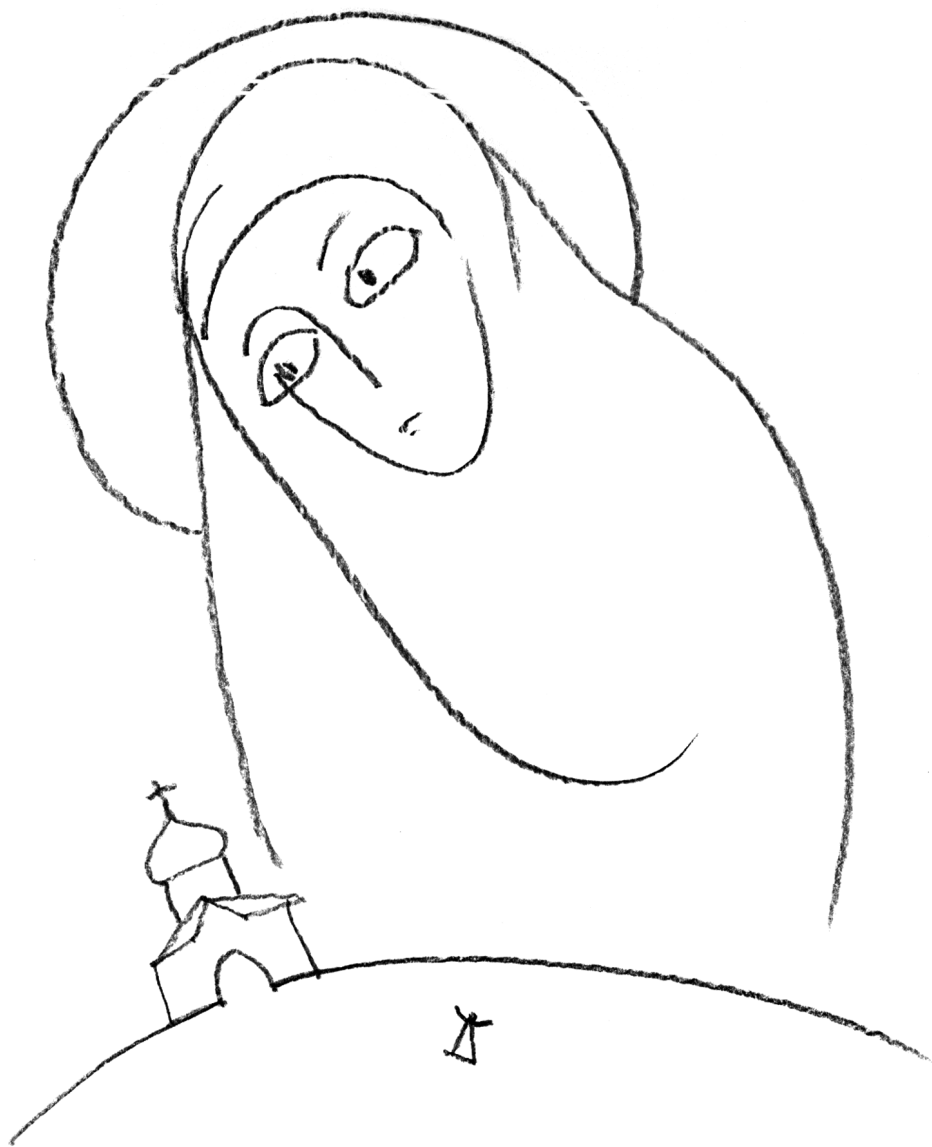
*Вот такой допрос, отец Игнатий. Виктор Пикалов отказывается признавать отцеубийство, но это временно. Еще раз благодарю Вас – если бы не Ваши слова, дело бы так и осталось банальным убийством из мести.*

– Ох, дурак я, дурак, олух Царя Небесного, – захохотал отец Игнатий после того, как дьякон вслух прочел нам письмо.

– Ты чего, отче? – удивился дьякон.

– А то, отцы, что искусил я следователя. Бога за бороду он не поймал, но думает, что таинство исповедания к делу ловко приторочил. Это ж суд скоро.

– Вспоминается мне тезоименитый отшельник Стефан – не путать с первомучеником, – запел отец дьякон, – эпизод, описанный преподобным отцом нашим Иоанном Лествичником. «Стефан великий отшельник был, леопардов в пустыне из рук кормил. Перед кончиною возвратился в келию свою, на святой горе. Впал в болезнь, лежал и с открытыми глазами озирался то на правую, то на левую сторону постели своей, и вслух всех предстоявших говорил иногда так: «Да, действительно, это правда, но я постился»; а иногда: «Нет, я не делал этого, вы лжете»; потом опять говорил: «Так, истинно так, но я плакал и служил братьям»; иногда же возражал: «Нет, вы клеветеете на меня». Страшное зрелище, но ужаснее то, что его обвиняли в том, чего он не делал. В продолжении сего истязания



душа его разлучилась с телом, и неизвестно осталось, какое было решение и окончание сего суда и какой приговор последовал».

– В город мне надо, – засутился отец Игнатий. – Вы пока тут без меня как-нибудь.

О путешествии отца-настоятеля нам известно лишь то, что в городе он испросил себе свидания с Виктором Пикаловым, но о чем был у них разговор – нам неизвестно. Слышали, что на следующий день подследственный потребовал медицинской экспертизы, подтверждающей или опровергающей его родство с убитым им Петром Симоновым.

Почти через год пришло второе письмо от следователя Пушкива Георгия Николаевича. Содержание его для нас осталось тайной, потому как в Рождественский пост «тихо, мирно и непостыдно» скончался отец наш Игнатий. За неделю до того в городе был суд, и Виктор Пикалов был осужден за убийство из мести, медицинская экспертиза родства не подтвердила.

А сегодня, четвертого июля по новому и двадцать второго по старому стилю, я шел на службу, смотрю – навстречу мне спешит отец дьякон.

– Чудо! Чудо! – восклицает. – Прострельная икона замироточила!

«Прострельной» у нас народ назвал икону отца Игнатия – список с Казанской Богоматери – мы ее после смерти отца-настоятеля в церковь перенесли и на левой стене повесили.

– Чудо! Чудо! – побежал по деревне дьякон, смеется и плачет одновременно. И точно, вхожу в церковь и вижу: Богородица вся в капельках и благоухает. Аллилуйя!

Записал – то, что сам видел и со слов дьякона Стефана – иерей Свято-Покровской церкви отец Иннокентий.

Написано верно, и достойно быть опубликовано в благонамеренных изданиях.

Дьякон Стефан.

## О ПОЛЬЗЕ АНТИСЕМИТИЗМА

**Я** жил в Москве во время «жидомора». Это было начало перестройки, и во всем обвиняли евреев. Я им сочувствовал, но в душе оставался антисемитом.

Потом я приехал в Киев и узнал, что в бедах украинского народа виноваты жида и москаля. Это было так удивительно.

На студии А. Довженко меня тихо травили, но картину я закончил. После просмотра ко мне подошел директор и сказал:

– Что ж ты нам сразу не признался, что ты еврей?

Я растерялся. Может быть, это традиция любого народа: всех умных или богатых, или талантливых, а тем более – и умных, и богатых, и талантливых...

А может быть, это инстинкт самосохранения?

Друг моей юности, еврей Гоша Буренин, любил ближних. Он был художник и поэт. «Ближние» любили пить с ним «за искусство». Гоша умер от цирроза печени.

Я помню его картину: «Крона дерева. Вид снизу». Если Софья в коляске плачет, Юлька везет ее под дерево и говорит: «Дерево», Софья затихает, «Вид снизу», – шепчу я.

Я уже не завидую и не сочувствую евреям, когда они покидают страну. Зачем куда-то ехать, если любой монастырь – Израиль, любой храм – Иерусалим, мой Бог – еврей, и я – Его раб.

## БУМАЖНОЕ КИНО

1.

Стояла среди однокурсниц – никакая, вдруг подошла, присела на корточки, выдохнула:

– Как хорошо, что Вы пришли...

Ветра порыв. Где она? Лица не запомнил, голос...

Просят выступить. Я – киевская знаменитость. Улыбки тень, слегка потупив взор – общий комплимент, каждый воспринимает на свой счет, как гороскоп; теперь из Тютчева, вы помните: «Нам не дано предугадать...»; свой афоризм на злобу дня, присовокупляю Пушкина: «Пора, мой друг, пора...», тут важно не заслонить себя, еще комплимент, но подробнее: всем сестрам по серьгам. Все довольны, аплодирую, публика подхватывает, но это уже мне. Пусть выступает следующий, мне его жаль.

2. На банкете провозглашаю тост за талант педагога с большой буквы. Вспомнил: в голосе не было фальши, искренность – да, но было что-то еще. Что? А ректор-то – пидарь, но хохло-о-о-ол: «з вусами», животом-бурдюком и косичкой из седых волос – украинская идея в чистом виде.

3. – Шеф, притормози, мне хреново. Вот вам ваша горилка и ковбаса!.. Где мой носовой платок? Платочек-чек? Березы, русски-и-и-е бере-е-е-зы... Шеф, вези меня в Россию!..

4. Я – никто. Иногда появляются какие-то мысли и чувства, но они исчезают, едва прикасаюсь к бумаге. Я встаю на рассвете, пробую описать



туман над лугом, крик чайки, розовый залив... Но пейзаж без молитвы – ничто; преображение – тайна; и в моем «аллилуйя» всего восемь букв.

Варвара ждет меня на берегу.

«Как и все гении земли русской, Александр Николаевич еще при жизни предсказал свою гибель в бурных житейских водах, и дал скрупулезное описание памятника самому себе, который вы видите воочию и можете сравнить с дневниковой записью от 20 мая 2002 года: «Поставить на берегу Днепра бронзовое изваяние Варвары (черный терьер, сука), в ногах у нее, тоже из бронзы: трусы, майка, очки и шлепанцы «Reebok». Набор одежды свидетельствует об обнаженности писательской души Александра Николаевича, а фигура собаки – о верности идеалам высокого искусства».

На середине залива ложусь на спину и смотрю на небо. Небо огромно, облака неподвижны. Чайки пролетают надо мной и криком разрывают мою связь с Ангелами.

Гуляя вдоль залива,  
Шептать слова любви...  
Так просто быть счастливым.  
Где вы, чайки мои?

Пусть век давно отмерен,  
А слава – на крови,  
Мне все дано по вере.  
Где ж вы, чайки мои?

Допеть бы до рассвета,  
А там – руби-коли.  
Ах, лето, лето, лето...  
Где ж вы, чайки мои?

Сорвала злая пуля  
Последнюю печать.  
Враги мои вздохнули.  
Что ж так чайки кричат?..

Домой, Варвара, сегодня я не утонул.

5. – Всем прощаешь? – спрашивает отец Пафнутий.

– Всем, отче, у них все равно на заднице волдыри выскочат.

Снимал отца Пафнутия для фильма, крупный план, не удержался:

– Ты, отче, ну точно – деревенский попик.

А он взял за локоток и говорит:

– Спасибо, я ведь и есть деревенский.

А я чуть что – по морде. Двух «генеральных» бил. Второй, после третьего удара, улетел в оркестр. Приятно, черт возьми; прости, Пафнутий.

6. – Але, Вадим, Столяров моя фамилия, здравствуйте.

– Чего тебе надо, разбойник?

– Не скажу. Людочка? А я думал – не даст. Я уже под вашим домом. Кофе хочется.

Люда – актриса, мне нужен ее голос. У Люды подозревают рак. Кто? Все. Ходит с трудом. Везу ее на студию. Десять ноль-ноль. Звукорежиссера и администратора нет. Не люблю здоровых, молодых и безответственных. Репетируем.

Что-то новое появилось в ее голосе. Если будет необходимость озвучивать Богородицу – уже после Голгофы – возьму Люду: ее голос. Лицо ее изуродовано шрамами. В молодости Люду изнасиловали, а лицо изрезали разбитой бутылкой. Я не верю, что она скоро умрет. Не умею верить, но при этом думаю, что это ее последняя запись.

7. Вспомнил! Это был голос Богородицы до рождения Христа. Да-да. И пишу я красной ручкой. Где-то читал, что красные чернила предпочитают шизофреники. Я тысячу раз унижал себя, но никогда не унижу Богом данный мне талант. И если я знаю, как звучит голос Богородицы, значит, я знаю.

Звонок. Педагог с большой буквы:

– Александр Николаевич, здравствуй.

– Спаси Господи, Николай Андреевич.

– Тут одна моя студентка просит у тебя, как у крупного мастера, помощи в создании кинематографического произведения.

Пидаря-ректора он тоже называл крупным мастером.

– Хорошо, пусть позвонит.

– Она рядом, даю трубочку...

– Александр Николаевич, это я, Надя Суханова, Вы меня помните?..

Этот голос существует! Я его не выдумал, он живой, голос Достоевской девочки.

8. – Читай.

– Милый, добрый, старый Дензор, мы покинем это время. На аллее лип осенних, слов последних, выдох-вдох, мы устроим представленья. Все равно всего не будет. Милый, добрый, старый Дензор, лунный мастер, трам-пам-пам.

Когда в комнату входит талант, с ним вместе входит Ангел и говорит: «Позвольте представить – талант». Но вокруг уже и так светло.

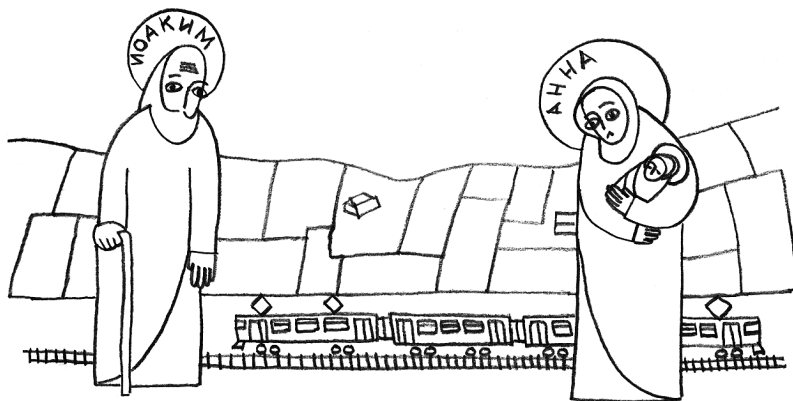
9. Наденька перед микрофоном, читает дневник Достоевской девочки, читает страстно – пусть, пусть выплеснет внешнее, останется душа.

«Нарисовала Ангела. Это мой Ангел-хранитель. Меня крестили тайком. Так, значит, и верить тайком?»

Вчера написала стих:

А на улице моей  
Голуби голубят выгуливали,  
Гули-гули,  
Кошки котят вылизывали,  
Мяу-мяу,  
Собаки виляли хвостами,  
А дети сажали деревья.  
Сердце мое радовалось-радовалось  
И разбилось.

Написала – и стало страшно.



Сегодня рождество Богородицы. Слева я нарисовала Иоакима, справа – Анну. Я не рожу Иоанна Предтечу, не рожу Богородицу, не рожу Христа. Я даже не беременна. Но я люблю и обязательно рожу: мальчика или девочку – все равно. Пусть обыкновенные мальчик или девочка, самые обыкновенные, но этот день для меня будет Чудом.

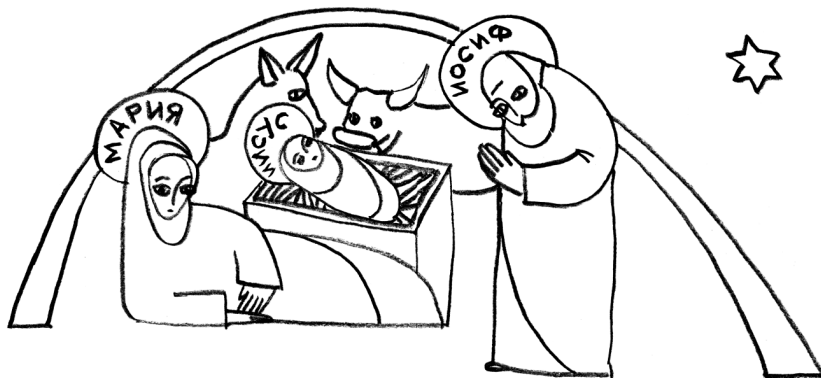
Я люблю. Он сильный, красивый и умный. Я сама первой призналась ему в любви. Мы поженимся.

Когда он ушел, я перестала есть и говорить. Я хотела умереть. А смерть не приходила. Не знаю, зачем я пришла в монастырь. Может, потому, что монахини казались мне неживыми. И там я исповедовалась. Батюшка



потом стоял на коленях и молился, и лицо его было черным. А через три дня я причастилась. Но боль оттого, что он меня бросил, еще долго не проходила, но это уже другая боль, второстепенная, что ли.

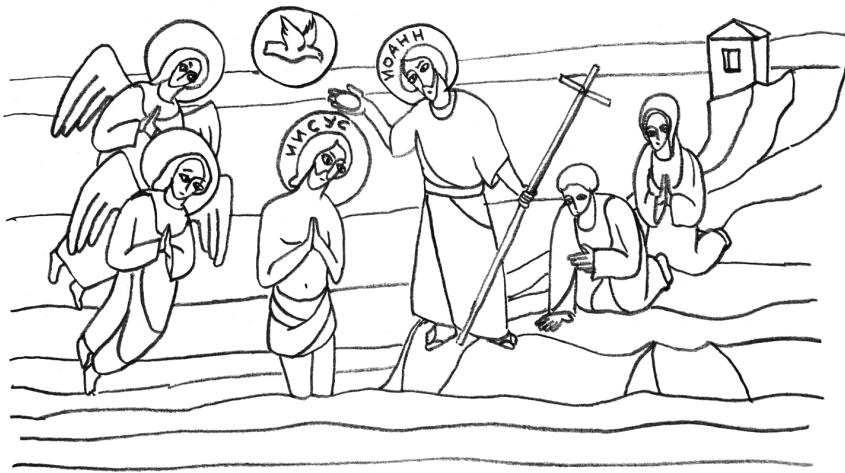
Сегодня шла по вагону и всем говорила: «Здравствуйте». Кто отвечал, кто – нет, а один обматерил, и мне было радостно, а за него – больно. Вот так и после исповеди: во мне Радость, а за других – больно.



Во мне нет любви к Богу. Есть отвращение к своему прошлому и настоящему, но если нет любви, на что мне надеяться?

Не мылась неделю. Хожу по вагону и спрашиваю: «Вы чувствуете, как от меня воняет? Это мои грехи воняют».

Если страдать и мучиться – откроется горний Иерусалим. Мы все едем в Иерусалим. Но я еще мало страдала и мучилась, много плачу, но это от гордости. Я еду в Иерусалим, а приезжаю в Киев. Когда-нибудь, вдруг, я поеду в Киев, а приеду в горний Иерусалим.

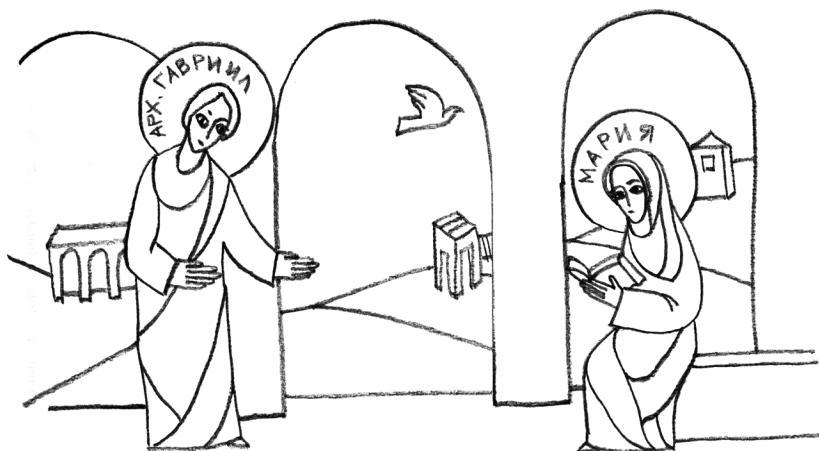


Куда бы я ни ехала, что бы ни делала, я знаю – есть всего два пути: Добро и Зло. Сложно не пойти со всеми. Остаться и ждать. Нужно быть терпеливой.

Прочла о том, что было три Рима. Первый Рим – Рим, второй – Константинополь, третий – Москва, а четвертому Риму не бывать.

А Иерусалим? Это город, куда все хотят. Так вот, первый Иерусалим был Иерусалим, второй – Америка, а третьим очень скоро будет Киев, и четвертому Иерусалиму на земле не бывать.





Дети-дети смотрят в окошко,  
 Там за окошком дождик идет,  
 Там папы и мамы стоят, как храмы,  
 Стоят, как храмы, и хором кричат:  
 Глупые дети, не сидите под крышей,  
 Не сидите под крышей,  
 Выходите под дождь  
 И вы будете произрастать в естественных природных условиях,  
 Как грибы и деревья.  
 Но дети не слышат.  
 Дождь шумит. Это на небе, – думают дети, –  
 Бог завел граммофон, и вот-вот грянет гром.  
 Ба-бах!





Сегодня за завтраком встала и прочла «Отче наш». Папа, мама и брат молчали и не поднимали глаз. А мне было стыдно за то, что я раньше стыдилась Бога.

Иногда меня переполняет такая большая радость, и я понимаю, что грехи мои такая мелочь. Я растворяюсь в радости и иду в церковь. Радость моя от рассвета, от неба, от деревьев и травы... от Бога, а от меня что? Одни грехи.

Когда я так думаю, радость проходит. Я каюсь, и после слез приходит любовь.

Душа очищается слезами. Если я плачу, мне потом легко. Даже вздох мой такой, будто внутри образовалась нежная пустота, она просит: «Заполни меня любовью». Глаза мои становятся ясными и замечают теплое дыхание вокруг. После слез всегда виднее любовь.



Теперь я знаю: если Бог не дает самой пострадать, Он дает чужие страдания, и ими болеешь как своими.

О смерти. Бог забирает людей, когда они выполняют свое предназначение. А еще, Он забирает у них тело, когда видит, что своего предназначения они уже не исполнят, и тогда их души опускаются в ад. Я не знаю своего предназначения. Я стараюсь любить ближних, но они всегда в движении. Можно разогнаться до огромных скоростей и потерять вес тела – это физика, но Ангелом не станешь.

Право говорить о любви надо заслужить. И на это уходит вся жизнь. И надо так помереть, чтобы поверили. Помереть от любви».



10. – Едем. Не спрашивай куда.

Светаает.

– Спаси Господи, отец Анастасий. (Это у него лицо было черным. Отец Анастасий в Великий пост слышит движение Земли среди звезд. Любой монастырь украсит отец Анастасий.)

– Это прилагательные стихи?

– А вот и Агафон. Отец Агафон ловил карасей для братии всей. Поймал одного всего. Я ему это на исповеди прочел – смеялся. А это – Пафнутий. Благослови нас, отче. Он пишет настоящие стихи.

Прохор – игумен, победитель тамплиеров. Юлька называет Китаево Прохоровкой. Юлька – моя жена. Мы венчались в Троицком, а в Серафима Саровского – крестили и причащали Софию. Ей уже три месяца, почти. Август, облака, звон колокола, стук часов, жужжание осы, София спит,



двадцать два года назад, лес, рвать орехи, запах листьев, незаконченный рассказ, реки, моря, лица, шепот, сумерки, брат, плач, похороны, письма, отец... Люда, здравствуй! Какое у тебя лицо... Красивое. Брат, остановись, поцелуй меня. Оленька, его не было на твоих похоронах. Гошка, это я. Михаил, я все помню. Прости меня, тетя Лида. Вадим, я написал о тебе рассказ. Здравствуй, бабушка, твои часы живы. Я всех вас... Пусть «упразднятся знания и прекратятся пророчества». Я стою с непокрытым лицом и вижу Бога.

За здравие:

Софии, Юлии, Лидии, Константина, Николая, Валентины, Людмилы, Татьяны, Ларисы, Екатерины, Ольги, Надежды, Сергея, Тамары, Пафнутия, Прохора, Анастасия, Агафона, Феодосия, Леонида, Розы, Светланы, Марины, Лады, Тарасия, Евгения, Алексея, Петра, Джона, Владимира, Галины, Олега, Виктора, Марии, Александра, Дины, Геннадия, Вячеслава, Ксении, Елены, Станислава, Дмитрия, Сибел, Виталия, Анатолия, Юдифи, Анастасии, Веры, Ивана, Александры, Ираиды, Мананы, Бориса, Юрия, Богдана, Анны, Анжелы, Любви, Антона, Максима, Эвы, Якова, Аркадия, Марджори, Ефима, Ирины, Аделаиды, Евгении, Иордана, Хари, Семена, Валерии, Елены, Глеба, Зинаиды, Михаила, Павла, Иштвана, Валентина, Лилии, Романа, Нины, Натальи, Дениса, Игоря, Томоко, Андрея, Овеза, Элины, Эммы, Роланда, Никиты, Марка, Вадима, Владислава, Казимира, Лендьела, Сафара, Наны, Альгиса, Василия, Андрея, Серафимы, Камиля, Мажены, Федора, Георгия, Иоланты, Яна, Маргариты, Херберта, Марты, Артема, Прасковьи, Мойши, Яны, Варвары, Нинели, Сержа, Онисифора, Саввы, Елизаветы, Моники, Эльвиры, Аллы, Йосики, Ярослава, Никласа, Риммы,

Досифеи, Аси, Святослава, Хенрики, Эдуарда, Зои, Тиграна, Ахмеда, Леси, Инны, Вероники, Милены, Остапа, Карена, Ильи, Алины, Даниила, Владлена, Виктории, Всеволода, Иоанны...

Многая лета!





# HOME VIDEO

Записки счастливого человека

1. Падает снег, так неспешно, что можно разглядеть каждую снежинку. Еще чуть медленнее – и все замрет. Розовощекий Пафнутий увяз в сугробе, подхватил рясу одной рукой, в другой – школьный портфельчик, улыбается.

– Александр, тебя мне Бог послал.

Ах, какой огромный снегопад заметает монастырь. Спустя полчаса все кончится и монахи высыпятся из келий, будут чистить дорогу, а после – трапезничать.

– Куда ехать, отче?

– В больницу – чадо мое причастить.

– Умирает?

– Да.

Пафнутий крестит путь, и я вслед...

– А ты зачем крестишь?

– Так ведь, чего попросят двое...

Отче снисходит и прощает. Милый, милый Пафнутий, какой чудесный был снегопад. Сонька тогда еще не родилась. Три месяца назад Пафнутий отслужил с нами молебен святым Иоакиму и Анне, и вот Юлька уже на втором месяце. Три года Бог не посылал нам своего вестника.

2. Во время крещения София обкакалась. Мы продали все и купили дом на окраине леса. Столетние дубы, сосны, липы и одна береза укрывают нас. Мы пережили зиму, ждали тепла, кормили птиц, слушали, как стучит по крыше дождь, я уезжал и возвращался, любил и люблю Юльку. Пришло лето. Я смотрю на свою дочь и жену: две девочки собирают землянику и не могут остановиться. Как много земляники в нашем лесу. Две женщины – портрет в пейзаже. Странно, что себя я уже не вижу, я отсутствую на своем семейном портрете, меня нет на фотографии группы профессиональных работников, в альбоме выпускников института, средней школы... Мужчи-на, юноша, мальчик... Это не я, но это мое, отпечатки моего я; как отпечатки пальцев представляют интерес для криминалиста, но мне они ни о чем не говорят. Там в лесу я играл в стихи, развлекал Юльку: «Над гробом моего я, нет, ты не расслышала: над гробом Маевога.

Прости, приятель Маевой,  
за то, что я еще живой.  
Весь этот мир один финал  
для нас двоих предполагал,  
а вышло вот как... Вспомнит кто  
блондина в кожаном пальто,  
в очках и шляпе?..

ну и так далее».

3. Свое прошлое я утопил в Индийском океане. Я тонул, меня несло прочь от берега, я яростно греб, задышался, захлебывался... На берегу стоял оператор, несколько минут назад я закончил беседу с ним фразой: «Слухи и сплетни – вот все, что известно о нас». И тогда я подумал о том, что моими последними словами будет эта фраза и поза. Я начал молиться – вернулись силы, дыхание стало ровным, появился расчет, уверенность, и вот уже уставший пловец выходит на берег, мне известно о нем почти все, я даже могу определить его как одну из своих проекций, но это не я. Я не испытываю к нему ни сочувствия, ни неприязни, ни любопытства; и в том, что он чуть не утонул в Индийском океане, для меня нет ничего, кроме океана. В океане растворилось мое я. Это был всего лишь океан, я предчувствовал большее.

4. Был в этом году еще один океан – Атлантический. Полная противоположность Индийскому. Моросил дождь, чайки сидели на берегу хвостом к серому мелководью. (Чтобы погрузиться в воду хотя бы по грудь, идти пришлось почти километр). Съемки закончены. Герои фильма грелись в итальянском ресторанчике на набережной. Давиль – курортный город. Удача сопутствовала картине. Этот дождь предполагался по сценарию, хотя три часа назад в Париже сияло солнце. Все во Франции совпадало с замыслом, случай здесь отсутствовал. В вечерних новостях показали обрушившиеся из-за дождя два особняка – сенсация дня. Вода размывала старый фундамент. Объяснение успокаивало. Цивилизация исключала «вдруг», она исключала Чудо.

5. Я обещал Юльке купить видеокамеру, чтобы снимать Соньку. Не купил. Софии уже год. Мы выходим во двор. Дождь кончился. Сонька тянет меня к луже под водосточной трубой. Шлепать босой ногой по воде для нее удовольствие. А теперь – вокруг дома. София требует открыть гараж, замирает перед огромностью темноты и осторожно входит внутрь. Гараж пуст. (Мы продали машину и рассчитались с долгами.) По земле ползет красно-черный жук. В детстве мы называли их пожарниками. Софья неуклюжими пальцами ловит его, прижимает кулачок к груди и походкой Чарли Чаплина (понятно, откуда она у Чаплина) спешит к поливочному крану. Открыть его Соньке не под силу и тогда она заталкивает жука внутрь. Странно, но мокрый жук жив и после этого.

6. Трех дочерей святой мученицы Софии убивали на ее глазах. Старшей сначала отрезали грудь. Об этом во всех апокрифах, это запомнилось. Три

девственницы от веры не отреклись. Мать отпустили, решили, что для нее достаточно. Должна была сойти с ума. Три дня лежала на могиле дочерей, молча. На третий день милостивый Бог взял ее к себе.

София не плачет, София молчит, но четки рукой теребит – этот стих я еще допишу, но сегодня я не слышу слов ее молитвы, прости, Господи, мою глухоту.

7. Адам прожил девятьсот тридцать лет. В Африке я видел полуторатысячелетний баобаб. Раньше в нем была тюрьма, теперь это местная достопримечательность. Полторы тысячи – почти вечность. Проживи я столько же – и меня превратили бы в экспонат. Тюрьмой для самого себя я стал бы сам. В детстве представлял, что каждая травинка – дерево, только маленькое, а сейчас понимаю, что каждое дерево – травинка. В Карпатах рубят деревья, склоны гор в пнях, как в бородавках, оползни срываются вниз и хоронят людей заживо. Я помню двух детей – брата и сестру: когда их откопали, они лежали обнявшись. Современное дерево редко доживает до ста пятидесяти, а еще век назад жило до трехсот лет. Я смотрю на Юлию и Соню, они стоят под деревьями. Какие они маленькие – мои девочки, какие огромные деревья. Обычно я не замечаю этого, живой ли я тогда? Стоит обнажить корни или содрать кору со ствола – и возникает чувство стыда. Нагота болезненна. Юлька посадила под деревьями аленькие цветочки, много, хватит на всех чудищ лесных. «Это для тебя», – говорит Юлька. Если бы я жил полторы тысячи лет... Не знаю. Может быть, я бы научился искренне славить Бога, любить без ревности и верить без сомнения.

8. Погиб Гамлет. Растерзали собаки. Мы нашли его в лесу, недалеко от дома. Гамлет был кротким котом, он и мертвый лежал на боку, будто спал. Когда я закапывал его – перевернул тельце и обнаружил звериный оскал. Я плохо знал своего кота.

9. «Смотри!» – кричит Юлька. Я оборачиваюсь. Вот Юлька с полевыми цветами в руках, Софья посреди луга, Варвара с лаем носится по траве кругами. Идет теплый слепой дождь. «Радуга!» – кричит Юлька. Я поднимаю глаза. Над лесом, над дорогой, над нашим домом в полнеба Радуга. «А вторую видишь?» Над первой радугой вырастает вторая, еще больше, во все небо. Она тянется к облакам и исчезает в них. «Счастье», – шепчу я. Юлька смеется. Должно быть, у меня глупое выражение лица – счастливое.

10. Петров пост. Душа, а точнее, оболочка между телом и душой истончилась. Хочется плакать от умиления или тихо смеяться. Были в магазине, покупали четыре сосиски для ребенка. Продавщица, жалея бедную семью, старательно выбирала «получше, и чтоб недорого». Потом мы стали заказывать всякую всячину, и я видел, как тает ее сочувствие. В пост видишь много больше: все переливы чужих чувств. Софья благоволит ко мне и называет мамой. Пишу то ручкой, то карандашом. Сонька отбирает у меня то одно, то другое, а то и все сразу, вместе с тетрадью. Если я умру – а умру я обязательно – она прочтет и, возможно, улыбнется. Улыбнись, Соня. И с чего мне умирать. Я здоров, люблю и любим. Но какая-то неясная забота на сердце. Может оттого, что все ненадолго? Думать о завтра больше, чем о сегодня – значит потерять сию минуту, мгновение. Это истина. Соня, я папа, а не мама. Хорошо, мама так мама... Сегодня у тебя две мамы.

11. Молюсь, чтобы Бог ниспослал мне талант, но Он не слышит мою худую молитву. Штукатурил, упал со второго этажа на бетон, расшиб пятки, ползаю по дому, смотрю на все снизу вверх, пытаюсь писать:

Я смирен,  
Не прими за метафору, брат.  
Этот плен, сладкий плен,  
Я в нем сам виноват.  
Я рыдаю взахлеб и смеюсь,  
Я наверно сегодня напьюсь.

Светает. Петух кукарекает. Далеко. А вот птица запела в лесу, вторая зачирикала, синица влетела во двор. Господи, за что мне эта радость? Сажу на ступенях веранды, да я ли это? На моем месте должен быть седой старец, он приехал из монастыря навестить родных в последний раз... А тут я – «писатель».

И только любовь непокорна,  
всего лишена, всем довольна,  
прозвали безумной  
строители башни,  
вчерашние юноши  
новую пашню  
засеяли золотом,  
буйные всходы:  
и ропот, и топот, и бунт...  
Любовь  
прибывает,

и прошлое зло  
забыто,  
затоплено,  
слово не то,  
не найдено слово...  
Любовь  
пребыла, пребывает, пребудет.  
Ничтожен мой стих, чем смиренней строка,  
тем...  
Рукой не коснуться.  
Сна нет, есть Она,  
живое: Она, Он, Они, я и ты.  
Не сочти упражнением в грамматике  
попытку наметить созвучие мира.  
В молчанье моем много больше,  
мое откровение робко:  
лень преодолел  
и готов всю тетрадь исписать  
одним только словом:  
Любовь.

12. Брось любое слово в огонь жизни – в нем будет Бог, сокрой любое слово от уст своих – в нем будет Бог. Огромен бесконечно; пустота – наше мнение о Нем, глупость – наши мысли о Нем, нелепы чувства. Нет Бога в нас, мы в Боге. Заткнитесь, наконец, все, и, может быть, в едином молчании мы услышим Его, чтобы заткнуться уже навсегда. Замрите все!!! Нет, невозможно. А значит так и будет, значит наплевать, пошлость и мерзость, и ничего более, тьфу.

13. Анатолий Дмитриевич Сырых, режиссер-документалист на премьере своего фильма крепко выпил. Народу полон зал. Аплодисменты. Толя нетвердой походкой идет по сцене, упирается в микрофон, долго чешет затылок и неожиданно озвучивает итог своего внутреннего диалога,

– Эта картина... н-да... гениальна.

Анатолий Дмитриевич замечает публику, машет на зал безнадежно рукой и идет в сторону ресторана.

Утром я проснулся на веранде, не оттого, что пил, – просто спать негде: гостей полон дом. Проснулся с чувством, что я тоже гений. В народе меня знают:

Я веселый паренек,  
Не дружу со скукою,  
То присяду на пенек,  
То хожу и пукаю.



То, что это часть биографии автора, уже никому не объяснишь: после операции у меня было недержание газов. Так что, с болью сочинилось.

Вчера я решил похерить свой эгоцентризм и написать о Франце. Он живет у меня пятый месяц. По утрам ездит в Киев, контролирует строительство интерьера какого-то замминистра, шляется по магазинам, имеющим хоть какое-то отношение к архитектуре, и я знаю точно (он однажды взял меня с собой), что в элитных салонах мебели, сантехники и пр. он требует себе кофе и каталог, долго перелистывает, справляется о ценах, просит сделать ксерокс «именно того, что ему нужно» и идет пить кофе в следующий салон. (В тот, наш совместный поход, нам в кофе отказали). Мы с Юлькой заподозрили Франца в страсти коллекционера. Первое время показалось, что он собирает полиэтиленовые кульки, вся его комната была завалена ими, попадались антикварные, но после... Вот и сейчас Франц внезапно возник, сел рядом на лавку и молча глядит на меня. А я пишу про него. Нет, уже не пишется. Брошаю через строку:

– Хочешь кофе?

Не буду о нем писать, обойдется. И вообще все, про кого я уже упомянул в своей прозе, со мной больше не разговаривают. Возможно, стоит о них продолжить, о тех, которые... Приготовлю-ка я кофе. Юлька подсчитала, что с февраля месяца мы были одни три дня. Три дня за полгода. Не много. Первой привезли глухую Юлькину бабушку. Вскоре глухих в доме стало вдвое больше. Еще кот Гофман, Юлька подобрала его полудохлым котенком на улице. Ветеринар нашпиговал его уколами, кот выжил, но оглох, голову держит лукаво набок и напоминает мне Агафона, про которого я как-то стих написал:

Отец Федосей  
ловил карасей  
для братии всей.  
Поймал одного  
Всего.

Написал-то я про Федосея, но переправил на Агафона, чтобы сделать ему приятное. Из монастыря Агафона выгнали, но об этом как-нибудь после. Франц все еще сидит напротив меня. Я его понимаю – ему тоже некуда. Я пишу во дворе. Из каждого окна нашего дома нам улыбаются родственники, друзья, знакомые и мои коллеги. Юлька и Соня спят в детской с их детьми и внуками. Ночью вдруг Юлька будит меня, прижимает палец к губам и увлекает из дома. Во дворе включает фонарь и направляет луч на зеленый куст в горшке.

- Видишь! – гордо объявляет она.
- Что? – недоумеваю я.
- Мирабилис расцвел!

14. Чем я лучше? Я хуже. Посеял траву. Первые ростки появятся через неделю, газон зазеленеет через месяц, но я, как только освобождаюсь, бегу смотреть: не проросла ли? А газон-то выйдет чахлый. Семян было мало, вот я и развеял их по ветру. Все у меня так. Нет, чтобы выделить небольшой участок, густо засеять и гордиться. Ан-нет, мне простор подавай. У всех что-то получается. Франц защелку в туалете привинтил – любодорого посмотреть. Юлькина бабушка связала красивую шаль, Юлькина тетка варит вкусные борщи, а ее сын – дока в компьютере, а невестка шьет, а внуки рисуют, а я...

Я не состоялся как поэт, художник, архитектор, прозаик, драматург, режиссер. (Именно в такой последовательности.) Бог не дал. Аллилуйя. А также я не состоялся как товарищ, друг, любовник, муж, отец, учитель и т. д. Вопрос: кем стать? для меня актуален до сих пор. Но что-то подсказывает мне, что свою аморфность я потеряю, только приобретя форму покойника. В юности меня угнетала двойственность, с возрастом я определил это как недостаток внутреннего зрения: я не только раздваиваюсь или растраиваюсь: «несть числа моим болванам» и все они проживают отдельную таинственную жизнь. Да что – жизнь, я иногда устраиваю им торжественные похороны, а проходят годы (куда там Лазарю) и они вдруг восстают из гробов. И их воскресение я принимаю на свой счет. Возможно, это ошибка, всякий раз ведущая к тщеславному отказу от свободы во имя определенности, и тому подтверждение – время: личное, местное, московское, по Гринвичу, новое и старое, будущее, настоящее, прошлое, разбрасывать и собирать... я ошибаюсь, пытаюсь время разделить и определить. В моем доме оно явно заторможено, порой стоит, порой делает скачок: вот и день прошел, год, жизнь. Я знаю, что живая жизнь от меня не зависит. Живой ли я, прикованный ветром к шелесту листвы, солнцем к рассвету, дождем к луже, облаками к небу, небом к пейзажу? Не мыслю – точно. Не переживаю человеческих чувств, не ощущаю своей плоти. Додумать и убить мысль? Нет. Пусть все так и будет. Не только без ответа, но и без вопроса, с ветром, дождем, солнцем, снегопадом и птичьим гомоном.

15. Моя жена ждет ребенка. Еще незаметно, но назвать ее Юлькой я уже не могу. Она уверена, что будет мальчик, бродит среди гостей и родственников, что-то говорит невпопад, кажется, даже Соня для нее теперь не так важна, как та тайна, поселившаяся у нее под сердцем.

Беременную видеть к счастью:  
В нее вселенный дух...  
Таинства живота под властью,  
Вся обратилась в слух.

Вчера вечером на кухне забыли закрыть окно и выключить свет. Среди ночи она вошла, сотни мотыльков вспорхнули с белых стен. Моя жена стояла обнаженная, замороженная и вокруг нее порхали бабочки. Она тихо засмеялась, попыталась закрыться руками и вдруг разрыдалась.

16. Приснился сон. Зима, я стою на берегу моря. К воде по прибрежному льду идет человек.

– Брат, – шепчу я и бегу следом, лед трещит и ухает под ногами. Я догоняю брата. Он плачет.

– Ну что ты, – говорю я. – Это пройдет, пойдем, родной мой, домой.

Мы выходим на берег, обнявшись, и оба плачем, я шепчу ему ласковые слова, как ребенку, на душе светло и радостно.

Проснулся в слезах. Уже восемь лет, как он покончил с собой. Но откуда это чувство его спасения?

17. Среди дня позвонил Пафнутий:

– С праздником, Александр.

Успение. Тихий день, мягкий. Пафнутий молится за нас. А я? Прав мой отец: «Понавешал иконок». Пустота во мне. «Зло есть отсутствие добра: пустота». Нет своих мыслей и чувств: все, все не мое, порой близкое, очень близкое, но не мое, не до конца мое. В радости моей таятся злоба, в печали – мстительное торжество. Да кто же я? Башмак дырявый. Напишу-ка я сказку про башмак, неделю собираюсь. Так вот, жил-был башмак и был уверен, что никто не замечает дырки в нем. Башмак заблуждался. Все стояли на голове и первое, что бросалось в глаза при встрече с башмаком – это дыра, с розовым мизинцем. Соня присаживается возле моей ноги и трогает его пальчиком.

– Дыра, – говорю я. (Прочел, что детям все нужно комментировать.) Сонька переходит ко второй ноге и тоже обнаруживает дырку. Не получается сказка. Ну и ладно.

18. Отчего пишутся стихи? Может быть, от одиночества? Вся литература – это попытка наладить диалог с Богом. Услышать: «Где брат твой, Каин?», и будь что будет. Каин слышал Бога!

19. Вот о Лосеве я бы не написал никогда. Звоню завкафедрой, знаете, говорю: я пригласил к себе во вторые педагоги Лосева.

– Сергея Дмитриевича? – переспрашивает.

– Ну да, его, – чувствую что-то не то сказал.

– Ну, старик, у нас, понимаешь, не принято брать в подчиненные людей умнее себя.

И в самом деле, насколько Лосев умнее меня? Навсегда. Лосев умирает от рака в Мюнхене. Когда меня спрашивали о его кино (мало кто видел его картины), я объяснял: «Можно снимать плотское кино, можно – душевное (как я), а можно, как Лосев: с первых кадров он поднимает тебя в область духа и ты паришь». Сейчас уже не спрашивают. Некому спросить. Однажды я позвонил ему на рассвете.

– Приезжай, – говорит.

Была весна. Цвели вишни или яблони, не помню. Мы нашли кафе под открытым небом. Воскресное утро, нас заметало белыми лепестками, мы говорили о культуре, два человека, усыпанные конфетти, Киев просыпался, ночная боль моя прошла, я вдруг почувствовал себя свободным, я воспарил... это были его крылья, а мне казалось – мои. Совсем недавно отслужили с Пафнутием молебен во здравие раба Сергия, во дворе монастыря, у могилы преподобного Феофила и было так же хорошо, как тогда, пять лет назад. «Ми-и-ир все-е-ем», – пел отец, и я подхватывал: «...и духови Твоему... аминь».

20. Я о Лосеве вот еще почему вспомнил. Это из детства. По вечерам собирались в подъезде, где потемнее, и рассказывали страшные истории. Был один, имени не помню, ничего не помню, кроме того, что он во все свои истории включал нас как персонажей. О чем он говорил, мне было не важно, я жадно ждал, что вот сейчас в битву с бандитом вступит новый герой и звать его будут Сашка. Теперь я вырос, но в книгах своих друзей ищу и не нахожу напоминания о себе. Это гордыня, знаю, но я надеюсь, что Лосев обрадуется, если прочтет о себе... И вот еще. Об одиночестве. Во всех хартиях и декларациях я бы вписал право человека на одиночество. Читал, что в тюрьмах и лагерях тяжелее всего физическая невозможность одиночества. Есть простой способ примирения: напиться. Я выпиваю вина. И ковчег мой мне мил, пусть живут в нем бесконечные гости и родственники. Наш с Юлькой дом – наш крест, несем, как можем. Отвратительно мое недовольство. Ночью читал Деяния, какая же пустейшая у меня жизнь. А потом был сон: собираю ягоды – вишня, красная смородина и крыжовник, все на одном дереве. Сажу на ветке, рву крыжовник и вдруг голос:

«Выбирай спелые ягоды, ибо они от Бога. Не торопи недозревшие ягоды, ибо созреют они вовремя». Утром рассказываю Юльке, к чему бы этот сон? «Надо посадить пару кустов крыжовника», – говорит Юлька. И в самом деле, посадим крыжовник. У вишни, говорят, корни вширь идут... И ее посадим – у гаража. Знаю, что садовод из меня никакой, но в земле пошлости нет. Отчего вокруг меня столько пошлости? Неужто, оттого, что сам такой. (Забыл знак вопросительный поставить, и он тут же превратился в противоположный.) Все кажется, не живу, а терплю, таких встреч и разговоров, как с Лосевым, у меня на пальцах перечесть за всю жизнь, а я жду, жду, что вот прорвется этот замкнутый круг и заговорю открыто о любви, о Боге, о своих сомнениях и в ответ услышу не пошлость, а мысль и искреннее чувство. Буду радостно прислушиваться к каждому оттенку чужого слова, но, Господи, пусть это будет слово, а не пошлость, слово с болью, со страданием, с любовью и с той огромностью чувств разных, противоречивых, глубоких и тонких, горьких и нежных, страстных и спокойных. А ведь невелика палитра. В индийской поэтике всего десять чувств, как десять пальцев. А боли души – нет, а она болит и не от жалости к себе, она знает и чувствует больше, чем я способен выразить, и болит и страдает от мелочности моей перед Вечностью. Моей душе меня жаль. Я ведь свою душу чужой считаю, нет в нас единения, сам виноват: предавал, торговал, скрывал – далеко не полный список моих грехов. Ну ничего, зато надежда осталась, что мы с ней еще заживем и дышать будем одним глубоким и ровным дыханием, а пока мое прерывисто и суетливо, ну ничего, ничего... терпение. Начну с уважения к ней, а значит и к другим, и требовать буду от других уважения к своей душе. Столько лет прожил, а характер несостоявшийся. Один император крестился перед самой смертью, я крещен бабушкой Екатериной в двухлетнем возрасте. Царствия ей Небесного. У меня, в отличие от императора, есть время привести себя в соответствие с Даром благодати. У меня есть время. А если сейчас, вдруг... если времени нет? Вот тут и возникает в душе страх в чистом виде. О, это много больше, чем обычный страх, тут и восхищение и даже радость от того, что вдруг почувствовал его. Будто гром прогремел, больше чем гром. Свят-Свят-Свят, Господь Саваоф.

21. Телефон и интернет – вся моя связь с внешним миром. В юности я мечтал о зеленой лампе, рукописи на столе, усталости на рассвете. Получилось. О доме я и не мечтал. Постоянной работы у меня нет, живу затворником, всякий позавидует, но как я радуюсь письмам и телефонным звонкам! Евтушенко позвонил, жена уехала в Ростов, вот он и пьет

с Жуковым. Жуков едет на гастроли в Израиль, Лешка квартиру покупает... а ведь звонят от скуки. Иное – Головецкий. «Саня, я стал завидовать мертвым, умиротворению на их лицах». Ростовцев сошел с ума, все у него несвязно: то он возглавляет предвыборную кампанию в Мурманске, то едет брать интервью у Бен-Ладена, то покупает дом с бассейном в Абхазии и закладывает часы в ломбард. Вдруг – Голынкин: «Ты почему еще не в Москве?» А у меня тут листья падают, желуди осыпаются, подобрали с Юлькой трех котят: кто-то выбросил в лесу. Одна кошка – Настасья Филипповна, и два кота – Паганель и пока что безымянный, бежали за нами по лесу и кричали, как сироты в детдоме. Рассказал о них Пафнутию (он просил денег, едет в Румынию), ничего не ответил отче, да и что тут скажешь? Коты. Глухой Гофман объявил им войну. Иногда стоит такой ор! Но по утрам они спят. Я выключаю лампу, и так светло, сижу за столом и пишу о котях.

22. Юлька моет ванну. Соня повисла на краю и терпеливо ждет. Так же безропотно она дает себя раздеть и опустить в воду. Мы ей больше не нужны. Это ее мир. Я не понимаю, что она делает с игрушками в ванной: кукла, пластиковое ведерко, монета, грузовик... все это находит у нее применение. Может быть, она испытывает воду? Не похоже. Она берет губку и пьет, выжимая ее. Так поили Христа уксусом. Возможно, так пьют все дети.

– Соня, – говорю я, – давай поплаваем.

Я опускаю ее в воду на спину, поддерживая снизу рукой. Сонька светло улыбается. Эта улыбка предназначена не мне. Вперед, назад, она проплывает мимо игрушек умиротворенно. О чем она думает?

– Ну все, выходим, – я поднимаю ее, Сонька кричит, дрыгает ногами, но в Юлькиных объятиях, укутанная в полотенце, затихает.

23. Что я знаю о Юльке? Ей нравилось в дождь ездить в трамвае по Львову, но это в прошлом. Она любит кино, работала в цирке, была замужем за рок-музыкантом (опять прошлое). Она написала рассказ о траве и весеннем ливне, вылепила ангела из пластилина, нарисовала портрет племянницы. У нее все получается легко, без творческих мук... Нет, что бы я ни написал, все не то. Я не знаю своей жены. Скоро пять лет как мы вместе. Хлопоты по дому, Соня, новая беременность, собаки, коты и я. Юльке не на кого надеяться. Может быть, лет через пять я приглашу ее в кино, а после мы сядем в трамвай, пойдет дождь, Юлька будет смотреть в окно, а я – на нее.

24. Я жил на ветру, вдруг все переменялось. У меня появился дом, семья. Надолго ли? Звонил Тарасу. Люся водила его на рынок, купила ему штаны. Теперь у Тараса двое штанов. Восемь лет назад мы пьянствовали на даче его родителей. Ночью не спалось, пороли анекдоты.

– А я женюсь, – вдруг говорит Тарас.

– На ком? – спрашивает Джунь.

– На Люде.

– Подари ей сигареты «Кэмэл», – говорит Джунь и хихикает.

– Зачем? – недоумевает Тарас.

– Скажешь: привет, Люда, от верблюда, – уже хохочет Джунь, и я хохочу, и юный Петенька, мы захлебываемся глупым детским смехом.

– Она не курит, – серьезно говорит Тарас.

И нас уже не остановить, Петр икает, Джунь плачет, не выдерживает и Тарас. Утирая слезы, мы выходим в сад, где у тлеющего костра ежится в одеяле Верховинец.

– Осень, – говорит Женька. Мы оглядываемся. Светает. Падают листья.

25. – А что вы хотите, в это время года в Йоханнесбурге всегда дожди.

Пилот глядит на нас пьяными глазами. Он нас презирает и, если бы мы не платили ему за простой... Дорого нам обходится наше невежество. Утром бегу по пригороду, мокрое шоссе, пустующие коттеджи, неделю одно и то же. Живем в полупустой гостинице, номер-мывальница: металл и пластик. Днем накатывают негритянские парочки, страстные вздохи сквозь тонкие стены. Читаю Ветхий завет. Вечером пьем в кабаке напротив. Осень в Йоханнесбурге – название романа. Он – стареющий кинорежиссер, она – юная журналистка. Нежные письма. (Интернет или мобильный телефон.) Он заболевает малярией, дикие племена, носороги, слоны, львы, страусы... Нет, это невозможно, нужно что-то снимать. И это «что-то» губит меня, мое кино, превращает жизнь в обязанность, хочется домой.

26. Этот общий план был бы банален, если бы не бегущий по склону человек. Вот он споткнулся, упал и опять побежал. Куда он спешит? Ведь кино уже кончилось. Говорят, это автор сценария, и сейчас у него остановится сердце. Ну вот, видите, остановилось.

27. Михаил Ямпольский читает лекцию. Тема – перспектива звука в кино. Читает вдохновенно и, если ничего не знать о перспективе как таковой, то удержаться от восхищения его красноречием невозможно. После первой полпары я дожидаюсь, когда все покинут аудиторию, и подхожу к нему.

– Что у вас? – утомленно спрашивает мастер.

– Вот, – я протягиваю ему исчерченный мной лист, – это законы перспективы.

Михаил сообразителен. С лету схватывает понятия точки схода, линии горизонта... А еще есть обратная перспектива. Но перерыв кончился.

– Спасибо, – говорит он, аккуратно складывает чертеж и кладет в карман.

Следующий час он читает другую тему.

Несколько лет спустя я тоже читал лекции об истории русского театра, но много позже понял, что ничего в ней не соображал. Но как вдохновенно я читал!

28. В дубовой роще вдруг зашумел ветер. Посыпались желуди. Я поднимаю желудь с земли и даю Соне.

– Сыса, – говорит Соня.

– Желудь, – поправляю я. Мне был непонятен лес. Иное дело: море, река, пустыня, степь. А тут вдруг почувствовал его хрупкость, незащищенность. Любое дерево можно срубить, а пока пусть растет. И в этом «пусть пока» – небрежность распределения жизни и смерти.

– Сыса! – торжествует Соня и протягивает мне огромную шишку.

– Правильно, шишка, – соглашаюсь я, – мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, песенки поет...

Тропинка выводит нас к шоссе. Ветер. Несутся автомобили. Соня заворожено идет к дороге.

– Соня, – кричу я. Она не слышит. Я успеваю подхватить ее на руки и несу прочь. В лесу между сосен янтарное солнце, поют птицы, дятел стучит.

– Радуйся, Радосте Наша, покрый нас от всякия зла святым своим омофором, – пою я в ритме вальса. Я кружусь с дочерью на руках, она запрокидывает голову и смеется.

28. Купил бумажную ленту и заварил крахмал. Я заклеиваю окна, как в детстве. В комнатах, в доме становится теплее. Хорошо бы снег пошел и чтобы ветер пронизывающий. А у нас тепло. Приехал бы кто-нибудь, выпили бы водки, заснули после обеда, к вечеру бы снегу намело, тишина, а мы чай пьем с прихлебом.

На мобильнике сообщение: «Умер Сенкевич, умер достойно: на съемках. Мир ему». Я не был знаком с Сенкевичем, отправитель – тоже. Понимаю, что он разослал это сообщение по всем адресам своего телефона,



вот и мне попало. Как-то неловко от чужого пафоса, так и звучит в этом сообщении: «На его месте должен быть я». Удерживаюсь и не посылаю в ответ: «Лучше бы умер ты». Хотя, это было бы логическим продолжением послания отправителя. Однажды он меня предал и даже не понял этого. Нет, что-то почувствовал, вызванивал, расспрашивал, но не понял. Предать умею и я, бывает – невольно, потом на душе тошно. Но и это проходит.

«...Александр Николаевич часто является на лекции в пьяном виде, обзывает меня пидарасом, ругается матом и пристает с неприличными предложениями». И подпись. Завкафедрой откладывает бумагу и обводит всех взглядом. Педагоги оборачиваются на меня.

– Хорошо, что не аноним, – глупо улыбаюсь я.

– Это все, что вы можете сказать? – спрашивает завкафедрой. Я развожу руками. Мне кажется, что все сейчас должны рассмеяться, я глядываюсь в лица коллег, а они уперлись глазами в пол.

– Этому студенту я запретил появляться на моих занятиях без справки от психиатра, потому что на репетиции он укусил партнера, – я оправдываюсь, и чувствую, что смешон. И вдруг встает Лосев. Я никогда не видел его таким бледным, у него трясутся губы.

– Позвольте мне объяснить уважаемому собранию... – говорит Сергей Дмитриевич. Я помню, он также встал, когда на студии пытались раздолбать мою картину. Вот и теперь, я выдыхаю. Все будет хорошо.

Мы выходим на улицу. И вдруг, опять вдруг, навстречу – студент, тот самый.

– Здравствуйте, Александр Николаевич, – и руку протягивает.

– Здравствуйте, – говорю я и жму его руку, жму машинально, замечаю внимательный взгляд Сергея Дмитриевича и краснею.

– Пойдем-ка, водочки выпьем, – говорит Лосев, берет меня под локоть и ведет прочь.

– Ты ошибок не делаешь, малыш, – говорит Сергей Дмитриевич и чокается с моей водкой своим соком.

29. Пишу. Пишу вдохновенно, пишу от скуки, в надежде, что мне что-то откроется, принуждая и сдерживая себя, откровенно и скрытно, чтобы не сойти с ума и чтобы развлечь близких. Пишу без плана и верю, что из этого получится Книга. Книга, похожая на кино. Но в ней не будет драматургии. В ней все как в домашнем видео, интересно только для самых близких.

30. Я знал одного композитора. Его звали Владимир Ищук. Он не записывал своих сочинений. Умер.

Я знал одного художника. Его звали Ганкевич Ярослав. Он сошел с ума и раздарил свои работы прохожим на улице.

Я знал одного поэта. Его звали Александр Богачев. Написал веночек со-сетов и сжег. Ушел в монастырь.

Смерть, ума лишение, монастырь и отсутствие трудов искушают меня утверждать, что я был знаком с гениями. Меня невозможно опровергнуть. Тут какая-то большая мысль, и я немог ее додумать, пугает ее холод и ясность. Во всем этом нет прошлого, незаписанная музыка, потерянные полотна, уничтоженные стихи, точнее, состояние от услышанного и увиденного тогда пронизывает меня сейчас. О гениальных произведениях не получается в прошедшем времени. Здесь мне дарован не результат, я не способен сделать вывод, но я свидетельствую: я был Там. С гениями – это чистый, лабораторный опыт. А с остальными?

Сонька вдруг закричала. Три часа ночи. Иду к ним.

– Что случилось? – шепчу в темноту детской. Тишина. Спят. Сонька кричала во сне... или сквозь сон? И если труд гения проходит сквозь все, то что же тогда все? Гении, сумасшедшие и мертвые (по возрастающей) знают об этом много больше. И еще – умирающие. Приближающееся знание страшно, потому что бесконечно. Понять его невозможно, но почувствовать... Однажды Лосев рассказал мне об умнейшем бультерьере, который вдруг заинтересовался тараканом. Таракан спрятался в щель между паркетин. Бультерьер всю ночь сидел и ждал, утром отказался от прогулки. Вечером хозяйка вернулась с работы, весь паркет в квартире разобран, она отругала любимца, а пес бросился на нее и откусил часть груди. Пес сошел с ума. Его застрелил участковый милиционер. А был, со слов хозяйки, гениален.

31. Сегодня утром я понял, что за дом я построил, почему я оштукатурил его, понаставил допотопных электрических выключателей и вообще почему все в нашем доме так старомодно. «С усмешкой горькою обманутого сына над промотавшимся отцом». Да, я строил дом, который мог бы мне достаться в наследство от отца. Он никогда не придет сюда, мой отец.

Один из моих прадедов был настоятелем собора в Пензе. Два деда: один – красный комиссар и журналист, второй – кулак и нэпман. При случае, первый мог посадить второго. Это могла бы быть повесть о том, как Степан Поликарпович Улыбин посадил Григория Степановича Столярова.

Мой дед не воевал,  
Мой дед канал копал.  
И, с некоторых пор,  
Курю я «Беломор»...

«Беломор» курил мой отец, и это могли быть его стихи об отце. «Отец не воевал, отец...» Тестя посадили в тридцать седьмом. А в пятьдесят третьем, сразу после смерти Сталина, отца направляет комсомол на службу в органы государственной безопасности. Отец скрывал то, что он сын врага народа, всю жизнь скрывал. Вдруг подумалось: «Всего-то». Удивительное было общество, оно регламентировало, что скрывать. Личная жизнь отца была нараспашку. В начале шестидесятых ему, старшему оперуполномоченному особого отдела органов государственной безопасности, приказывают в двадцать четыре часа покинуть территорию Демократической Республики Германия. Повод – аморальное поведение супруги. Отца переводят по службе в провинциальный городок Броды с понижением в должности. А ему-то всего двадцать шесть. Ух, какая оплеуха. Сдюжил. Мать, в конце концов, сбежала, оставив ему меня. Перетерпел, женился вновь, родил и похоронил сына, верил в коммунистические идеалы, предпочитал коньяк, вышел в отставку за выслугой лет и занялся живописью. Вот и все житие моего отца, твоего деда, Софья.

32. Юлька рассказала о своем отце, моем тесте. Его в детстве отдали учиться рисованию в изостудию. В первый день Володенька принес карандашный натюрморт, на нем: бутылка и пустой стакан, потом – тот же натюрморт, но стакан наполовину наполнен или бутылка наполовину пуста. Юлька уже не помнит, бабушка рассказывала, что менялся уровень жидкости в стакане и в бутылке, но набор предметов для натюрморта был неизменным.

Володенька иногда звонит, когда выпьет, или он пьян всегда?

Какая, брат, премерзкая погода,  
Иду домой и сочиняю стих.  
Но ждут у гастронома два урода  
И мы соображаем на троих.

Как все меняется! Куда спешишь, прохожий?  
Дай закурить. Ты брат мне иль не брат?  
Опять приду домой с набитой рожей.  
Я знаю, в этом Пушкин виноват.

Мой тесть мог бы написать эти стихи.

33. Бог узнаваем во всем и непознаваем ни в чем. Всякое знание приближает, но не к Богу. Это сравни дежавю. Опыт здесь ни при чем. Это было, но...

Мы жили в раю, я знаю.  
Оттуда наш свет.  
В изгнании, дорогая,  
Родился поэт.  
Все то же: зрелищ и хлеба  
И блудная страсть.  
Родная моя, на небо  
Мне уже не попасть.  
О Господи, я задыхаюсь,  
Вдохни в меня силу свою.  
Я каюсь, надеюсь, что каюсь...  
Ты помнишь, мы жили в раю.

Это зарифмованный архиепископ Родзянко. Так я понял его книгу. Стихи вставил в фильм. На обсуждении после премьеры слово взял иерей (декан богословского факультета) и попросил купировать эту ересь.

34. Сонька ударила меня рукой, сделала два шага, споткнулась и упала.  
– Это тебя Бог наказал, – сказал я. Соня задумалась.  
– И так будет всегда, – продолжаю я, – сделаешь каку – Бог накажет.  
– Бох наказэт, – повторяет Сонька, – Бох наказэт, Бох наказэт...  
Так я из Бога сделал Бабая.

Я знал людей, которые знали, что хочет Партия. Потом появились люди, которые знали, что хочет Народ, на смену им приходят другие: они знают, что хочет Бог. «Сделаешь каку – Бог накажет».

Архиепископ Николай Японский (ныне святой), писал о том, что Япония через сто лет станет православной. Прошло сто лет – не стала. Россия сама отказалась от Православия, с болью, но отказалась. Частные попытки возвращения ортодоксальной веры превращают православие в идеологию: гражданин, не делай каку!

35. Почему человек влюбляется? Еду в метро, замечаю девушку, ловлю ее взгляд. Если наши остановки совпадут... Было по-разному. А сегодня в вагон вошла девушка со скрипкой, потом полный юноша с плеером; между ними, широко раздвинув ноги, сел худой, коротко стриженный, с жестким лицом... У полного юноши был платонический роман со скрипачкой, но она изменила ему. Короткостриженный подпоил ее... Утром так и сказал: «Мне всегда хотелось попробовать интеллигентную». И вот они едут в одном вагоне.

Я придумываю истории, эта отвратительна, но в ней есть конфликт души и плоти, он понятен. Во мне самом зреет конфликт духа и души. Душа проигрывает, плоть уже давно сдалась.

В том же вагоне ехали глухонемые. Как они молятся? Неужели тоже жестикулируя? Но Бог не глухонемой. Если Ему не нужны их жесты, то и мой шепот нелеп. Слабая плоть, неразвитая душа, а в результате – вонючий дух. Но после молитвы мне легче.

36. Почему Бог не женщина? Точнее, почему Он явил себя миру в мужском облике? А если бы в женском?.. Что бы это изменило? Ничего. Бог – все-все, включая ничего. Но при чем здесь Сын? Обрезанный еврей. Дочь была бы проституткой. Атеизм уродлив, но ортодокс чем лучше? Шагу без греха не сделать. Бог – не оправдание. Пафнутий сказал: «Сейчас многие пытаются жить по совести, но этого мало». Ах, если бы многие, да что многие, хотя бы я...

От Москвы до Ирпеня  
Не найдете вы меня,  
Не найдете вы меня,  
Потому что, потому.

Потому что, потому,  
Я живу не по уму,  
Я живу не по уму,  
По ночам пишу стихи.

Я пишу, пишу, пишу,  
И у Господа прошу,  
Тихо Господа прошу:  
«Господи, помилуй мя».

Господи, помилуй мя,  
От Москвы до Ирпеня.

37. Матвея крестили на Антипасху в Китаевской пустыни. Матвей пукал, Пафнутий улыбался. Соня стояла с серьезным видом и шепотью правой руки тыкала себя то в лоб, то в грудь. В конце концов Матвей обкакался. «Это у нас семейное», – не удержался я. «Христос Воскресе!» – возгласил Пафнутий. «Воистину Воскресе!» – радостно, как солдаты на параде, ответили мы.

Ну вот нас и четверо. Матвея Юлька родила дома. Когда схватки обострились, ее вдруг понесло в ванную. Соня тоже потребовала купаться. Так и рожали: в одной ванной Юлька, Соня и явление младенца Матвея в 11 вечера 29 марта 2004 года.

Три месяца назад умер отец.

38. Таинственной жизнью живут в нашем доме картины и фотографии. Вобьешь в стену гвоздь, повесишь картину или фотографию – вроде ровно, а спустя время – все наперекосяк. Поправляешь, а они опять... Чудеса.

39. У отца был мотоцикл: старый БМВ. Мы путешествовали на нем. Я и отец. Я засыпал и просыпался в коляске, укрывшись с головой дерматиновым пологом. В шуме мотора я слышал музыку огромного оркестра. (Мать ушла.) Помню солнечный день. Я лежу на деревянном мосту и смотрю вниз. В прозрачной воде плавают серебряные рыбы.

Я виноват перед отцом. Я смирен перед ним, но я опоздал. И мое опоздание реальнее той реки и этой ночи. Я пройду, как прошел отец, и не исправлю ничего. Я смиряюсь перед своей невозможностью исправления мира, и происходит Чудо: жизнь открывается мне, утешает меня, обнадеживает.

40. Проснулось сердце. Сердце проснулось. Неделю повторяю. Был в Киеве, ехал в трамвае. Холодный апрель. Люди с синими лицами. Сердце проснулось, родные мои, а мы едем, едем...

42. Пуп земли, так бы я назвал фильм об Ирпене. Еще год назад на въезде в город висел лозунг: «Привет Ирпень – Парнаса царство!»! Здесь жили поэты, недолго, из приезжих умру один я, если Бог даст. Жить и умереть в Ирпене... Это даже не Воронеж. Ирпень – это...

Автобус номер шесть ходит по маршруту: вокзал – рынок – наш околоток. Ходит редко, на каждой остановке мотор глохнет. Пассажиры терпеливо ждут. Дождь идет. Старики да старухи. Здравствуйте! Обязательно поздороваются в ответ. Кого этот автобус будет возить лет через десять? Отменят маршрут. Буду ходить на вокзал пешком, смотреть на проходящие поезда.

Сегодня купил на базаре яблоньку: антоновку – тоненький прутик-саженец. Сижу на остановке, жду. Мимо меня хромает, опираясь на самодельную клюку, старик в белых грязных штиблетах, в джинсах, в засаленном на карманах коричневом пиджаке и в кепке. Один раз прошел, второй, наконец остановился и смотрит на меня. «Сейчас денег попросит или сигарету». «Яблунька»? – вдруг спрашивает он. «Яблонька», – отвечаю. Улыбается. Из-за поворота появляется новый бело-синий автобус. «Якый там номер»? – спрашивает старик. «Шестой», – говорю я. Автобус останавливается. «Цэ якый номер»? – загалдели старухи. «Шостый, залазътэ», – говорит старик и мне под-

мигивает: «Вот бабы-дуры». Мы входим в салон. «А який же ж вин гарный! – не удерживаются старухи от восхищения. – И сыдиння, и двэри, ще й заводыться!» Мы рассаживаемся и едем, на лицах наших – восторг. Поживем еще.

43. Сердце проснулось, проснулось сердце. Ночь в Ирпене. Небо вывездило крупной звездной солью. Млечный путь – дорога в горний Иерусалим. Май. Лягушек хор. Где-то пес залаял, в соседнем дворе радостно отозвался щенок. И вдруг – тишина.

На рассвете уезжал Генка. Пятнадцать лет назад он снял мою первую картину. Пятнадцать лет назад осенью мы вышли из киностудии в парк, на душе было легко, под ногами шуршали листья. Мы были победителями.

Генка так и не женился. «Хороший у тебя дом, и жена, и дети». Сел в машину, глянул... Господи, ему же все равно куда ехать. Должен – в Москву. Завел мотор и поехал в другую сторону.

44. Ты спросишь, как идут мои дела?  
Я выйду в сад, склонюсь перед кустом.  
Все дело в том, что роза расцвела.  
Я кланяюсь природе, а потом  
Пью крепкий кофе и курю табак,  
Кормлю Варвару и троих котов.  
Стихи ко мне приходят натошак:  
Две-три строки – мой утренний улов.  
День полон суеты вокруг кино,  
Сомнений, что все это дал мне Бог,  
И мир мой превращается в одно  
Безумие, где тьма – всему итог.  
Забыться сном, не слушать, замолчать...  
Ты спрашиваешь, как идут дела?  
Мои дела стоят, ядрена мать,  
Но дело в том, что роза расцвела.

45. Вчера меня спросили: «Скажите, пожалуйста, кто ваш любимый писатель?» Я назвал имя и фамилию. «А мы думали – Хармс», – сказали мне. «Ну что вы, Хармс – дитя по сравнению с ним». Странно, но именно так я ответил. Отчетливо помню весь разговор, но забыл, кого я назвал своим любимым писателем. У меня его никогда не было, а тут вдруг бац – и появился. Интересно, кто? Живой он или мертвый? И что он написал? Себя я исключаю: я не пишу, я записываю. Например, сегодня ехал в метро, в вагон вошел кларнетист и сыграл мелодию из французского фильма.

Сыграл плохо, но я полтинник дал. Он вышел, а я стал напевать про себя, и сам превратился в мелодию. Девушку увидел. Она бежала по эскалатору, распущенные волосы развевались, и мне захотелось стать девушкой с развевающимися волосами. На перроне стоял лысый юноша, маленькая женщина с младенцем, а я все напевал песенку из французского кино. Я их полюбил, и моей любви хватило бы еще на многих: на всех. Но вот кого я вчера назвал своим любимым писателем, так и не вспомнил.

46. Бог поселился в моей голове,  
Где мирры взять?  
Кто придет на мой пир?  
Подниму чашу, объявлю шепотом.  
Не поверят.

47. Памяти отца.

Соня может пукнуть,  
Может пукнуть Матвей,  
Может пукнуть папа,  
Он всех здоровей.  
Ну а если пукнет дед –  
Всем привет!

Соня и Матвей никогда не услышат, как пукал их дед. Из деликатности он скрывал пук кашлем. Ему казалось, что кашель заглушает пук, а я слышал и то и другое, и стыдился отца.

48. Ей пять лет. Она лазит по деревьям, гоняет на велосипеде и называет ее «Сона». Вчера она сидела на заборе. Соня стояла внизу и шептала: «Ли́ка, Ли́ка, Ли́ка»... И она снизошла. «Пойдем, погладим Азу», – сказала она. (Аза – помесь добермана – злобная и подлая сука. Догадываюсь, что это она убила Гамлета. До нашего появления была хозяйкой улицы. Теперь хозяйка – Варвара. Аза не любит все наше семейство.) «Пойдем», – радостно соглашается Соня. Ли́ка спрыгивает с забора. Вдвоем они идут в неухоженный соседний двор. «Аза! Аза! Аза!» – кричит Ли́ка. Аза появляется внезапно из кустов, замечает меня и Соню, рычит, но с места не двигается. «Сона, погладь Азу», – приказывает Ли́ка. Соня отрывает взгляд от Ли́ки и смотрит на Азу. Аза зевает, щелкая пастью. «Сона, ты погладишь Азу или нет?» – настаивает Ли́ка. «Да», – шепчет Соня и делает первый шаг. «Сонечка, идем домой», – говорю я. Нет, меня не существует. «Сона, гладь Азу», – командует Ли́ка. Соня осторожно подходит к собаке, робко



касается ее уха и оглядывается на Лику. «Сона, гладь», – говорит Лика. Я гляжу Азе в глаза, она опускает голову и позволяет Соне погладить себя по загривку. Лика подходит к Соне, берет ее за руку и ведет к куче песка. «Давай кататься», – говорит она. Аза исчезает. Девочки поднимаются на песчаную гору и скатываются вниз. Сонька хохочет, Лика заражается ее смехом, и я смеюсь. Это было вчера. А сегодня с утра накрапывает дождь. Соня стоит на улице. Пусто на заборе. «Идем», – говорит Соня и ведет меня в соседний двор. «Аза», – негромко зовет Соня. Аза не появляется. Соня карабкается на гору мокрого песка, молча спускается вниз. Улыбается и вновь поднимается и спускается, и так много раз.

49. Причащались в день Всех Святых. Юля с Матвеем, следом я с Соной. Вышли из церкви. Солнечно, тепло. Юрка позвонил: «Приезжайте на рыбалку».

На озере ветрено. Юрка, его тесть и Дударь приехали еще засветло. Не клюет. Люся накрывает на «стол», Оленька плавает, Пашка ползает по траве.

– И-ди-те-ку-шать!

– Александр Николаевич, будете пиво?

– Рыба только консервированная.

– А Цветаева, я читал, повесилась на веревке Пастернака. Вы же про нее кино делаете?

– Соня хочет масливу. Соня хочет масливу. Соня хочет масливу.

– Паша, Паша...

– Дайте Сонечке маслину.

– Мой мениск не лечится, в театр не хожу.

– Матвей спит?

– Пьянею от безалкогольного пива, а ты? Ты тоже?

– Все лето прожил бы на берегу.

– Эх, Паша, Паша.

Ветер в роще, плеск воды, шорох крыльев ангелов – все сливается. Я засыпаю.

– А Тарас зеркального карпа поймал!

– Александр Николаевич, вы проспали клев!

Я склоняюсь над ведром с водой и вижу отражение неба.

– Ну как вам карп? – спрашивает Дударь.

Я сажусь рядом, смотрю на закатное солнце над полем, на поднимающийся туман над водой, ветер стих.

– Вот мы и в раю, – говорю я.

– Да, – говорит Тарас, – надо бы удочки перезабросить, – и закуривает трубку.

50. Север России, село Горелец под Вологдой. Глушь, бездорожье. Огромный храм и четыре черных кривых избы. В первой живет батюшка с матушкой и шестью детьми. Однажды он приехал к другу, друг уже год как был настоятелем горелецкого храма, он то и рукоположил отца Владислава, рукоположил и сбежал.

В избе темно и тесно, матушка читает детям сказку. Октябрь. Воздух недвижим. Все здесь застыло. Мелкий снег припорошил жухлую траву и крытые толем крыши. Тоска. Тоска и обида.

– Это не я, и этот фильм не обо мне, – заявляет отец Владислав после просмотра. Все выходят из зала удрученные. Мы остаемся вдвоем.

– Не место тебе там, отец, – говорю я, – ты человек столичный.

– А куда? Сюда не зовут, – вдруг говорит батюшка.

– Я помолюсь за тебя, – шепчу я.

– Помолись, – шепчет он в ответ.

Господи, помоги отцу Владиславу, дай ему приход в Москве, натерпелся он в Горельце, помилуй его, Господи.

51. Отец мертвый был похож на младенца. Складочку на щеке, оставшуюся после слюноотсоса я скрыл пудрой. Вспомнил, как гуашью гримировал лицо брата. Отпел отца местный батюшка, отпел торопливо, по-бабьи ойкая:

– Со Свя-ты-ми упок-ой...

Отец преподобий не любил. Требовал, чтобы хоронили без попов. Мы с матерью его волю похерили. Он был крещен, рассказывал, что когда-то пел на клиросе. Почему так переменялся? Не знаю. Не он первый. Умер за день до Николы зимнего. На именины.

52. – Соня, пойдем в лес?

– Нет.

– А хочешь на качели?

– Нет.

– А...

– Пойдем к Лике?

Соня умоляюще смотрит мне в глаза и тянет за руку. Я принимаю ее жертву.

Мы выходим на улицу. В соседнем дворе под вишней за столом компания взрослых, Лика и ее младший брат Тимофей. Соня слышит из-за дощатого забора музыку и их голоса.

– Лика, выходи, – зовет Соня.

Я разматываю шланг и включаю воду.

– Соня, хочешь полить цветы?

– Нет.

Вода из шланга вырывается с шипением и брызжет на сухую теплую землю. Солнце село. Запахло прибитой пылью. Оглядываюсь на Соню.

– Лика, выходи, Соня плачет, – обращается Соня к забору. Я сворачиваю шланг и вдруг слышу ее робкий смех. Сквозь щель в заборе Тимофеей просунул палку и дразнит Соню.

– На! На! На! – кричит Тимофей. Соня успевает схватить палку, и Тимофей смеется. На их смех появляется на заборе Лика.

– Лика! Лика! Лика! – бросается к ней Соня.

– Сона, ты можешь поломать палку? – спрашивает Лика.

Соня тотчас ломает палку и смотрит на Лику.

– А еще, Сона, поломай палку.

Соня с трудом, но ломает две оставшиеся половинки.

– А еще, – требует Лика.

Соня пыхтит, пытаясь сломать об колено коротенькую палочку. Лика и Тимофей хохочут, Соня тоже смеется, у нее не получается, ей больно, но она смеется... «А ведь это я, – мелькает у меня мысль. – Отец всю жизнь называл меня шутом гороховым».

– Соня, хочешь, посажу тебя на забор рядом с Ликой? – говорю я.

Соня не верит своему счастью. У нее мокрые и благодарные глаза. Она берет Лику за руку и гладит ее ладонь.

– У меня есть сумка, а у тебя нет, – говорит Лика.

– Да, – соглашается Соня. (У Сони – штук десять сумок.)

– У меня есть щенок, а у тебя нет, – говорит Лика.

– Да, – улыбается Соня и трогает крестик на Ликиной груди.

– У меня есть Бог, – говорит Лика, – и у Тимки есть.

– А у меня Бога нет, – говорит Соня.

Лика приносит щенка и дает Соне погладить.

– Ну все, – говорю я. – Соня, идем купаться и спать.

Соня на прощанье крепко прижимает щенка к груди.

– Пожелай всем спокойной ночи.

Я беру ее на руки, Соня машет ладошкой,

– Спокойной ночи, Лика. Спокойной ночи, Тимка. Спокойной ночи, щенок.

53. У Сережи Соколова была бабушка, которая любила смотреть футбол по телевизору и всегда болела за тех, кто проигрывал. Вот и вся история.

54. Светает. Сквозь дубовую рощу – на шоссе. Бегу. Слева и справа – поля. Озеро в двух километрах. Пар над водой. Раздеваюсь донага и с мостков – плюх! Обратно – через поля. Нарвал букет из всего, вышел на шоссе и ору песню: «Я буду долго гнать велосипед, в густых полях его остановлю, нарву цветов и подарю букет, той девушке...» И вдруг ком в горле и слезы. Отчего? О ком? Об авторе Николае Рубцове? О моем отце? О св. Николае Чудотворце? Умерли Николаи, а я иду по пустому шоссе, пою и плачу.

Трапезничаю в монастыре и вдруг – мобильник. Схватился за карман, втиснул руку, жму не на те клавиши, наконец, отключил. Фух, как нехорошо. Сосед-послушник, видя стыд мой: «Это быва-а-ает».

На следующее утро опять возвращаюсь с озера. На шоссе пробую запеть, но ни слез, ни кома в горле, ни песни.

А сегодня – туман. Бегу, бегу, бегу. На берегу стоит человек.

– Нэ йды туды, там паруются, спугнэшь – склищатся.

– Склещиваются собаки, – говорю я и начинаю раздеваться у лодки.

– А тут, – говорит человек, – скла багато, ноги порижэш. – И вздыхает: – Хоч бы сховались дэ.

Хватаю рубашку и штаны, иду к пляжу. У дороги – молодые мужчины и женщина: ее распахнутые худые ноги, над ней, на полусогнутых руках – он, бледные их тела неспешны, будто замерли, нет, вот одно движение мужского тела вниз, и опять замерли. Прохожу мимо, в воду с мостков – плюх и забыл. Исчезает берег в тумане, нет никого и ничего. Но возвращаюсь, навстречу мужчина с лукавой улыбкой: «Будешь идти, в обморок не упади». Все то же на берегу, но лицо женщины накрыто полотенцем. Машины проезжают рядом, рабочие идут на цементный завод и тот человек, что первым предупредил меня, по-прежнему стоит неподалеку.

Дома Юлька толкование Апокалипсиса читает: «И вот стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя». Что для меня плотская страсть? Не мыслю, не чувствую, а погружаюсь в неведомое, где нет моих мыслей и чувств, и тела, тела моего тоже нет, оно часть, но не женщины – бездны. Экстаз? Не знаю. Очнусь, что это было? Желаю вновь исчезнуть. Похоть? Нет, это другое: отсутствие себя в этом мире, растворяюсь в ином, огромном, моей личности нет, она не нужна, ничтожна... Вожденное Ничто. Блаженство без участия рассудка. Миг равен вечности. И если правы иудеи: в соитии участвуют трое, и третий – Он?..

Сегодня на рассвете видел Бога.

55. Можно искать денег, любви, дружбы, блаженств, страданий... и не найти. Ищи Бога и Он даст все необходимое. Это так просто, но у меня не получается.

56. Была у Сережи Соколова жена молодая. Он так и говорил: «Это Наталинька, моя жена венчанная. Ей уже двадцать пять, а мне всего сорок восемь». Была такая у него шутка. Он сам над ней и смеялся. И сын у них был – Данила. Жили как все. Но тут влюбился Сережа в актрису, и как честный человек предупредил, что у него есть жена, «ей уже двадцать пять, а мне всего...» Рассмеялась актриса, и подумал Сережа: «Вот человек, который меня понимает». Пришел к жене и говорит: «Я честный человек и признаюсь тебе, что полюбил другую женщину, тебя покидаю и ухожу к ней». Жена поплакала, прижала Данилу к груди и отпустила Сережу с Богом. Сережа шампанское с тортом купил и пришел к актрисе. Та торт съела, шампанское выпила, а наутро его прогнала. «Тебе, – говорит, – уже сорок восемь, а мне всего...» К Наталиньке Сережа не вернулся, гордость не позволила. Стал жить один. Ему уже всего пятьдесят четыре. Недавно приезжал. Рубашечка застиранная. Киносценарии пишет, никто не покупает. Работу ищет. Водочку пьет, если угощают. Жена его венчанная, Наталинька, говорит, замуж выходит. И шуток своих Сережа Соколов больше не шутит. Живой человек, а получился литературный персонаж. Грустно.

А сегодня звонок: «Соколов говорит. У меня все хорошо. Я женился, книгу издал, все нормально, Бог милостив».

57. Розанов написал, что на нем закончилась великая русская литература, а я – что кончилась жизнь. Пошутил, а оказалось, что так оно и есть. Жизнь кончилась, как река: вот она была, бурная, тихая, с порогами и водоями и, вдруг, нету; не высохла, не оборвалась водопадом, не влилась в широко море, а кончилась. Рыбы плывут разные, а воды нет; кончилась жизнь.

58. Об аристократии. «У меня дворняга, так она нажрется, а потом, если мы едим, сядет рядом и еще просит. А у вас породистая?»

59. Дождливый август. Воскресенье. Днем спускаюсь в гостиную, Соня лежит на диване с открытыми глазами, рядом спит Юля. Софья потянулась, тронула Юлину ногу (спят валетом) и закрыла глаза. Матвей заплакал, выхожу на веранду, качаю коляску и пишу. Рядом на стуле спит кот Паганель, под лестницей, прижавшись друг к другу, – Варькины щенки,

на лестнице сопит Варька. Дождь шумит, коляска поскрипывает и часы в столовой тик-так, тик-так, тик-так. Деревенские ходики – наследство мое от бабушки Александры, Царствия ей Небесного.

60. Прихожу к Дударю и говорю о кино, а он так понимающе молчит. На монтаже шучу, и инженер улыбается моим глупостям. Женщинам – комплименты, вечером – молюсь... но чувствую, что и к Богу снисхожу.

61. Когда начинать писать? (Я еще не начал.) Тогда, когда не остается ничего, кроме желания писатъ. А как же дом, семья, работа? Ничего! Тогда – писать. Но у многих и этого нет.

62. У Юлии есть дом, дети, вера, а мужа нет. Какой из меня муж?

63. Все, что останется после меня, завещаю жене своей, Юлии.

64. Вчера перед грозой все замерло, затихло, озеро потемнело, пляж опустел, и я пошел купаться. Когда возвращался, заметил на берегу пару: мужчина фотографировал женщину на фоне пейзажа. Я стоял по грудь в воде и вдруг – вспышка. «А это что за лохнесское чудовище?» – спросит женщина, разглядывая фотографию. А это я, случайный человек на чужой фотографии.

65. К Пушкину.

Александр Сергеич, попроси  
Бога, чтоб наладил на Руси  
Добрых стихотворцев ремесло.  
Видишь, брат, куда нас занесло:  
Преисподняя, рифмует черт строку.  
Знаю я, что на твоём веку  
Их хватало, и к тебе пролез  
Шаловливый, подлый, мелкий бес.  
Но у нас теперь совсем не то:  
Был Пегас, а вышел – конь в пальто.  
Сам рифмую, нечего скрывать,  
Не любовь и кровь – ядрену мать.  
Брат, надеюсь это не итог,  
Попроси... и да поможет Бог.

66. Прочел о себе: «Из выпускников того года – никого выдающегося, разве что Саша Столяров из Киева». Так что теперь я «разве что выдающийся», но из Ирпеня.

67. Лосев умер. Перечел написанное о нем. Беспомощно мое слово. Сергей Дмитриевич, помолитесь за меня. И он молится. Знаю, о присутствующих не говорят в третьем лице. Но вот позвонила из Мюнхена Мила, поговорили о нем и – будто в церковь ходил. Сергей Дмитриевич, а куда пропали Ваши стихи: «Переводы с советского»?

68. Мои дети кричат, как птицы... Сегодня Софье два с половиной года... На этом обрывается дневник счастливого человека. Все последующее Соня запомнит. Мне больше незачем записывать и я пишу, пишу, а не записываю, и знаю: Бог милостив, и Он даст мне свободу письма. Я верю, что каждое слово мое – моя тень, где источник света – Он. Кричите, птицы! Мне незачем вам подражать. Мое слово светло: тень от Него ярче солнца. Вам придется разглядывать написанное мной через закопченные стеклышки. Аллилуйя! Мне подарена любовь (казалось, зерно сгнило), она заполняет меня, я превращаюсь в свет, оболочка тела не сдерживает ее, я растворяюсь в океане света. Каким на берег выйдет человек? Вот он я! – мог бы крикнуть, так кричат чайки. Вместо этого – шепотом: здравствуй, Бог, я иду к Тебе.

67. А у нас революция.

Ангел расправил крылья и прильнул к моей земле.

Жизнь обретает форму апельсинов.

69. Сегодня я сказал Соне, что дедушка Коля, на которого она так похожа, умер. Соня вдруг расплакалась и запричитала: «Что же мы теперь будем делать? Как же мы теперь без дедушки Ко-о-о-ли?» Моего отца Соня видела мельком в годовалом возрасте. Помнить его она не должна. Отчего ей так горько?

В два с половиной года, чтобы не быть свидетелем распрей между родителями, я был сослан в деревню Сандерки, к матери отца, бабушке Екатерине Ивановне. Лутили тощую кукурузу (хрущевская реформа), хлеба не было, мечта – попасть к тетке Лиде, сестре отца, на обед. Тетка работала на ферме, у нее в доме было молоко и масло. Потом, когда отец забрал меня к себе, я выходил на плац, дожидался солдат, пристраивался к строю и шел с ними на обед или ужин.

– Будешь кашу рубать, – говорили солдаты.

– Топором? – спрашивал я. Они смеялись. Я лгал. Я знал, что рубать на их языке – значит есть. Так я расплачивался за еду: шутовством.

70. Тик-так часов и Бог,  
как Бо-о-ом!  
Как дом,  
в котором спят.  
Да будет свят в нем новый день.

71. Вдруг подумал: двадцать лет, больше, я пишу пьесы, рассказы, сценарии... в них моя боль и любовь, и нежность, и свет... никому не нужны. Я занимаюсь телевидением и документальным кино с пренебрежением, а последнее время – с презрением, и все это принимается. Есть основания стать мизантропом.

72. Не получается с Богом,  
поговорю с Ангелом,  
прикосновение – нежнее дыхания.  
Святой мученик Александр Солунский,  
Не покидай меня.

73. Поставил крест у дороги. Взял сосновую балку, распилил, подрубил, собрал воедино, покрасил – хороший крест пятиметровый. Несли четвером: я, Валера, рабочий строитель с соседней дачи, Саша Радов. Прочно вкопали на подъеме, видно издалека. Моя Голгофа. Мой Иордан – речка Бучанка, моя Гефсимания – мой сад. Ночью была гроза. Утром пришел – нет креста. Нехорошо – искусил людей. И Соня рыдала. Улинька пообещала ей новый.

74. Что у Христа от человек? Задумался. Ересь какая-то. Мила приехала. Встретились в кафе «Бабуин».

– Сережа перед смертью не молился и причащаться отказался, – говорит Мила. Я молчу, пытаюсь представить Сергея Дмитриевича перед кончиной. У меня есть фотография: одутловатое лицо, заплывшие глаза, вымученная улыбка...

– Там ничего нет, ничего, – шепчет Мила.

– Мила, что общего у Христа с людьми? – спрашиваю я. И она без паузы:

– Страдания.

– Нам дана вера, – мямлю я, – чтобы не сойти с ума.



75. Был в Ченстохове, видел икону чудотворную, помолился, не сбилось... А в Лондоне что? Другие, совсем другие. Мы или они? Жил бы в Англии – стал бы писателем. Размеренно, изо дня в день: история поинтереснее, персонажи поярче, одним словом – литература. И сердце не болит – модный писатель. Все у нас хуже: дороги, машины, магазины, монастыри – все, а помолиться в Англии не получается. Моя молитва в Китаевской пустыни одна, а здесь... А ведь у меня ничего, кроме молитвы, и нет.

75. Я видел огромные пространства, горы, океаны, пустыню – там одна мысль и одно чувство: это создано Богом. А здесь в Одессе – бесенок бездарный. Бьюсь головой о дверные косяки. Но пишу и надеюсь: вот-вот и выпишется молитва... Нет, не выписывается. У каждого свой способ молитвенного делания. Кто это сказал?

76. Приснился сон. Плакат Вертинского с четверостишием:

Я нынче как освобожденный бог,  
В раскаянье немислимо поверить,  
Самокопанью подвожу итог:  
Меня «аршином общим не измерить».

Смешно.

77. А что мы будем делать со звездами?

Матвей все больше похож на деда, так же вдруг похохатывает, и я понимаю, что мир для него – Радость. И глаза – полные любви... Так я входил утром на кухню, отец курит у окна, взглянет и расхохочется.

– Ты чего?

– Так ты говоришь, дураки? – спрашивает отец.

– Кто?

– Заказчики твои?

– Да, дураки, – вспоминаю вчерашний разговор.

– И ты дурак, раз им служишь.

– И я дурак.

Отец опять хохочет. Что мы будем делать со звездами?

У Матвея вторую ночь температура, Улинька обтирает его уксусом и поит жаропонижающим. Я молю святого Пантелеймона, Агапита, Богородицу, стираю пеленки и курю на кухне. Дождь кончился, а звезд не видно.

Отец умер в возрасте Матвея, я не старше Матвея, Соня, Улинька, у нас у всех нет возраста. Чтобы это понять, надо увидеть звезды.

78. Молюсь, и происходит Чудо. Со мной. Я вдруг совершаю поступки, после которых светло на душе. Аллилуйя.

79. Душа смутилась, легкою волной прошла по жизни... Ангел мой, случайно ли в нас отразилось Небо?

80. Мы вернулись домой. Моя идея взять Улиньку и детей на съемки в Одессу оказалась глупостью. Чужая квартира для приезжих, чужие улицы, люди... А тут все свое. Брожу по дому и славословляю Бога, замечаю, что Улинька делает тоже. Хорошо дома! Удивительно, как-то незаметно, Юлия стала Улинькой. И женой.

81. Пишу с природы. Летное поле бывшего аэроклуба. Рассвело. Кузнечики из-под ног. Оператор взлетел на дельтаплане, парит где-то над городом. Тихо, только птицы щебечут. Несколько брошенных самолетов с обтрепанными крыльями. Заваливаюсь в траву. Солнце припекает, букашки, ласточки, пчела прожужжала, день будет жаркий.

82. Стамбул. Аль София. Стою напротив остатков фрески Деисуса. Шум, чужой говор, фотографирующиеся на фоне, надписи на турецком, замалеванные кресты. И вдруг, ясно и твердо: «Это я виноват в осквернении храма».

83. Странное ощущение возникает иногда в разгар лета: острое, шемящее чувство осени. И так бывает у всех, я спрашивал.

84. Когда молчу – молюсь.

85. И вот еще. Сделал для сливы, яблоньки и абрикосового деревца подпорки, такие же, как в лондонском Гайд-парке. И деревьям лучше и мне радостно. Н-да. «Англичане ружья кирпичом не чистят».

86. В 88 году в Москве написалось:

Июль в пуху, созрело лето,  
Пруд обмелел, мы вышли на пленэр.  
Всего-то за зиму случилось два портрета,  
Один пейзаж – распад СССР.

А в этом году закончил:

Не пишется. Такая, брат, дремота,  
Куда не глянешь, все завершено.  
И жухнут на балконе три работы,  
И пух летит в открытое окно.

Семнадцать лет стих ждал.

87. Бог скрывается во мне. Моя вера – мое сокровенное. А снаружи – мир. Вдруг Юленька захандрила. С чего, спрашиваю? Плечами пожимает.

Иду утром по околотку, а местные жители в пионерлагерной беседке водку пьют. И у них хандра. Пожалей русского человека, так он тотчас денег на опохмелку попросит. Я не Штольц, но русскую лень ненавижу. Во мне ее стократ больше. Бывает искушение плеснуть всем в лицо своею злобой и развращенностью, но нет, это значит покориться своему бесу. Война!

88. Как я начал третью мировую войну.

Давно, лет двадцать пять назад, я возвращался под утро из мастерской.

– Мужик, угости сигаретой.

Одинокий пешеход, помню, что обращение, мужик, мне юноше польстило.

– Вот пока мы, мужики, будем сигаретами делиться, войне не бывать, – руку крепко пожал и посмотрел со значением. Пьяный.

А вчера иду в театр, навстречу – три подростка.

– Дай закурить, – требует один, при этом жестом уточняет, будто глухонемому.

– Не дам, – говорю я, не останавливаясь. И вдруг понимаю: я начал третью мировую войну.

89. Пригород иль городок,  
милый сердцу Ирпенек.  
Речка, церковь да базар,  
В полдень ставим самовар,  
Ждем гостей, приходят гости,  
Перемыть соседям кости,  
Солнце село – день прошел,  
В Ирпене жить хорошо.

Хорошо жить в Ирпене  
От столицы в стороне.

Там у них от революций  
Кругозор какой-то куцый.  
А у нас, среди лесов,  
Каждый житель – философ.  
И вообще, когда б не лень...  
Н-да, Ирпень – это Ирпень.

90. Отец нарисовал меня, а потом мир вокруг. И это не метафора. На портрете сидит кудрявый годовалый младенец. Датировано 59-м годом. Если я родился согласно подписи, то сидеть (даже если работа начата в Новый год) в два месяца я не мог. Когда я заметил это, отец задумался.

– Ты долго болел, мы сомневались, что выживешь, и зарегистрировали твое рождение на год позже.

Но каким именно годом, отец не помнил. Возможно, сам того не зная, я всегда был на год старше своих ровесников.

В нашем доме на стенах висят пейзажи отца, написанные много позже. Я привыкаю к ним, привыкаю к миру.

91. Мы едем на машине. Юля за рулем. Дети спят. Юленька находит на диске песню «АББЫ» и делает чуть громче. Песня заканчивается. Юля ставит ее сначала и так много раз.

– Юля? – она не слышит меня, кажется, забыла о детях и лицо у нее прошлое. Когда-то Юленька любила акробата. Он работал под куполом цирка, а она танцевала на арене. Я видел их вдвоем на фотографиях и на видео. Там у нее счастливое лицо. Вот и сейчас почти такое же, почти...

92. Слово.

93. Ведущий ток-шоу Леня Воеводин предложил выступить у него в программе. Леня был выпивши, но я три дня придумывал речь. Во-первых – паузы: я буду говорить не спеша. Телевидение любит торопливых, от меня – не дождутся. Во-вторых, я скажу им всем, что наш президент возомнил себя мессией, а страна из окраины России превращается в окраину Европы; вспомню Достоевского, его смердяковское: «Жаль, нас французы не завоевали, культурная нация-с». Страна, отвернувшаяся от своей культуры (Гоголя изучают как иностранного автора), страна, презирующая чужую культуру, страна, лишенная веры (Три православные церкви! Вера – дар Божий. Как могут все вдруг стать верующими? Также как все вдруг стали бы блондинами, даже лысые). Страна, в которой зависть – не грех,

а особенность нации. Апокалипсис у нас уже наступил. И тут я бы перешел к искусству. Кино, театр, литература были церковью для маловеров. Искусство раздавало индульгенции. Согрешил? А мы «милость к падшим призываем». Вот тебе оправдание – катарсис и сочувствие зрителя-читателя. Так было. Но душа зрителя уже не желает слез раскаянья, она умерла, теперь извольте развлекать то, что осталось. Кушать подано и торт в физиономию – роль искусства сегодня. И подаем...

Тут позвонил Трегубов, и я все это торопливо высказал ему, а после стало нехорошо на душе. Так что сказать мне получается нечего.

94. А может быть, я уже написал эту книгу и на неведомой мне строке она закончилась? А я все пишу и думаю о ней. Вместо диалога с Богом веду разговор с книгой. Терпи, книга. Я еще многого и о многих не рассказал. Вот умру, тогда... делай, что хочешь.

Не вспоминай, брат, обо мне,  
Что проку от воспоминаний.  
И в Ирпене, или в Лозанне,  
Не вспоминай, брат, обо мне.

Не вспоминай, брат, обо мне,  
Я был в миру последний грешник.  
Когда в лесу шумит орешник,  
Не вспоминай, брат, обо мне.

Не вспоминай, брат, обо мне,  
Я тихо сдохну под забором.  
Прелюбодеем был и вором,  
Не вспоминай, брат, обо мне.

Не вспоминай, брат, обо мне,  
Молись, какому хочешь, богу.  
А я пойду своей дорогой,  
Где Бог и я – наедине.

Не вспоминай, брат, обо мне.

95. Прочел статью о Сергее Дмитриевиче. Мертвечина и сладкая ложь. А что пишу я? Сколько раз про себя я обвинял Лосева в трусости, считая его отъезд бегством, и сколько раз я сам хотел бросить все и уехать, хоть в Гондурас.

Брошу все, уеду в Киев.  
 То-то будет смех:  
 Молодой, лихой, строптивый  
 Вдруг исчез для всех.

Брошу все, уеду в Киев,  
 В старый монастырь.  
 Помолюсь за всю Россию,  
 Господи, прости.

Брошу все, уеду в Киев,  
 Где с отцом моим  
 Самых верных литургию  
 Вместе отстоим.

Брошу все, уеду в Киев,  
 Этак дней на пять.  
 И вернусь простой счастливый  
 С миром умирать.

Что пишется, то и пишу. Четвертую осень встречаем в Ирпене, как медленно и так мало написано.

96. – Завтра Пречистая, – говорит мне наш сосед Ильич и вручает кулек, а в нем свекла, капуста, морковь.

– Спасибо.

– Душа у меня любит подарки делать, – говорит Ильич; его козы блеют у забора, – да иду, – отмахивается сосед, – ну, бувай.

И вот утро праздника Рождества Богородицы. Мы завтракаем овсянкой. Соня съедает раньше всех.

– Я всех победила, я всех победила, – повторяет Соня. Юля кормит Матвея. В столовой сумрачно. Ходики: тик-так.

– А я еще с вареньем, это клубничное? – спрашивает Наташа. Наташа – Юлина тетка, гостит у нас часто.

– Юля готовила, – наобум отвечаю я.

– Да что его там готовить, – говорит Юля. – Матвей, ешь.

– Я копаюсь в своей тарелке, тем самым подаю плохой пример детям, – говорит Наташа. День за окном солнечный. Все так обыкновенно и хорошо.

97. Шторм на море. Огромные темные волны. Вода проваливается, но море выталкивает ее и швыряет о причал. Взрыв и брызги осыпаются на

набережную. Пусто на пляже. Я смотрю на море. Изредка появляются молчаливые чайки, суетливо машут крыльями, замирают, но ветер уносит их, стирает с серого неба. Я смотрю на море. Вот она мысль – Море. Мои мысли мельче белых гребешков, вдруг появляющихся на волне, и сдерживаемых порывом ветра. Я смотрю на море без мыслей. Я смотрю на саму Мысль, без начала и конца, бесконечную в обе стороны и непостижимую в любое мгновение. Зачем мне Предание и Учение, если мне дарована возможность видеть мысль Бога? Я раздеваюсь донага и вхожу в воду. Холодно. Вокруг меня бурая пена. Плыву: то падаю, то поднимаюсь вместе с темной водой. Получаю пощечину волной, поворачиваю, сбиваемый с ног выхожу на берег. Ветер обжигает. Старик с букетом красных астр бежит по пляжу.

– С праздником, – кричу я.

– Не у меня, не у меня! Генералу сегодня девяносто! – старик пробегает мимо меня к ротонде. На пороге, опершись на палку, стоит генерал и смотрит на море.

98. Светает. Ходики стучат.  
Ленивый раб литературы,  
Пишу, пишу... Слова молчат.  
Противоречия натуры  
Не в силах изменить стихом.  
Родил детей, построил дом,  
Молился в православной вере,  
Но Бог таланта мне отмерил  
Как всем, а я пишу, пишу...  
Зачем? Слова мои молчат.  
Светает. Ходики стучат.

99. На премьерe разболелась голова. В вокзальном буфете взял сто граммов водки, выпил и поехал. В Киеве встречает Улинька с детьми. Голова болит, говорю с трудом.

– Отвези меня в банк.

Серое утро. Безлюдно. Банк закрыт. Суббота, оказывается. Ладно, обгонораримся в понедельник. А голова болит. Дома лег спать, проснулся – болит. И вдруг мысль – рак мозга, необходимо записать. Рукопись счастливого человека обретает драматургию. Вот так поза! После такого хочется все бросить, раствориться: нет меня, нигде нет, и не было никогда. Или написать какое-нибудь эу-у-э-трысь, хрм! Напрасно Пушкин боялся сумасшествия.

Матвея вчера обидел. Он плакал в машине, рвался к Юле (она была за рулем), а я держал железной хваткой и молчал равнодушно. Сегодня смотрю ему подобострастно в глаза, выискиваю: помнит или не помнит? Нехорошо, фух, как нехорошо. За всю жизнь не исправить.

100. Приснилось, что Юлия ушла от меня. Когда попрощались, у нее было необыкновенное лицо. Живое. Вся она светилась: «Я живу, живу!»

В сумерках брожу по комнатам, шаги и бой часов. Из сада доносятся голоса детей и Улиньки. По-киношному красиво. Все равно красиво.

101. Поднимаюсь на эскалаторе в метро и вдруг: я покинул этот город – пронзительное ощущение или мысль, не разделить, я, покинувший все, един. Так в детстве в болезненном бреде вдруг меня отрывает от земли и уносит выше, выше, земля уменьшается, рядом звезды и холодный космос. Мне страшно. Какая-то сила закручивает меня, я перестаю быть человеком, превращаюсь в планету, меня осваивают бурильщики и находят медь в районе пуговиц. Я захлебываюсь от рыданий и просыпаюсь. А тут, в метро то же самое, но не страшное, нет, наоборот. Люди вокруг, а что если и у них тоже: счастливое отчуждение от мира? До этого чувства, минуту назад, я размышлял о них как о подопытных кроликах: особи склонные к соитию. Спасет ли их монастырь? Несвязные даже не мысли и вдруг – я покинул их всех! Это прошло, появились другие чувства, но было какое-то единение со всеми в этом – я вас покинул.

102. В позапрошлом году прощался на дороге с беременной Матвеем Улинькой и Соней. Надолго.

– Мне без тебя будет скучно, – говорит Соня.

– А я тебе машину куплю, – при этом думаю: где ж такую работу найти?

– Ну ладно, покупай.

Через полгода на новой машине подъезжаю к дому. Соня молча забирается на заднее сиденье.

– Куда едем, сударыня?

– В церковь, – говорит Соня.

103. Смотрю и не вижу я девушек, склонных к соитию, – написал и ужасно развеселился. Юльке позвонил, приказала записать, так и сделал.

104. Слава Тебе, Боже, за то, что Ты создал женщину и дал ее мне в жены! Юлия прекрасна: стройные тонкие длинные ноги, большая грудь с



твердыми от возбуждения сосками, упругий живот, ищущие руки, глубокие синие глаза, в них бездна. Она стонет, дрожит, захватывает меня всем своим худеньким телом. Мой уд входит в нее и тогда мы – одно. Чего же мне еще?

105. Сердце мое тает. Я будто после болезни. Опять, как в детстве: в бреду разрыдаешься, тебя успокаивают: это был сон, плохой сон – и приходит утро, вздыхаю рвано, а сердце влажное, нежное, подуей ветерок – почувствует. Матвей внимательно следит за моими буквами, кошка Фенька усаживается на руки. Да, Фенька, мне больше незачем писать эту книгу. Мы живем в свету, он разлит по всему нашему дому, тихо переливается из комнаты в комнату, и все мы исчезаем, растворяемся в голубом этом свете. Вот и все, Сонечка, вот и все. Нас больше нет.

– Саша, Соня, Ма-а-атвей, идите кушать.

Моя мать нажарила картофельных оладий. Хорошо: среда, но она почти ничего не знает про пост...

– Помнишь, Николая мама сказала, что она не будет есть тертую картошку, так и не ела. Ты помнишь, как она гостила у нас?

Бабушка Екатерина Ивановна умерла давно. Последние годы жила у своей дочери – тети Лиды. По случаю моего приезда устроили застолье. Пришли доярки, наварили самогона. Бабушка выпила стопку и звонко запела, девки подхватили, я вышел на кухню. Распаренная тетка моя села на табурет, вытерла пот со лба: «Умру я скоро, Сань. Рак у меня». Умерла через полгода. Я на поминках сидел в темной комнате бабушки:

– Бабушка, чего ты хочешь?

– Не знаю, чей-то я устала жить. Дай три рубля, я себе мармеладку куплю.

Но ведь я не про это хотел написать. Моя неродная мать, вторая жена моего отца живет у нас и роднее всех родных. Но, может, про это и писать не стоит? День-то какой: солнце на соснах янтарное, небо синее, облака белые-белые, вздыхаю рвано, будто всю ночь рыдал.

106. Однажды я писал сценарий за другого. Этот другой по вечерам рассказывал мне о себе, ночью я облакал это в форму, чтобы на следующий день выслушать новый эпизод из его жизни. За это он мне платил. А рассказывал он все какие-то мерзости: с кем он спал, кого обманул, с кем спала его жена... Однажды, когда сценарий был почти готов, он, выслушав очередной эпизод, потянулся, отхлебнул вина и сказал: «Что-то я какой-то хороший получаюсь, давай-ка в наше кино я о себе одну маленькую га-

дось напишу». А я понял, что по ночам я оправдывал его и за это он мне и платил. Но я вот к чему: если мою книгу дать прочесть Пафнутию...

107. Когда одолевают болезни, думаю о том, чтобы дом продать и переехать в Москву или Киев. Здесь, в Ирпене Юльке замуж не выйти.

108. Стихи Лосева – «Переводы с советского» мне прислала Мила, с требованием, чтобы я снял о нем фильм. Всего три стихотворения, а мне казалось, что их много, оттого что читал он их всегда по-разному.

109. Обязательно кто-нибудь скажет: «В такое ужасное время он про свой рай семейный пописывал». Я в себе свет искал, Бога в себе искал. А еще я молился, и плакал от обиды за то, что видел вокруг. Господи, помилуй нас грешных.

110. Из письма Перевощикovu:

Спит Ирпень, собаки лают,  
Падает и тает снег,  
Медленно стихи слагает  
Очень взрослый человек.

Может быть, к утру закончит,  
Может – нет, не все ль равно.  
Ничего не напророчит,  
Глядя в темное окно.

Ходики стучат. Все та же  
И не та пришла зима,  
Может быть, напишет даже,  
Что весь мир сошел с ума...

Может быть... Не в этом дело.  
Ночь без звезд, Ирпень притих,  
Падает и тает белый  
Снег. И так родился стих.

111. И я уйду.  
Все так же кто-то  
Будет смотреть из моего окна  
На лес, на небо, на соседский дом...  
Другие будут лаять псы.

Короткий век у петухов,  
Но те же голоса...  
Смысл жизни?...  
Я люблю жену  
И все вокруг нее:  
Дом, дети, две собаки, кошки,  
Коты. Шекспир – на той неделе мы  
Нашли его в иконной лавке,  
Котенок болен, у него понос,  
Но и его люблю.  
Я счастлив.  
Рождество. Снег. Солнце.  
Ночью было минус восемь.

112. Зачем я это пишу? Затем, что знаю: пройдет совсем немного лет и вопрос этот покажется глупым. А терпения у меня достаточно.



ПЯТАЯ  
КНИГА

## ПОСЛЕДНИЙ РУССКИЙ

... **У** вот представьте: Земля крутится, а русских на ней нет. Последний умер где-то под Самарой. Стоял посреди облезлого поля, смотрел на серый в тумане лес, на брошенную церковь с кривым крестом и тихо плакал. И вдруг, упал, впился зубами в землю и завыл: «Господи! Господи! Господи-и-и!» Ворон протарахтел. Где он, русский? Лежит, в небо смотрит. Слезы высохли, снег пошел... И вдруг он встанет, уже Богом прощенный, и пойдет лицом светел. Куда? А ему ведь все равно, где умирать. То-то же. Если его Бог простил, простил и благословил, что ему до нас? Маета наша, ее ведь нету. Плюнь три раза, дунь – и нету. И уже не на ощупь пойдешь, в свету, видно, куда ногу ставить. Поле, церковь, лес – все снегом заметет, а потом, весной, от нечаянного движения вод, на том месте, где он прощение просил, пальма африканская вырастет.

### ЛОСЕВ (эпизоды)

**1.** Про режиссера Лосева рассказывали анекдоты. Утро, Мила (жена и монтажер) яростно мотает и клеит пленку. Сергей Дмитриевич задумчиво меряет шагами монтажку. Полдень. Та же картина. Вечер. Уставшая Мила, Сергей Дмитриевич в позе мыслителя. Тишина. И вдруг Лосев хлопает себя по колену: «Проиграет завтра «Динамо»!»

2. Боль от обиды не отпускала всю ночь. Под утро позвонил Лосеву.

– Сергей Дмитриевич, извините, я...

– Ты ошибок не делаешь, – говорит Лосев. – Приезжай.

Рассвело. Мы сидим на лавочке и говорим о любви. Май месяц. С деревьев облетает цвет. Все будто в конфетти. Боль отпускает. Мы парим над моей обидой, над Киевом, над миром. Много позже я понял, что это были его крылья.

3. Заседание кафедры. Декан, смакуя, читает кляузу, написанную на меня студентом.

– Ну, – говорит он, – что вы нам ответите по поводу этого заявления.

Все ложь, я жду, что все педагоги сейчас расхохотуются. Нет. Все глядят в пол и молчат. Вдруг встает Сергей Дмитриевич, он бледен, у него трясутся руки.

– Уважаемое собрание, – начинает Лосев. Голос у него глуховатый. Вот так же он вставал на студии, когда громили чью-либо картину. Лосев все ставил на места. Декан, с чувством неловкости, прячет пасквиль в папку. Собрание окончено.

4. Другой студент ловит меня в коридоре.

– Александр Николаевич, то, что нам читает Лосев, сложно и непонятно.

Отправляю его в аудиторию. Глупость не грех. Историю режиссуры Сергей Дмитриевич начал от Рождества Христова. Он читал им историю православия. Через два года этот студент извинялся передо мной. Из института Лосева уволили без указания причин.

5. Кто знал, что первая русская писательница княгиня Долгорукая почила в Киеве, во Флоровском монастыре? Я, как и многие, узнал это из фильма Лосева «Любви верна». Я многое узнал из его фильмов, но еще больше – почувствовал. Лосев делал Кино.

6. Он писал стихи: «Переводы с советского». «Но не было в руках рукопожатий и не было героя в этой рати...» Сергей Дмитриевич читал мне их. Казалось, его стихам не было конца. А недавно Мила прислала мне копии, всего три стихотворения. Он читал их все время по-разному.

7. Смотрим кино и вдруг его шепот: «Чувствуешь свет и тепло от кадра, а здесь – нет, чувствуешь?» Лосев умер. Я смотрю чужое кино и ничего не чувствую, но свет и тепло от его фильмов я помню.

8. За полгода до отъезда звонит:

– Александр Николаевич (по имени и отчеству он обычно меня не называл), вы не могли бы одолжить мне сто гривен? Отдать вам их я не смогу.

Мне стыдно за себя и за всех. Хочется крикнуть, как Исайя, «меднолобое племя, нас посетил гений, в нашем кино был режиссер со светлой, чистой душой!» Не слышат.

9. Кажется, совсем недавно с отцом Пафнутием мы служили у могилы святого Феофила молебен о здравии раба Божьего Сергия и вот преставился раб Божий. Панихида. «Со святыми упоко-о-ой», – поет отец. Все правильно. Прости, Сергей Дмитриевич. Пафнутий, как и Лосев, снимает документальное кино. От его фильмов идет тепло и свет. Все слава Богу. Жаль, под утро позвонить некому, но когда что-то не получается, я молюсь: «Сергей Дмитриевич, попроси Господа, чтобы сложился этот эпизод, этот фильм». Помогает. В жизни никогда с ним не был на ты. А тут – запросто.

## НА КОНФЕРЕНЦИИ

– **В**ы помните первый петербургский фестиваль «Послание к человеку»? – спросил он. И, не дожидаясь ответа, продолжил: – Это был мой первый фестиваль. Осень. Петербург. Я возвращаюсь после закрытия. Без приза. Мой фильм был в информа-

ционном показе. Но все равно, я горд собой. Коллеги мои пили с утра до ночи, а я ни-ни. Каждое утро – пробежка по Суворовскому проспекту, на обратном пути – кефир товарищам на похмелье, душ и просмотры. Я тогда еще любил кино, был худой, высокого роста и во всем блондин. А тут ночь, иду вдоль канала, вспоминаю Блока. Туман над водой. Выпил на закрытии фестиваля бокал шампанского и шествую по пустынному Петербургу в одиночестве в гостиницу, кажется, «Советская». На углу квартала стоят две дамы, именно дамы: октябрь, а на них роскошные шубы, рядом с ними молодой черный пес-водолаз.

– Простите, гостиница «Советская», – спрашиваю на всякий случай. – Я правильно иду?

– Да, да, – отвечает одна из них, не помню кто. – Четыре квартала прямо, потом налево, потом...

Благодарю и продолжаю путь. «Милые дамы», – думаю я. А мне домой, у меня жена красавица, годовалая дочь. Переночую, утром пробегусь по проспекту, кефир – коллегам (сегодня напьются как поросята) и в Москву. И вдруг слышу:

– Молодой человек! Молодой человек!

Оборачиваюсь. Туман выполз из канала и разлился по улице. Возвращаюсь. На углу уже только одна дама с водолазом.

– Да? – спрашиваю.

– Хотите, я вас подвезу? У меня машина за углом.

– Спасибо, – отвечаю. Идем за угол, и я вижу «Жигуль» красного цвета. Заднее левое колесо спущено.

– У вас колесо спущено, – говорю я.

– Да, – вздыхает она. Ей лет тридцать. Черные волосы, карие глаза, милое правильное лицо.

– Простите, – говорит.

– Давайте я поменяю. Есть запаска?

Запаска находится. Меняю колесо, перепачкался, пробую вытереть руки носовым платком.

– А у вас и на лице грязь, – улыбается она, – пойдете ко мне, отмоетесь.

Зачем он это рассказывал? Уже немолодой человек. Пошлость. Я посмеивался и пил пиво. Водки не хотелось. Компания – режиссеры и продюсеры. Две женщины: одна – режиссер, вторая – жена продюсера, ее муж Смуров всем предлагал выпить водки. Еще молчаливый таджик или туркмен, Головецкий, я и этот полный лысеющий блондин. Говорил он хорошо, чувствовался актер в прошлом, в интонации была небрежная уверенность в том, что публике интересно.



– Продолжать? – спросил он.

– Да, да! – загалдели все.

– За любовь, господи! – предложила жена продюсера и выпила с режиссершей.

– За любовь? – удивился рассказчик и продолжил: – Дома у нее я отмываю руки и лицо, она кормит пса сырой печенкой, предлагает мне кофе, потом вина, интересуется женой и дочерью. И вот тут необъяснимая для меня склейка, выпадение целого эпизода. Я и моя дама лежим в постели, на мне только фестивальнй бейджик на тесемке, по фону – звук радио, передают новости, на стене плакат ледокола «Россия», в его углу скрепкой прищиплена фотография поджарого усатого мичмана. Разглядываю даму: не толста и не худа, скорее, в стиле Энгра. «Источник» помните? Всегда удивлялся тому, как некоторые женщины в возрасте сохраняют девичью фигуру. Краем уха слышу дикторское: «Продолжает свою работу первый международный фестиваль документального кино «Послание к человеку»... Она смущена моим взглядом и закрывается фразой: – Ну и от чего мне теперь лечиться?

Я предъявляю ей бейджик с моей фотографией.

– Абсолютно здоров. Слышала «Послание к человеку»?

Она смеется совпадению, но верит сразу. Женская логика. И тут опять склейка. Она лежит у меня на груди, тербит мои локоны, тогда их было много больше. Я разглядываю фотографию в углу плаката.

– Муж? – спрашиваю.

– Да, – отвечает она.

– А дети?

Она целует в ответ. По радио повторяют новости, среди них опять про фестиваль и вдруг... Попробую воспроизвести дословно: «Сегодня ледокол «Россия» снял со льдины СП, номер такой-то, и направляется к родным берегам».

– О, мне пора, – говорю я.

– Поспи, – просит она. – Это далеко, в океане.

Спать я отказываюсь. Если два предыдущих соития провалились в памяти, то в этом третьем было что-то мстительное.

– Тебе нужна другая женщина, – говорит она, почти засыпая.

– Какая?

– Худая, – шепчет она.

Плакат на месте, фотография – тоже. Мичман прожигает меня глазами, по радио опять новости про ледокол и фестиваль, но, видимо, редактор поправил текст: «Закончил свою работу первый международный

фестиваль документального кино «Послание к человеку», Гран-при получила картина...»

– Теперь мне точно пора, – говорю я уже самому себе. Женщина спит. Я даже не узнал ее имени. Тихо одеваюсь, выхожу на улицу. Светает. Туман рассеялся. В магазине «Молоко» покупаю кефир. Какая прелесть – молодость! Я не участвовал в конкурсе тщеславия, но, кажется, получил главный приз. Вхожу в номер, коллега Виленский говорит по телефону, оборачивается на меня и восклицает: «Вот он, вот он, наш спортсмен!» Протягивает мне трубку и уже шепотом: «Жена! Уже звонила. Я сказал, что ты бегаешь». Говорю с женой, Виленский пьет кефир. Он сейчас главный режиссер телевидения в Хайфе. В благодарность рассказываю ему о своем ночном приключении.

– А знаешь, – заключает Виленский, – если сегодня вечером ты вернешься на этот перекресток, то опять обнаружишь красный «Жигуль» со спущенным колесом.

– Да-да! – хором восклицаем мы, – спущенное колесо это прием.

– Замануха, – говорит жена продюсера.

– Вы так думаете? – говорит он и улыбается. – Мой поезд уходил вечером, я проспал до обеда, а после, вы не поверите, блуждал по тому району и не только машину не нашел, перекресток исчез.

– Ей нужен был ребенок, – вдруг сказал Головецкий.

– Идеалист, – сказала режиссерша. – У меня тоже в Питере был роман с морским офицером. Я была юная и глупая, но хо-ро-о-о-шенькая! Приехала из своей Тулы на экскурсию и возле Кунсткамеры меня обворовали. Цыгане. Обступили, погадали, разошлись – и я без денег. Стою плачу. Подходит он, молодой и красивый, с кортиком на боку. Посочувствовал и купил мне билет, купейный, на утренний поезд. Весь день мы гуляем по Питеру, потом вечер, потом – белые ночи. Устали, ужасно. А куда деваться? С гостиницами тогда была проблема, да и не пошла бы я в гостиницу. Я – девушка советская, гордая. Едем в такси на вокзал, разговариваем и вдруг таксист: «Ребята, у меня смена до утра, вот вам ключи, ночуйте». Вот времена были! Дом на окраине, квартирка аккуратная, я ложусь на постель, он – в кресло и так до утра. Не знаю, спал ли он. Утром мне – в Тулу, ему – в дальнее плавание. Поцеловал и все. А через год вдруг объявляется, после кругосветки своей. Я тогда уже училась в Москве. Как он меня разыскал? Ума не приложу. Все такой же худенький в черном, с кортиком на боку. Девчонки наши обзавидовались, но комнату освободили. А после я его спровадила. Я – студентка ВГИКа, а он? Он всего лишь моряк Северного флота. Что мне там делать, на Севере? И залетела. С первого раза.

Режиссерша вздохнула, обозначая конец рассказа. Мы не стали уточнять детали, зная, что режиссерша бездетна и одинока.

– А у меня, – вдруг выскочила жена продюсера, – тоже была история. Однажды я оказалась гостиничной проституткой.

Она обвела всех торжествующим взглядом. Мы заплодировали.

– Смуров, это еще до тебя было, – глянула она в сторону продюсера. – С первым мужем определенно наметился развод и на дне рождения подружки знакомлюсь с писателем. Головецкий про него кино собирался снимать. Он провожает меня домой. А что мне дом? Не хочу. Идем к нему в гостиницу. Впервые сблудила, как кошка. Среди ночи срываюсь. Мужа я уже не боялась, может, заговорили какие-то остатки совести? Почти бегу по длинным коридорам и вдруг уже в фойе: «Стоять!» Мент. «Откуда?» Я ему что-то лепечу. Не верит. «Из какого номера?» А я не знаю. Я даже его фамилию не помню. Это сейчас он – гений, а тогда – даже не знаменитость. Писатель. А мент уже протокол пишет, шьет статью за проституцию. Я в слезы. Дяденька милиционер, давайте поищем. «Ладно», соглашается. То, как мы будили среди ночи граждан проживающих – отдельная история. Я уже отчаялась, и вдруг открывается дверь и – он. Заспанный. Я от радости разрыдалась.

– Вам знакома эта женщина? – спрашивает мент.

– Первый раз вижу, – говорит он. Я остолбенела.

– Как же? – сквозь рыдания. – Мы же...

Все в груди сдавило, а он:

– У вас есть еще вопросы, товарищ милиционер?

– Вопросов нет, пройдемте, гражданка.

Он дверь закрыл, и я вдруг замолчала. Ступор какой-то. Мент меня пожалел, взял из кошелька червонец, больше не было, и отпустил. Домой шла пешком.

– Давайте-ка расходиться, – предложил продюсер Смуров.

– Зачем он это рассказал? – спросил я Головецкого в коридоре.

– Черт его знает. Провокатор.

Мы выпили кофе в баре. Спать не хотелось.

– Партию? – предложил Головецкий. Я согласился. Спустились к портье.

– А ключи уже взял один из ваших, – сказал портье.

В бильярдной было темно, я включил свет и увидел сидящего на центральном столе Смурова.

– Сыграем? – спросил его Головецкий, расставляя шары.

– Нет. Я тут так, посидел-подумал. А вы играйте, я до утра заплатил, – сказал Смуров и вышел вон.

## ЛЕГКО ЗАПОМНИТЬ

**Л**егко запомнить: Клод Монэ, Эдуард Манэ – два *о* и два *а*, – сказал Мишка Марцев, и я запомнил навсегда. Кто такие импрессионисты, я узнал в шестнадцать лет. О них знает весь мир. О Мишке Марцеве знают немногие. Мишка любил мир. А еще он любил рыжую студентку консерватории, носил очки и усы, родил театр и назвал его «Одуванчик», мечтал сыграть Гамлета, писал картины, сочинял и пел песни, и вдруг – повесился... Из-за рыжей студентки консерватории.

Но это потом. А сейчас сентябрь. Мы сидим на лавочке. Тепло. Опавшие листья кажутся случайными. Над нами голубое небо, на нем белые облака. Я курю. Мишка с восторгом говорит о живописи. Так признаются миру в любви. Потому что мир прекрасен! И Мишка это знает. А я не могу отличить Моне от Мане и стыжусь своего невежества.

Каждый день Мишка признавался миру в любви.

– Поедем в Дрогобыч, – говорил он, – станем провинциалами, будем преподавать в школе, ездить на велосипедах и ходить в церковь по воскресеньям. Поедем?

Мне тоже нравилась рыжая пианистка. Тоненькая, зеленоглазая, тихая. На его похоронах она стояла в стороне. Но тот сентябрь был холодным, чужим. Я не помню, как ее зовут. Жива ли? Дай Бог. Тогда, в сентябре семьдесят шестого года, на лавочке двое влюбленных говорили о живописи. Один – повесился через четыре года, а я... я стал провинциалом и хожу в церковь по воскресеньям. Пробовал преподавать: два *а* и два *о*: Эдуард Манэ и Клод Монэ – легко запомнить.

## ЗАПОЙ

**Д**руг мой Ванька Селиванов ушел в запой, на этот раз из-за меня. Полгода назад на мой сайт вдруг пришло письмо: «Здравствуйте, Леша, пишет Вам Вера Скворцова, может быть, помните? Когда-то мы были знакомы, не столько с Вами, сколько с Вашим другом Ваней Селивановым. Он называл Вас «гением дружбы». Я очень рада Вашим успехам в литературе. У нас в Париже тоже продаются Ваши книги. Простите, не знаете ли Вы, где сейчас Ваня? Буду Вам признательна, если сообщите мне его имейл». Я сообщил его киевский адрес и телефон. Компьютера у него нет, и никогда не будет. Ванька – типичный лузер. Лет тридцать назад мы вместе изучали архитектуру во Львове. Ваньку, худого и маленького розового блондина, единственного девственника среди нас,

мы жалели. Удивительно, но при всей своей мягкости он умудрялся ставить в нашем СТеМе хорошие спектакли. Весь город сбегался. Как он познакомился с Верой, не знаю. Однажды он привел ее к нам на репетицию и объявил: «Это Вера – моя невеста». Видели бы вы тогда эту невесту. В школьном платье, с двумя косичками, белыми бантами и огромными глазницами, а в них – жених Иван Селиванов. Ухажером Ванька был старорежимным. На свидание – обязательно с цветами, к праздникам стихи на открыточке тоже собственного изготовления. Один раз я пошутил, что-то о совращении малолеток, так он драться полез. Из розового красный стал, кулачками махал. Но я гений дружбы. Мы потом крепко напились, а на рассвете Ванька засобирался к невесте. Цветов я ему надрал у памятника Мицкевичу. Мы приперлись на стадион, с похмелья меня знобило, сели на верхнюю лавочку, Ванька вдохновенно говорил о любви, а через полчаса появилась она. Невеста бегала по утрам. Без школьной формы, в спортивном костюме по гаревой дорожке шла красивая, стройная, молодая женщина. Простите за банальность, но все в ней: походка, фигура, огромные глаза с длинными ресницами – все излучало покой и смирение. Ванька сбежал вниз, она, улыбаясь светло и чисто, подошла и приняла букет. О чем они говорили, я не слышал, но вдруг они взялись за руки и побежали по кругу. Две сияющие на весь стадион физиономии. Я курил, смотрел сверху на эту пару девственников и вдруг накатила тоска.

С Катькой Ивана свел я. После спектакля подмигнул, подвел к Ваньке, дальше – она сама. Катька была стерва. Пригласила к себе, Ванька напился и заночевал у нее. А вечером он с букетом тюльпанов отправился к Вере и объявил, что обязан жениться на другой.

Ванька еще подергался по молодости: ушел из архитектуры в режиссуру, пытался писать для большого игрового кино, но застрял в документалистике. Катька родила ему троих детей, причем первого от него; ревновала ко всем подряд, потому он и завязал с театром; изменяла ему с кем попало; Ванька стал пить потихоньку, а через тридцать лет превратился в запойного заведующего кинопоказом на второстепенном киевском телеканале. Вот тут я и получил письмо от Веры Скворцовой, бывшей невесты Вани Селиванова. А через два дня утром звонок.

- Вера объявилась, – прошептал Ванька в трубку.
- Вань, вставь челюсти и говори громче, – зевнул я.
- Она меня любит, – твердо сказал Иван, – до сих пор.

– Пошли ей свою фотографию, – сказал я. За тридцать лет Ванька стал толстым, краснокожим, лысым индейцем со щелочками глаз на вечно опухшем лице.

– Поздно, – сказал Ванька, – я уже написал ей, что тоже ее люблю и всегда любил.

– Вань, ей сколько сейчас лет?

– Сорок четыре.

– Ну вот, без года баба ягодка опять. Муж есть?

– Она разводится. Но дело не в этом. Леха, во мне все вдруг перевернулось. Я будто встал с головы на ноги. Я, знаешь, вчера посмотрел на Катю и впервые почувствовал, что не страдаю оттого, что она не любит меня. Я больше не желаю выпрашивать ее любви. У меня есть чувство собственного достоинства. Я еще напишу игровой сценарий, сниму большое кино, брошу телевидение. Мне наплевать на моих дармоедов детей. Вера – женщина, предназначенная мне Богом. Я предал ее. Но я рад, нет, не тому, что предал: тут юношеская похоть, ложное чувство долга, малодушие, в конце концов. Я счастлив потому, что я знаю, кого мне предназначил Бог. Понимаешь? Вот тебе кого Бог предназначил?

– Ну, разные были, Вань.

– Нет, так не бывает. Бог предназначает мужчине только одну женщину. И даже не быть с ней, а просто знать, что она есть – счастье. Леха, я счастливый человек. Спасибо тебе.

И он повесил трубку.

А через полгода Иван Селиванов появился в Москве. Пришел ко мне. Оказывается, на «Мосфильме» у него купили сценарий и предложили самому поставить.

– О чем кино? – спросил я.

– О невозможности жить без любви.

– Мелодрама?

– Нет. Трагедия.

– Герой умирает в финале?

– Хуже, продолжает жить без любви.

– Не коммерческое кино, Вань. Давай выпьем.


Что-то в нем переменялось. Нет, он не похудел, не выросли волосы на голове, глаза... Ванька Селиванов смотрел на меня своими щелочками. И я вдруг увидел в этих глазах боль и почувствовал, что ему больно не за себя, с ним все в порядке, ему больно за всех и за меня. Господи, подумал я, а ведь он меня любит, и в этом мире Ванька Селиванов – единственный, кто меня любит.

– Прости меня, Вань.

– Ты о Кате? Ну что ты, Леша. Нашел в чем виниться. Я благодарить тебя должен. Все правильно. Мы с Катей развелись. Наливай.

И мы напились. Друг мой Ванька Селиванов ушел в запой, на этот раз из-за меня. Прости меня, Вань. Запой – не конец света. Пока ты пил, я придумал два финала для твоего кино. Представь, что завтра приезжает Вера. Мы будем встречать ее с огромным букетом цветов и с помятыми рожками. На русском и французском языках объявят прибытие, и выйдет она, стареющая, отъезжая на европейских харчах дама. Она не узнает тебя, Вань, или сделает вид, что не узнает, так точнее. И ты не решишься подойти к ней, народ разойдется, а мы вдвоем так и будем стоять с дурацким букетом. Не плачь, Вань. Есть еще один финал. И он единственно правильный: Вера узнает тебя и ей наплевать на то, что ты толстый и лысый. Она подойдет к тебе с той же улыбкой, как тогда, на стадионе: чистой и светлой, и вся она огромными глазищами, фигурой, походкой будет излучать покой и смирение. Она примет этот букет, прижмет к груди, ты возьмешь ее за руку и вдруг вы побежите. Нет стадиона, и хрен с ним, Вань. Вы побежите по небу. А я буду курить на лавочке и плакать, как ты сейчас.

## В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

 Сколько прожил Симеон?

– Триста шестьдесят, – говорит Юлька.

– Помереть бы пораньше, поменьше б нагрешил. Это не я, это отец Климент сказал, – говорю я.

– Ну да. Ботинки носятся вдвое дольше, если надевать их в два раза реже.

– Я тоже думаю, что это он где-то вычитал.

Юлька лежит обнаженная, тонкая, красивая. Сретенье. Возил Геддертов на всюнощную в Лышню. Служил отец Филарет. В церкви были только мы и три старухи на клиросе, я подпевал им басом, Юрка – тихим баритоном. В Лышне двадцать лет назад было явление Богородицы. Старухи свидетели.

– О чем ты думаешь?

Юлька пожимает плечами. Пафнутия выгнали из монастыря. Теперь у него приход на Буковине. На прошлой неделе приезжал. Повзрослел наш духовный отец. Славит Бога в молитвах и стихах. Много пишет, к весне книга наберется. Где денег взять?

– А ты? – спрашивает Юлька.

– О Пафнутии, – отвечаю я. Хотя мысли мои потекли уже совсем в другую сторону. Лера прислала письмо. Рассказать Юльке или нет? Маша

считает, что Юрий влюблен в какую-то девушку. Закатывает ему истерики. Юрка терпит. У Маши шизофрения. А так оснований для ревности у нее нет. В церкви она сидела на лавочке, стоять ей тяжело.

– Что это с вами случилось? – спросил после службы батюшка.

– Восьмой месяц, – сказала Маша и улыбнулась. Улыбка у нее ясная, чистая. Отец Филарет еще молодой человек. Ему всего тридцать четыре. Служит в шести приходах, ночует – где придется, недосыпает. Худой, рыжий, маленький, трогательный батюшка. Говорит, как поет, только негромко, почти шепотом. Еще лет пять назад нежность его интонаций показалась бы мне искусственной. А теперь знаю: верует, Господи, помилуй.

– О ком ты? – спрашивает Юлька.

– О нас. Спи.

Допустим, мы все отражения друг друга. Тогда как же мы определяем свою половину? Кто-то по совпадению недостатков, кто-то – достоинств, кому-то льстивое отражение подавай, а кому-то – пародию на себя, для веселья. А Лера? Каким моим отражением она была? Почти идеальным. Только с ней я был целомудрен, порядочен, заботлив, терпелив... и дальше по апостолу Павлу. Со всеми остальными я был свинья свиньей. Она была школьницей, я – студентом. Мы гуляли по городу, говорили о литературе, музыке, живописи, театре. Я играл роль благородного жениха с букетом, мы даже не поцеловались ни разу. Увлечение этой ролью сыграло со мной злую шутку. В то время я был поклонником Рамааны, из которой усвоил только одно: отказать женщине – грех. Случай не отказать представился. На следующий вечер я объявил Лере, что обязан жениться на другой и, при этом, кажется, чувствовал себя честным человеком. Она молча и недоуменно смотрела на меня. Мы расстались. И вдруг ее письмо. Тридцать лет спустя.

После службы Маше стало плохо. Уложили ее в машину на заднее сиденье, батюшка с Юркой сели вперед и укатили в роддом. Ночь. Я стоял с бабой Марией у дороги, ловил безнадежно попутку, а Мария рассказывала мне о том, как потеряли прихожанку Лиду. «Лида прыйшла на службу в мокрых чоботах, був мороз, як и зараз», в церкви было холодно, но она отстояла до конца, а после пошла домой и пропала. Искали всем приходом неделю. На Иордан, батюшка просит, иди Мария, еще поищи, чувствую, что она где-то рядом. И точно, выхожу и вижу, сидит на автобусной остановке. Старый человек, все забыла, сапоги обледенели, грязная вся, обписанная, запах от нее... Ой, Боже ж мой, Боже. Бабушка Лида, говорю, пойдемте в церковь.

– А, домой? Пойдем домой, – она церковь домом называла. Веду ее, батюшка из окна увидал, выбежал, обнял как мать родную, а у нее вши, я



стою, плачу. Он потом сказал, что в каждом человеке к нам Христос приходит, как же его можно не любить.

– Мария, вы Богородицу видели?

– Да, с соседкой. Баба Лида скоро померла. Мы ее хоронили, батюшка отпевал.

– Позвоню-ка я жене, Мария. Тут до утра голосовать.

И Юлька приехала. На обратном пути гнала машину, вдруг дети проснуться. А я думал, рассказать ли ей о Лере? Не решился. Светает, Юлька заснула. Завтра съемки. Завтра уже сегодня. Нагнали в поле техники, выстроили декорации, разворачиваемся. Снег метет, ветер пронизывающий.

– С праздником, – кричу массовке. – Простите, что работаем.

– И вас с праздником, – отвечают хором. Как все в стране переменялось за тридцать лет. Лера вдруг позвонила из Нью-Йорка. Проговорили целый час. Я расспрашивал, она рассказывала. Первый ее брак расстроился, второй уже условен: муж болен алкоголизмом, недавно крестилась, нарекли Марианной, пишет иконы. И вдруг заговорила о том, что может приехать, у сестры в Киеве осталась квартира. Солнце вышло, стали снимать. Домой меня вез оператор. Позвонил Геддертам, все нормально. Пафнутий поздравил с праздником. Опять завьюжило, ползем по трассе.

– А хорошо было на Мальте, – говорит оператор. – Тепло, море, два дня на освоение.

– Хочу на Мальту, но только не снимать, – говорю я.

– А что еще там делать. Ну два-три дня на пляже, а потом? Скука.

Я не сказал ему, что хочу к теплому морю с Юлькой и без детей, чтобы она отоспалась и, может быть, впервые за последние девять лет взглянула на меня с любовью, а не с усталостью и заботой в глазах. У Юльки темно-синие глаза. У Леры – зеленые. Дома меня ждало ее новое письмо. В нем – объяснение в любви, обещание приехать и фотография. Лера все так же красива как тридцать лет назад. В ответ я написал, что тоже люблю ее, но, как и ее муж, страдаю хроническим алкоголизмом. Она уже не узнает во мне сегодняшнем, толстом и лысом, того стройного юного блондина. Я безработный и живу за счет ненавидящей меня жены. Жду с надеждой на спасение. Твой Колобок.

Однажды, тридцать лет назад, мы полдня гуляли по городу, Лера устала и предложила взять такси.

– Зачем такси? – сказал я. В кармане у меня было пятнадцать копеек. – Я купил машину, это сюрприз, она за углом.

Мы зашли за угол, и я изобразил человека, у которого угнали машину. Лера поверила и расплакалась. Она была доверчива ко мне. Больше она

не позвонит. И не приедет. Лера, крещеная Марианной. Завтра перегоним и смонтируем материал, послезавтра озвучим, потом в Латвию, потом в Намибию, потом... потом напишу любовное письмо Мэтте, норвежской принцессе. Я с ней в прошлом году обкурился травой в Амстердаме.

## ИЗ ЖИЗНИ ПОЭТОВ



не батя перед смертью так и сказал: «Тяжело тебе будет, Сережа». Я его спросил: «Почему, батя?» А он только вздохнул в ответ.

Маклер Сергей Москалец сидит у меня уже третий час. Пьет пятый стакан чая без сахара («сахар и соль – белая смерть»); выходит вместе со мной курить на веранду (сам он некурящий), и говорит, говорит...

– Я знаю, что я ничего не умею. Вот кран чинил – руку сорвал. В саду убирал – на ветку глазом наткнулся, месяц глаз болел. Фотографией занялся, а сам ничего в ней не понимаю. Стихи пишу никому не нужные. Почитать?

– Читай, – говорю я. Почему я такой слабохарактерный? Юлька уже уложила детей и, наверное, уснет, не дождавшись. Сережа листает толстый блокнот и задумчиво по строчке выдает мне свои произведения, возможно, имеющие отношение к поэзии, но судить об этом я отказываюсь.

– В этой жизни я люблю две вещи, – говорит Сергей, – стихи писать и ничего не делать. Вот смотрю, например, в окно, спроси меня, что ты там увидел, Сережа? Не отвечу. Будто и не было меня нигде. Совсем не было. Вот именно это и люблю. Вроде бы взрослый человек: борода седая, зубов нет, а жизнь ничему не научила.

Здесь я с ним вынужден согласиться. Бороду я брею, зубы вставил, но взрослым не стал. Я не умею отказывать. Мои гости ведут себя у меня как хотят: пьют не в меру, часто остаются ночевать, бывает и на полгода, берут займы и редко отдают, клянутся в вечной любви, но я чувствую, что в душе они меня презирают.

– Однажды было у меня просветление, – продолжает Сергей. – Однажды. На День Ангела. Утром повез мать торговать в Киев. Две тяжелые сумки: орехи, яблоки зимние. Сейчас уже эта яблоня не родит. Мать у меня однорукая, ты знаешь, злая с вечера. Ну пришел выпивши, так ведь пришел, не подзаборный какой-то, сын все-таки. Снег падает и тает, холодно, мокро. Спустил сумки в переход на Святошино, чтоб ей теплее было.

– Мама, – прошу. – Дайте пару рублей. День Ангела у меня. Куплю бутылку, к друзьям схожу. А она мне: «Не дам, паразит». Ну я прошелся

по проспекту туда-сюда, совсем замерз. Сел на электричку и – домой. Тут вдруг контролеры: «Ваш билет?» Я им говорю: «Простите, денег нет, временно безработный, войдите в положение». А им наплевать. Вытолкали в тамбур, обыскали, блокнот со стихами нашли. В Ново-Беличах дали под зад ногой: «Вали, писатель». Я до Ирпеня по шпалам три часа шел. Дома сел в кухне, раздеться не могу, руки не слушаются, и вдруг заплакал. Представляешь, взрослый человек, сижу и плачу. И тут вдруг озарение. Я вдруг понял главное! Главное – это Бог. Все остальное – второстепенное. Мне вдруг стало ясно, что все со мной происходящее – правильно. Понял, не головой, голова у меня слабая, сердцем понял. Вдруг стало всех жалко, а на душе радостно и спокойно, все правильно, по-другому и быть не могло. Вот это один раз было у меня, за всю мою жизнь. Вот когда дочь пришла, не осталась с матерью, моей бывшей женой, а ко мне пришла жить – была радость, но и стыд был. Денег нет – чем помогу? А ведь работаю, работаю, а платят – другому. Честно, так и наоборот бывает, но редко. Я вообще, после Озарения, многое понимать начал: вижу, где добро, а где – зло. От неправды сердце болит, за все болит. Сегодня иду, вижу – собака на дороге лежит, понятно, что только что сбили: лапами перебирает, пытается на тротуар выползти, а не может. Я подошел, на руки взял, в траву на обочину перенес, уложил, тут она и затихла. Вокруг люди собрались.

– Сам, – говорят, – сбил, а теперь жалеет.

– Люди, – говорю, – как же это я ее сбил, у меня и машины-то нет.

Не поверили. Ушел я от них. Злые? А почему? Раньше не были такими. Я тут на Девятое мая к своему школьному товарищу зашел, а он кроссворды решает. Я только два слова угадал, а он за час всю газету расписал и за вторую взялся. Умный и богатый. Я спросил его: «Паша, зачем тебе столько денег? У тебя все есть: дом, две машины и все такое?» А он в ответ: «Дурачок ты наш, Сережа». И он прав: я русский Иван-дурак, ты не смотри, что Москалец, это производное от москаля. Точно Иванушка-дурачок, правду ищу и все на чудо надеюсь. Тут у нас вечер поэзии был. Все ирпенские поэты собрались и меня не то чтобы пригласили, сам пришел, вина, водки принес с бутербродами. Выступал московский поэт. Очень знаменитый, течение там какое-то, фамилии тоже забыл, плохая память. Наши все хлопали, потом выпивали, комплименты ему всякие. А я правду сказал: «Злые ваши стихи. Рифмоплет вы, а не поэт. Сытый вы, бутербродов наелись. Пушкин чувства добрые пробуждал, а вы словами блудите и только». Так он мне по морде. Наши – меня за шиворот, перед ним извиняются, напился, говорят. А я уже два года как не пью, после Озарения. Сам он напился. После стихов на небо глядеть надо, а не водку пить.

Пусть никому мои стихи не нравятся, ну и что? Я один раз книгу по истории поэзии прочитал. Там разные примеры были, из древней поэзии тоже: «Приди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны». Чувствуешь рифму? Я как прочел, так и понял – я древний поэт. Да, ямбы-хореи, гекзаметры всякие для меня – темный лес. Но я ведь каждое слово от сердца отрываю, с болью. Не чувствуют. Зачем писать, если нет милосердия? Зачем плодить безумие? Тут у меня одна дама была, тележурналистка. Мы с ней гуляли по окрестностям. Я ей стихи читал. Она и говорит: «Странный вы, Сергей Петрович, поэт».

– Уточните, пожалуйста, – спрашиваю. – Я странный или стихи мои?

– Стихи, – говорит. – Я бы такие постеснялась читать.

А я ей сережки подарил. Каламбур получился: Сережка подарил сережки, недорогие. Она потом попросила, чтобы я ей мобильный телефон подарил какой-то новой марки. А у меня у самого бэушный. Такая вот дамочка. Значит, если бы подарил, любила бы?

– Не знаю, – говорю я и думаю, что напрасно я Сереге позволил снять туфли.

– Вот ты кино снимаешь, документальное. Сними про меня.

– Сценарий нужен, – пытаюсь отказать я.

– Я напишу, – говорит Сергей, – пусть все видят, если слушать не хотят.

– Напиши, – соглашаюсь я.

Серега уходит за полночь. Ни маршруток, ни автобусов. До его дома километров пять, не меньше. Идти в гараж, заводить машину мне лень. Да он и не просит.

– Ну пока, спасибо что зашел, – я протягиваю ему руку.

– Тебе спасибо, хорошее будет кино, настоящее.

У него сухие широкие крепкие рабочие ладони. И вообще здоровый мужик. Странно. Он уходит, и я слышу, как все дальше и дальше лают собаки.

## ПЛАСТИЛИНОВЫЙ РАЙ

**У** меня нос пластилиновый.

– Да? – удивляется Францкевич, склоняется к моему лицу и вдруг хватает меня за нос.

– Больно, – гундошу я.

– Да, пластилиновый – соглашается Францкевич. – Но мне по душе история про старуху и внука.

– Это вымысел, – говорю я, хлюпая носом. – Прототип старухи жив. Улица Кутузова, 22, квартира 1, в полуподвале.

– У-у, – произносит Францкевич.

– И имя и фамилия у нее есть, – я вызывающе сморкаюсь, – есть и внучка Лизавета. Но... Вот Головецкий...

– Что он?

– Не знаю почему, но он единственный, кого я не опозил в своей литературе. Прости, Франц, тебя я полюбил сразу, а его постепенно. Тут много слов, но и они не оказались препятствием. Он просит, чтобы я описал встречу со своей матерью.

– Соври.

– Ему? Не получится. Тебе могу.

– Сожалею.

– Фра-а-анц, сука – я, а не ты, не ты даешь мне повод соврать, я сам себе повод. А старуха... Что старуха? Мне нравится эта история. Они жили на Привокзальной. Трамваи туда-сюда, но в квартире безмолвие. Потолки – четыре двадцать, две комнаты, огромное зеркало в прихожей. Молчи, Франц. Старуха в сером плаще стоит перед зеркалом. Старуха разрезает ножницами серую плащевую ткань. Старуха шьет на старой швейной машинке. Старуха и внук вдвоем в зеркале. Она – в укороченном плаще, он – в серой куртке из той же ткани.

– Пионеры, – говорит старуха и, допустим, салютует. В отражении портрет Ленина в другой комнате.

– Хм, – произносит Францкевич.

– Я не знаю, что она говорит, но может быть и: «Пионеры, к борьбе за дело Коммунистической партии будьте готовы!» И внук отвечает зеркалу: «Всегда готовы!» Или салютует, но молча, без иронии.

– А мать? – спрашивает вдруг Францкевич.

– Моя мать?

– Не ломайся.

– Ты как Головецкий. Фух. Мне двадцать два года, я еду в Куйбышев – командировка – уточнить чертежи по второй линии конвейера. Приехал под вечер. Гулял по набережной. Танцплощадка. «Городок провинциальный, летняя жара...» Разглядываю девушек. Самые красивые – на Волге. Ночь в номере гостиницы, кажется, многоместный, не помню. Начальника КБ помню. Развернул чертежи и на меня: «У тебя здесь девка?» Интеллигентный человек – и так пошло. Да, в чертежах ерунда, не стоило приезжать, но я и не потому сюда приехал. Куйбышев рядом с Тольятти, а в Тольятти – мать. От отца узнал. Эту бузу с чертежами я и заварил.

– Нет, – говорю, – девки, – упирая на девку, – у меня здесь нет. Внесите изменения согласно проекту.

Съел. Через три дня будет готово. Сажусь на автобус и – в Тольятти. У меня есть сестра, старшая. Ты не знал? Мать от отца сбежала не одна, с ней, когда мне было шесть лет, сестра – на два года старше меня. С тех пор – ни гу-гу. Мать. А сестра написала письмо отцу, через шестнадцать лет. Я уже женат, у меня – сын и высшее образование. Мне необходимо было это продемонстрировать.

– А сейчас зачем?

– Тут Головецкий. Моя корысть всегда под ногами. Леню поднять. Упала монета – орел или решка. Тогда – орел. Но прошло еще столько же лет, и Головецкий спрашивает: «А что на второй стороне?» А старуха ему не интересна. У нее муж был сыном предводителя дворянства в Малороссии (старуха из крестьян), а Головецкому наплевать. Мать – слезы давние, высохли, а тут – пишу и плачу. Старуха и внук гуляют по городу. Осень. Дождь. Стоят под огромным супермаркетом. Внук замерз, тянет бабку внутрь. Она решается. Входят в мир иной. Тепло, чисто, музыка. Очень дорогой рай. Ангелы в униформе улыбаются. Много света. На втором этаже детские товары. Внук со старухой не представляли, что в мире существуют такие игрушки. И вдруг – детская площадка. На огромном голубом ковре – горки, туннели, лестницы, мячи, надувные замки, огромные плюшевые звери – все, что можно пожелать в шесть лет и даже больше. И бесплатно. (Старуха поинтересовалась.) У меня в детстве, кроме пластилина, ничего не было. Я лепил рай из пластилина. Я в нем живу до сих пор.

В Тольятти нашел сестру. Едем с ней в автобусе на водохранилище; мать – директор яхт-клуба. Клуб на острове. Арендуем лодку, я гребу. Жара, стрекозы над водой, лодка утыкается носом в песок.

– Жди здесь, – говорит сестра. – Я ее подготовлю.

Жду. Вокруг яхты, номенклатурные работники в плавках, шлюхи и советская попса из репродуктора. Соображаю, что – бордель. Появляется сестра.

– Идем.

В просторном сарае окна занавешены циновками. Полумрак. Стол директорский. Она за столом, обхватив голову руками. При моем появлении вскакивает, стремительно идет навстречу, вся в слезах, пожилая полнеющая женщина. «Сейчас прижмет к груди», – мелькает мысль. Прижимает, порывисто отстраняется, чтоб разглядеть родные до боли черты, всхлипывает и вновь прижимает к себе. Сестра спокойно, слишком спокойно наблюдает. Сцена из «Без вины виноватых». Чувствуешь сомнение? А вдруг все было не так? Измучившаяся от себя самой мать, страдающий без нее сын, разрывающаяся между ними сестра – совсем другой сюжет. Но были: блудный сын, блудная мать, чужая сестра и ничего общего с биб-

лейским сюжетом. Библия на любви стоит, а здесь ее не было. Я из любопытства приехал, на белом коне, доказать себя по глупости сердца. Если и были в этой сцене виноватые, так это я тогдашний, до сих пор собой не прощенный. Обратно гребу, демонстрируя мускулатуру. Мать не сводит с меня глаз. Над нами набухшие дождем облака, я жажду бури, я сильнее бури!

На автобусной остановке мать стала заигрывать с подвыпившим мужичонкой. Сестра прятала глаза. Ей было стыдно за мать, но только передо мной. Я почувствовал, что это обыкновенно так, что это уже природа моей-нашей матери.

В городе взяли в гастрономе бутылку водки и зашли к сестре... Стоп. Ведь был еще брат. Мальчишка лет двенадцати. Сын моей матери от предпоследнего брака. Плескался возле берега на острове. Она познакомила нас. Я забыл имя. Знаю, что вспомню, но когда? И куда он делся? Сестра (год как разведена) ушла за Тимофеем в садик, потом укладывала его спать (моя мать – бабушка; своего сына я ее внуком не считал), сама заснула, а мы пили на кухне водку. Дождь пошел. Я изображал из себя немало прожившего, мать каялась в неустроенности. Ей, может быть, и было стыдно, оттого она всю историю своей жизни обставляла неудачами, чтобы я, не дай бог, не пожалел, что остался без нее. Она так и сказала: «Я тебя потому отцу оставила, что знала: он и выкормит и выучит. И не ошиблась». Сейчас я бы зарорал на нее благим матом о том, что отец неделю был по ночам, о том, как я рыдал в одиночестве и звал «мама-мамочка-я-соскучился», и тогда в шесть лет почувствовал свою ущербность потому, что она предпочла сестру мне; зарорал бы о том, что обида на нее выжгла во мне брошенном все лучшее, и после я совершу тьму подлейших поступков. А тогда я врал, что понимаю ее. Под утро она почти гордилась тем, что оставила меня и отца.

Утром я проводил ее на автобус. Когда он отъехал, я вздохнул: «Хорошо, что я прожил без нее». Может, с этим вздохом и вошла в меня ложь, поселилась во мне и сожрала во мне человека. Больше я ее не видел. Интересно, о чем думала она уже в автобусе. Хочется верить, что ей было легко на душе. Душная, вся в разговорах о неудавшейся жизни, ночь прошла. Слезы ее высохли. Утро ясное, свежее, автобус (неважно какой номер) увозил ее от меня прочь. Я вдруг захотел оказаться на ее месте. Вот так же ехать прочь от прошлой жизни, отрываешься за себя и за все, и чтобы ветер в лицо и солнце в глаза. А я стоял на остановке и не знал, куда мне идти и зачем. Нет, умом понимал, что живу правильно: у меня семья, работа, светлые мечты... Но ведь почувствовал. Я тогда может впервые в матери себя настоящего почувствовал, того, который еще не раз проснется во мне и заставит жить живой жизнью.

А старуха с внуком в супермаркет зачастили. А куда еще? Дело к зиме. Холодно. Скучно. А здесь музыка. Внук на ходу сбрасывал с себя куртку, ботинки и влетал на голубой, как небо, ковер. Старуха садилась рядом на детский стульчик и улыбалась детям на площадке, красивым молодым девушкам в яркой униформе, элегантным охранникам. К ним привыкли, кивали в ответ на ее «Здравствуйте, мы вот опять к вам погреться». Иногда ей хотелось покурить (старуха курила «Приму» с мундштуком), но она терпела. И вдруг... Я не знаю, почему она это сделала. Это к Головецкому. Он мастер психологии. На детской площадке появляется семья. Богатые толстосумы с чадом, но это не важно, здесь не было классовой ненависти. Старуха даже попыталась развязать шнурки маленькому толстяку, но тот дался только маме. Его куртку, теплую, новую отец повесил на тот же крючок, на котором висела куртка внука. Рядом были свободные, но он будто не заметил. Не услышал старухино «Здрасьте». Они оставили чадо на площадке и пошли за покупками. А старухе вдруг страшно захотелось курить. Она достала мундштук, вправила в него сигарету, споткнулась о взгляд униформы и резко позвала внука:

– Иван!

Внук подбежал. Старуха молча стала надевать на него ботинки, потом привычно взяла куртку, стала надевать ее на внука и тут увидела его счастливого лицо:

– Ты мне купила? Ба?

И только тогда она заметила, что куртка чужая.

– Спасибо, ба.

– Идем домой.

Улыбающийся внук и сосредоточенная старуха вышли через ближайшую дверь. Это оказался многоэтажный паркинг. Старуха попыталась закурить, сломала несколько спичек, взяла внука за руку и двинулась вниз по пандусу навстречу автомобилям.

Утро следующего дня было серым. Моросил дождь. Старуха курила и бродила по комнатам. Внук лепил из пластилина, расставив фигурки на подоконнике. Такой же подоконник был у меня. Все, что я видел, я запечатлевал в пластилине. У отца был мотоцикл с коляской, у меня тоже был мотоцикл, но пластилиновый. Отец за рулем, мать на заднем сиденье, мы с сестрой в коляске. Когда мать сломала ногу, я вылепил ей гипс, и мы всей семьей продолжали путешествовать. В жизни все было не так. Помню, мать с загипсованной ногой мыла полы и вдруг шмякнула тряпкой об пол и с красным лицом, стуча гипсом, устремилась на балкон. Мы с сестрой и с отцом смотрели на нее. Мать на балконе перебросила ногу через перила и замерла. Мы с сестрой продолжали молча смотреть, пауза затянулась, но



тут на балкон вышел отец и обхватил мать руками, она стала вырываться, но как-то без усилий, потом зарыдала. А мы с сестрой пошли на улицу. Мы смотрели снизу вверх на наш пустой балкон, слушали плач матери и не верили, что она могла бы выброститься.

Внук тоже вышел на улицу. Двор был пуст. Внук нарочно стоял под дождем и слушал, как капли стучали по капюшону новой куртки. Старуха курила и смотрела на него из окна. Я почти полюбил ее, Франц. Старая коммунистка занялась экспроприацией. Я поверил, что идеология может стать природой человека. Но она осталась достойной моего презрения. Так вор презирает честного труса. Старуха испугалась. А я плохой христианин, Франц. Поделом ей. Но ты же не знаешь, что было дальше. А дальше... Старуха напялила на платье ордена-медальки, надела плащ, взяла зонт и вышла на улицу.

– Пойдем, Иван, – сказала она внуку.

– Куда?

– Отдадим эту куртку и заберем старую.

Смотри, смотри, Франц, на лицо внука. Ему столько же, сколько было мне, когда меня бросила мать. Его тоже бросили... А теперь – отбери у него куртку.

Перед входом в супермаркет старуха расстегнула плащ, чтобы были видны ее побрякушки, и первой вошла в магазин. Притихший внук шел следом. На детской площадке все было как обычно. Старуха раздела внука, но играть не пустила, да он и не дергался. Она повесила на крючок куртку и стала искать старую. Подошла «ангел в униформе»,

– Женщина, что вы ищете?

Старуха коротко взглянула на нее и не ответила. Старой куртки не было. «Ангел» переговорила с охраной. Элегантный молодой человек позвонил по мобильному телефону. Появились еще двое.

– Пройдемте с нами, – сказали они старухе. Человек с телефоном, продолжая говорить, взял куртку, свернув ее с разговором. Внука забыли. Он до вечера слонялся по площадке. Детей разобрали, остался один. Вернулась старуха.

– А где моя куртка? – спросил он. Старуха промолчала.

Они вышли через паркинг. На первом этаже стоял мусорный бак. Старуха долго копалась в нем и достала серые клочья плащевой ткани. Это и была его куртка. Тогда она сняла свой плащ и надела на внука. Они вышли на улицу. Пошел снег. Старуха под зонтом и внук в ее плаще. Было Рождество, Франц. Я бы мог тебе этого и не говорить. Ты человек воцерковленный, сам бы догадался. И представить эту парочку, бредущую мимо витрин со светящимися «РХ», тебе нетрудно.

Наутро внук слушал бабкин кашель и лепил на подоконнике из пластилина детскую площадку. Кашель был необычный, слабый. Город за ночь укрылся снегом. За окном было светло и радостно. Аллилуйя, Франц. Аллилуйя.

## Я – ГАГАРИН

У тут вдруг Аида Николаевна сказала...

– Во-вторых, – говорит она, – неокончателность выбора характеризует русского человека вообще, а Вас, Саша, – в частности.

– Обо мне подробнее, – требую я. Но прежде мне необходимо объяснить читателю наши с Аидой Николаевной отношения. Мы не беседуем, мы спорим. Представьте: февраль, Звенигород, изба, за окном – минус двадцать два, плюс метель, мы пьем чай с «крыжовенным» вареньем и говорим, говорим, говорим. Третий день говорим. Со стороны – интеллигентный разговор, изнутри – яростный спор искусствоведа и писателя.

– Вы вчера обмолвились, Саша, что – цитирую: «Женились между прочим».

– Неокончателность выбора? – я почти сдаюсь, – но как быть с Юлией – она выходила за меня окончательно.

– Другой народ: Юлия из Энгельгардтов, – вздыхает Аида Николаевна.

– Ну да, я – плебей.

– Вы сказали, – бросает Аида Николаевна и смотрит в немой телевизор. Я жду чего-нибудь вроде: «Будете еще чаю... или: возьмите вот варенье...» Нет, не дождусь. Отпиваю из стакана в серебряном подстаканнике с вызывающим прихлебом. На экране мелькают лица, выражения и ракурсы, открываются рты и сменяются рекламой.

– Гипноз европейской науки, – произносит Аида Николаевна отчетливо, отделяя слова, будто пробуя на вкус.

– Хорошее выражение, – не выдерживаю я, – но всего лишь фигура речи. Другой науки нам не дано.

– А это не моя фраза, – говорит Аида Николаевна. – Это сказал один бенинец, философ Полен Хунтонджи.

– В Африке есть философия?

– Да, – говорит она просто. – И что главное: у них есть Недремлющая память. Она призвана помочь им избежать повторения рабства.

– Опять обо мне.

– Все философы пишут о Вас, Саша, – говорит Аида Николаевна. – В Камеруне живет теолог Мвенг, он сказал, что Космос можно понять толь-

ко через Человека, то есть через Вас. Космос – сцена драмы, на ней борьба жизни и смерти. Человек – символ торжества жизни, ее непобедимости и вечности. Человек невозможен без Космоса, но и Космос невозможен без Человека. Понимаете? Здесь нет противостояния, в негроафриканской культуре нет первичного и вторичного, здесь все – единство Человека и Космоса.

– Получается, – говорю я, – что с точки зрения негра, я – не человек.

– Решайте сами, – говорит Аида Николаевна. Мы молчим, минуту, две, и вдруг я шепчу торжественно: – Зазор! Щель! Маленькая дырочка, которой нет ни у одного европейца! – Я вскакиваю. Аида Николаевна смотрит на меня испуганно.

– Во-первых, русская непредсказуемость, и не окончательность выбора – во-вторых! Не окончательность! В ней все и сокрыто, в любом моем «да», есть чуточка «нет», и наоборот. Так вот, этот люфт, эта чуточка – моя щелка в Космос, мое игольное ушко, мои врата. Вот что такое моя не окончательность выбора. Господи, как же мне хорошо от этой моей победы. Да здравствует Африка! Я в Космосе! Я – Гагарин. Поехали!

## СТОЛ

**Я** не писатель, я – пописывающий. Вот стол приобрел 1848 года, сделал его некий Гаупман – есть клеймо. Поставил стол напротив окна. Сел. Дай, думаю, напишу что-нибудь. Пишу: «Я не писатель...» Хороший стол! Акакий Акакиевич шинель построил, а я стол собрал: он разбит был, а я склеил. Кто же сидел за ним? Гоголь мог? Мог. Если бы он приобрел его в 1848-м, то еще четыре года мог бы сидеть за ним и писать и, может быть, даже задаться вопросом: «Кто-то еще сядет за этот стол?» Получается, что Николай Васильевич обо мне бы задумался. Достоевский – тоже мог, и Чехов, и Хармс. Я про Хармса кино снял и назвал «Я – Хармс». Но Хармс – писатель, а я – так, пописывающий. Хорошо сидеть за столом и смотреть в окно! Курю. За окном зима, лес в снегу, дом тетки Марии, столб с фонарем. Мог бы из меня писатель выйти? С таким-то столом – запросто. Распахнул руки, уперся ладонями в резные узоры по краям... Н-да! Сурьез какой-то в душе зазвучал, важность появилась. Приятно писать с природы. Открыл дверцу, в углу – «Мебель Гаупман, Халле, Клурлихштрассе, 36». Австрийский, что ли? Франц-Иосиф, конечно, вряд ли... Стол, может, и имперский, но не императорский. Гашек? Чапек? Кафка? Да что гадать. Так бы и сидел за этим столом и в окно глядел, птиц слушал днем, собак – ночью. Смотрел бы, как на липах почки появляются. Дождь, туман, сумерки.

Мария по улице пройдет. Привет, Мария! Господи, какая тишина вокруг! «Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии!» Это из Гоголя. Дождусь тепла и напишу: «Как томительно-жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное, и голубой неизмеримый океан, сладострастным куполом нагнувшийся над землей, кажется, заснул, весь потонувши в неге, обнимая и сжимая прекрасную в воздушных объятиях своих». И покажется мне, что это я написал, а не Гоголь. И обрадуюсь красоте слога и помолюсь о рабе Николае (о Гоголе и об отце своем). Хотя, зачем откладывать? Сейчас и помолюсь. И вот что удивительно: воображение ли мое разыгралось, но чувствую – склонились где-то высоко и при этом прямо надо мной два Николая: Гоголь и отец мой, и улыбаются светло, переглянулись понимающе и опять на меня: «Пишет. Ну пусть пишет пока».

## БОГ, ВЕСНА И ПАРИКМАХЕРША

**Э**то как безответная любовь: на последние деньги пойти в парикмахерскую.

– Здрасьте, пострижете?

– Конечно, как желаете?

– Что?

– Как вас постричь?

От ее обходительности холодеет внутри: вдруг не хватит денег расплатиться?

– Подкоротить и все.

– Хорошо.

– И без одеколона.

– А его у нас и нет, – улыбается парикмахерша.

Это самая дешевая в мире парикмахерская. Еще в прошлом году вывеска была написана от руки, сменили на простенькую. Всего одно кресло у окна, голубой масляной краской выкрашенные стены, радиоточка. Так уже было, в детстве. Перед началом учебного года отец вел меня в парикмахерскую. Мастер оставлял только чубчик, все остальное состригал машинкой наголо и удивлялся моей шишке на затылке.

– Это математическая шишка, – говорил отец. – У меня такая же.

Он курил «Беломор» прямо в зале. В детстве это не было запрещено.

– Способный мальчик? – спрашивал мастер. Я не давал отцу поводов гордиться мной. Еще в первом классе учительница сказала нам, что старшим надо уступать. В тот же день, вечером, отец послал меня в булочную за хлебом. Все в очереди были старше меня. Я был наивен и ничуть не изме-

нился. Разве что выросли волосы в ушах, но парикмахерша лихо состригает их. Приятно прикосновение жужжащей машинки. Однажды, мне было двенадцать лет и меня стригла молоденькая практикантка. У нее была большая мягкая грудь, она касалась ею моих плеч. Была весна, май, тепло, на ней легкий халатик. Я был готов стричься каждый день. Тем более что стоило это всего пятнадцать копеек. Мне скоро пятьдесят или сорок девять, неизвестно и уже не важно. Отца уже нет. Если бы он и был жив, у него, по-прежнему, нет поводов, чтобы гордиться мной. Мне стыдно от безденежья. Отсутствие денег – свидетельство моей ненужности миру. Я написал несколько книг, снял почти полсотни документальных фильмов, поставил четыре неплохих спектакля. Все это не принесло мне ни денег, ни славы. Судьба выбирает одного из тысячи, я не из них. Я завидую избранным и ничего не предпринимаю, чтобы изменить свое положение. Я стал ленив. Было время, когда я без усталости снимал, ставил, писал и верил, что это нужно зрителям, читателям, друзьям. В юности у меня были друзья. Они умерли. Чтобы не расплакаться, рассказываю парикмахерше об отце. Он был военный, в сапогах, у него была кожаная пахучая португепя и кобура с настоящим пистолетом. Моя мать сбежала от отца, но он знал, что нужен стране. Я стране не нужен, но и мне не нужна страна. Мне нужна вот эта дешевая парикмахерская, эта полная парикмахерша, у которой дом в Буче, куры, гуси и поросята, а здесь она ради пенсии; эта весна, цветущие вишни и мои воспоминания. Я нерешителен с детьми, робею перед Юлией, мне стыдно перед знакомыми. Я ничего не могу поправить ни в их, ни в своей судьбе, а слов нежности у меня недостает: я даже не способен признаться им в любви. Все казалось, что стану большим и тогда... Но вот скоро пятьдесят или уже пятьдесят? Парикмахерша барабанит расческой по моей голове.

– Какие у вас нежные руки, – говорю я.

– Неправда, – смеясь, говорит она. – У меня жесткие руки, мне все жалуются, а я не могу иначе, мне важно почувствовать чужую голову, я так лучше работаю.

– А мне нравится, – говорю я и краснею. Отчего я все время вру? От нежелания обидеть. Получается нелепо: глупцов хвалю за ум, бездарных – за талант, кривоногих – за изысканность фигуры. Но ведь это не важно. А что же важно? Бог? Нет, нет, нет! Бог – это тоже не важно, это даже смешно – определять важность Бога. И то, что у меня нет денег – наплевать. Важно, очень важно то, что, может быть, с этой весной, а может, от стыда за подлые ночные мысли, сегодня утром очнулась душа, обрадовалась и замерла от восхищения перед цветущими вишнями, парикмахерской и парикмахершей.

## ЧУДО

Я сижу в его новом «Бентли» за полмиллиона («Санек, ну надо же на чем-то ездить»), на заднем сиденье, забившись в угол, и выслушиваю замечания по фильму. Он сидит напротив, держит в руках длинный бумажный рулон, исписанный округлым почерком, и, не спеша, с паузами читает:

– Пункт пятьдесят второй. Музыка в конце четвертой серии. Чересчур трагично.

– Это Верди, – говорю я.

– Верди-шмерди, Санек, нужен музон полегче, усек?

– Хорошо, – соглашаюсь я.

Я соглашаюсь со всеми его замечаниями. Я знаю, кто их писал: президентша местной телекомпании, в прошлом – его девка, ненавидящая меня за свою бездарность. Она собиралась сделать этот фильм сама, запуталась еще вначале, затягивала процесс, доила мецената и вдруг пригласила меня. В деле я неприятен, лишних – не терплю, руководить мною нельзя. Помогать она не умела и потому стала мешать. Этот список замечаний – ее месть.

– Санек, я дал свое лавэ, – говорит меценат, глядя перед собой. – А ты подсунул мне фуфлю.

– Меценат, мацанат, – вспоминаю я каламбур. Не смешно. Мне он нравится. Я даже полюбил его за время съемок. В стране я не знаю никого, кто бы выложил бабки на исторический сериал о своем родном городе. Чувствую, что и я ему симпатичен. Но законы бизнеса нашей страны требуют своего: вывезти меня в лес и там грохнуть. Из милости он дает мне шанс.

– Я все исправлю, – говорю я.

– Ну все, может, и не надо, – он глядит на часы стоимостью три мои дома и ему неприятно мое непротивление. Мне тоже. Я иду в гостиницу, вспоминая, сколько картин уничтожил из-за своей слабохарактерности. Однажды беременная сценаристка потребовала вырезать ключевой эпизод фильма по идеологическим убеждениям. Я вырезал – картина развалилась. Слава Богу, она родила нормального ребенка. Еще была цыганская баронесса: «Если сдэлаеш плахой филм, мы тэбя зарэжем». Нет, я не испугался. Там был кураж. Мне самому из этой старой мымры-авантюристки захотелось сделать ясновидящую прозорливицу, почти святую. Я врал в картине безбожно, громоздил нелепость на нелепости, запутывал зрителя, смешил, огорошивал и добился своего, прости меня, Господи. Обманутый мною зритель не простит никогда. Следующим был фильм о президенте страны.

Я достиг вершин своей беспринципностью. Президент пил, ел, произносил, передвигался по стране, опять пил, закусывал, произносил и так до бесконечности. Однажды вечером он снял перед нами штаны и завалился спать. Да, он еще и спал.

– Съемки закончены, всем спасибо, – объявил я группе, собрал кассеты, положил на стол холую и попрощался. Наутро мне позвонили, (президент заметил, что чего-то не хватает), в трубку долго матерились, пообещали вывезти в лес, опять матерились... Трубку я повесил. Матерщинник, замминистра внутренних дел, в прошлом месяце бежал в Лондон, но отношения с властью, а следовательно, и с отечественным кинематографом я испортил навсегда. Надежд вернуться в большое кино у меня почти не осталось. А сегодня рушились мои отношения и с частным сектором. Я проклинал тот день, когда согласился заняться режиссурой. Это случилось еще в Москве. После года изучения сценарного искусства наши мастера почти хором воскликнули: «Ни один режиссер не возьмется ставить вашу всеобщую белиберду!» Курс у нас был еще тот, перестроечный: с перепугу набрали «гнилую овощебазу», а не нормальных бластных. «А вот мы сами и снимем!» – ответил один из наших. «Вот и снимайте», – сказали педагоги. Я-то не собирался ничего снимать (меня вполне устраивало мое воззрение на сценаристику: стол, ночь, зеленая лампа, горячий чай, принесенный женой, «пиши-пиши, милый»), но был обвинен в штрейхбрейхерстве: «Ты откажешься, они подумают, что мы слабаки и денег не дадут». Этот спор обошелся государству в сто тысяч. Через год нас объявили новой волной отечественной документалистики. Была слава, пресса, фестивали, призы, принципы. Куда все делось? И вдруг звонок.

– Благослови, отче.

– Бог благословит. Как дела, чадо?

– Хреново.

– Что случилось?

– Наезд по полной. Отснялся раб Божий Александр. Осталось квасом торговать.

– Я помолюсь за тебя, сейчас и помолюсь.

– А я водки выпью.

Может, я и утрирую (чувство юмора в таких случаях меня подводит), но черные мысли, душная ночь в чужом южном городе, мерзкий номер, предназначенный для спаривания отдыхающих – согласитесь, есть основания повеситься. Водка усугубила мою меланхолию. Кто ты такой? – спрашивал я сам себя. – Иуда от кинематографа. Сотоварищи мои – режиссеры, а я –

«примкнувший к ним Шипилов». Не православное это дело – кино снимать. На курсе из русских были только я и туркмен Овез. Где он сейчас? Овезушка, брат мой мусульманский, как мне не хватает тебя. Ты умел плакать, сейчас бы хором... Ик. Не много ли я пью, Господи? Где мой Ангел-хранитель? Сообразили бы на троих. Кому мне объяснить великое предназначение кинематографа? Где ты, моя жонка верная, детки родимые? А вот ни хрена не исправлю! Баста! Объявляю себя мучеником! Местнотимый святой от кинематографа Александр Ирпенский! Из всех искусств для них важнейшим является чеканка! Аллилуйя! Аллилу-уйя! Аллилу-у-у-у-у-у-у-у-у-уйя!

В полночь звонок. Дзынь!

– Санек, не спишь?

– Не-а, водку пью.

– Я тут в клубе пацанам показал, пацаны присели, в долю вошли. Ты гений.

– Отбил свое лавэ?

– Соображаешь. Но я и сам свежим глазом глянул – классное кино. Шедвр. – Менять ничего не будем.

– Это, ик, еще почему это? Я обещал – сделаю.

– Не надо, усек.

– Угу.

Утром я покидал этот город с чувством похмелья и ощущения Чуда, явленного мне ночью. Помилуй, Господи, великого молитвенника духовного отца моего иеромонаха Пафнутия.

## ПРЕДУЧУВСТВИЕ ДОЖДЯ

**В**збежать на радугу, пройтись чечеткой по дуге, на выдохе выкрикнуть: «Хорошо-то как, Господи!» Скатиться вниз, в сырую траву: «Родная, вот он я!» Нарвать буйной киевской сирени, явиться на рассвете: «С добрым утром, любимая!» Или душной ночью выйти на Днепр и с размаху, с разбегу в темные воды: «Ты носи меня, река, к морю, к небу, к облакам». Сердце любовью переполнено, вот-вот взорвется. То-то будет фейерверк. Прощайте, дамы и господа! Прощай, живая жизнь. Не помню обид: ни своих, ни чужих. Бог с ними. Куда теперь? В никуда. Вся жизнь – начерно, все – наспех; в поисках великой любви, искусств, идеалов. Ничего в себе не нашел и ведь счастлив, сукин сын, счастлив! Расхохочусь от щемящей боли в груди, все кончилось, все!



Боженька, отчего ты не говоришь со мной? А если говоришь, почему я глух? Что ты можешь показать мне, слепому? Почему мои слова замирают внутри и вырываются междометиями в молитве моей? Ты все мне дал, кроме разума. Безрассудны дела мои. Нужен ли я тебе, Господи? Неужто не было никакого замысла, и я – всего лишь результат пошлого соития моего отца с не любящей его женщиной, моей матерью? Отвечай, Господи. Нет, я не требую, потому как всегда без ответа. Кричи – не кричи, стучи кулаком по столу, молчание вокруг. Все слова не те.

Овод в комнату влетел, жужжит, о стекло бьется. Распахнул окно: «Лети, овод». Слышит ли он меня? Бьется и бьется. Другой бы метафору обнаружил, а я... «Дурак ты, овод». Обиделся. Прочь полетел. На великую речку Бучанку: по колено – глубиной и вширь – два метра. А вот ведь тоже несет свои воды, впадает в реку Ирпень, та – в Днепр... потом, глядишь, прольется дождичком где-нибудь в Гоби, на территории Монголии. Ну и кто это заметит? Найрамдал, господа даосы, привет вам из Ирпеня.

Почему я не речка Бучанка? Всегда чувствовал свое единение с природой, но все же речка – отдельно, поле – отдельно, небо – отдельно. Могу ноги намочить, пройтись, подпрыгнуть, замереть от восторга, и все. Уезжаю, возвращаюсь – плачу от умиления и привыкаю вновь. Иногда пробую описать, но не сравнить с оригиналом. Вот ведь писанина моя – вся из любопытства. Куда это вы, буквы, меня ведете? Предчувствую открытие и пишу, пишу... Вот уже и день прошел в домашних заботах, а лист не отпускает. Отчего? Внизу Матвей на дудочке заиграл, Софья запела и закашлялась, жена включила пылесос. А я на чердаке сижу, пишу, домовой этакий.

Жизнь пройдет, а я из вопросов так и не вылезу. Мне тут недавно орден дали: Преподобного Нестора-летописца третьей степени. После человек подошел: «Надеюсь, Александр Николаевич, теперь вы станете серьезнее». И я себя почувствовал нашкодившим учеником в кабинете директора. Господи, да они потому мне орден дали, чтобы не шалил больше. Есть у меня один знакомый режиссер, так он, когда по телефону звонит, представляется: «С вами говорит заслуженный деятель искусств...» Так что же мне теперь? Да вы знаете, с кем разговариваете? Да вы с кавалером ордена Преподобного Нестора-летописца третьей степени разговариваете!

Эх, заработать бы денег и поехать к морю, Сонькин бронхит залечивать. Детки мои любимые, жена распрекрасная, найти бы остров необитаемый. А ведь было, еще до вашего рождения. Утром лодочник отвозил нас на безымянный остров на Днепре, вечером – забирал. Мы были Адам и Ева. Мы были в раю: Александр и Юлия. Дай Бог вам того же. Ну вот и дождь пошел.

## МАМА

**К**ошу траву. Ложится на землю пахучей периной. Вокруг меня бегают дети. Им страшно косы, но норовят проскочить поближе. Хохочут. Матушка собрала веток, нападавших за зиму, разожгла костер. Вдруг гром: ба-бах! И ливень. Теплый, сверкающими струями – по траве, по листьям на липках, забарабанил по крыше дома. Ба-ба-бах! Май посередке. Стоим на крыльце, глядим на лес сквозь водяную штору козырька.

– Бабушка, твой костер потух, – показывает пальцем Матвей.

– Он намок, – объясняет Соня, – А не потух.

– Потух-потух.

– Намок.

– Мам, мы уезжаем. В Россию. Поедешь с нами?

– В Россию? – она задумывается. – Я понимаю, детям там будет лучше.

Образование и все такое...

– Поедешь?

– Нет. – Она качает головой. – Кому я могилки оставляю? В каждой по частичке моего сердца. Как же мне – без сердца?

– Жалко дом продавать. Вся жизнь мечтал, а теперь – вот.

– Ерунда, – говорит матушка. – Пожили здесь, поживете там. Вы молодые. Вам рано жалеть.

Я помню, как отец повез показывать мне свою женщину. От Брод до Львова километров двести. Мы поехали на старом служебном мотоцикле. Вечер перешел в ночь. Я дремал в коляске и слушал шум мотора. Пустое шоссе. Я и отец. Звезды на небе. Вдруг я услышал музыку. Огромный оркестр. Мелодия волнами то заполняла все вокруг, то затихала. Это была музыка вселенной. Сейчас я иногда прислушиваюсь к шуму мотора своего автомобиля, но это всего лишь шум мотора. Сонного, на руках отец внес меня в чужой теплый дом. Помню шепот его и женщины, нежные руки, раздевающие меня. А потом – утро. На спинке стула аккуратно сложены выстиранные, заштопанные и выглаженные мои подколенки, шорты, рубашка. Я стал одеваться и вдруг почувствовал взгляд. Женщина из кухни внимательно смотрела на меня.

– А где батя? – спросил я.

– В милиции. Ваш мотоцикл угнали. Пошел искать.

– Найдет, – сказал я и сел на стул ждать отца.

– Может, поешь? – спросила женщина.

– Без бати – не буду.

– А чаю?

– Чаю можно.

Чай был с жареной картошкой, с яичницей с колбасой, с творогом и сметаной.

Когда мы вернулись в Броды, наша холостяцкая квартира показалась мне скучной. Но все равно, это был наш дом.

– Рыжий, – сказал отец. – Я хочу с тобой поговорить, как мужчина с женщиной.

– Говори, – сказал я. Я точно помню, что сразу понял, о чем он хочет поговорить. Я сам об этом думал весь день и уже принял решение.

– Эта женщина... Лида... Как она тебе?

– Хорошая.

– Ты бы смог называть ее мамой?

Я отвернулся от него и вышел из комнаты. Все дело в словах. Если бы он спросил по-другому, например: «Я хочу жениться на этой женщине, ты не против?» Я бы сразу поднял обе руки. Но отец предложил мне предательство. Мы искали мать уже два года. Она ушла тайком. Это было унижительно для нас обоих. Тут была какая-то ошибка. Не знаю, чья. Нам необходимо было найти мать, и тогда все должно было проясниться.

Я молчал два дня. Вечером, к приходу отца я сварил картошку в мундире. Мы молча ели ее за столом, и тогда я сказал: «Я согласен. Пусть она стирает и готовит нам еду».

Вот так мой отец женился во второй раз.

– А ты помнишь, – говорит матушка. – Когда мы Артема регистрировали, ты отцу написал на бумажках: «Вовочка, Владимир, Вовка», и рассказал по всем карманам. Вот в загсе была умора.

– Нет, не помню. А почему Вовочка?

– Как Ленина, наверное. Ты тогда первый класс оканчивал, октябренком стал.

Могила Артема – это частица сердца матушки. Он покончил с собой. На надгробии матушка заказала надпись: «Посадил я деревце на душе, выжило». Ни матушка, ни отец не знали, чьи это слова. Просто Артем любил эту песню и часто пел. Автором был Генка Жуков. Мой ростовский приятель и поэт. Я как-то рассказал ему об этом. Он смолчал. Потом умер отец, отравился паленой водкой. Но матушка говорит, что оба они умерли от сердца.

Ливень вдруг кончился. Вышло солнце, все засверкало, запели птицы. Соня и Матвей нерешительно стоят на крыльце, и вдруг бабушка сбрасывает туфли и босиком бежит по траве.

– А ну кто за мной! – кричит матушка. Дети сопят, стягивают башмаки и носки и, с визгом, – к ней.

– Ла-ла-ла! Ла-ла-ла! Я птичка! Я птичка! – поет и прыгает по траве моя матушка.

– И я – птичка! – кричит Соня.

– И я, и я... – машет руками Матвей.

– И я тоже – птичка.

## СПАСАЮЩАЯ МИР КРАСОТА

**П**олтора гривенника стоила ее улыбка. А сколько вы дадите за худой, толщиной в мизинец, букетик первых ландышей? Но и улыбка ее была такой же вялой, бесцветной, безнадежно одалживающей.

Вот такой финал у этой истории. Бог знает, отчего он написался прежде всего.

В серый мартовский день Великого поста, когда холод идет снизу, от земли, а небеса, кажется, не раскроются никогда, студент с букетиком первых ландышей в руках стоял на трамвайной остановке и ждал свою возлюбленную. Ботинки его промокли, руки ооченели, кожа на лице задубела от внезапно налетавшего из переулка ветра, а нос...

Он скосил глаза. Нос уже из красного превращался в сизый. Угораздило же студента влюбиться в такую погоду. Трамвай сменялся трамваем, казалось, одним и тем же, время замерзло, и безответность любви была студенту очевидна: она (возлюбленная) была необыкновенно, недоступно хороша. Представить, что она его нежно окликнет, ласково прикоснется, тем более поцелует, было решительно невозможно. «В ней все, все изысканно, нет, не то: голос – спокойный и светлый, такой голос мог быть только у Богородицы до рождения Христа, походка – так ходят ангелы, устав от полетов. Мой ангел, – шептал потрескавшимися губами студент, – моя любовь спасает меня, не прав Достоевский: красота не спасет, она уже спасает этот мир: утонченная фигура, овал лица, шея, брови, нарисовать бы все упругой и плавной линией (студент изучал архитектуру), но главное (прости великодушно, читатель, за штамп, но так он думал), главное – ее темно-синие огромные глаза, а в них – бездна». И если на что и надеялся студент и чего хотел больше всего в жизни – заглянуть в них. В этой бездне глаз было все, весь мир, вся вселенная и что-то еще. Было даже место и студенту, ничтожное настолько, что себя он переставал ощущать и даже тело его, худое и длинное, с сосущей от голода болью под ложечкой, рас-

творялось в этой бесконечности. Все мысли его о любви к ней в этих глазах вдруг исчезали, и даже Бог, или это, может быть, были только мысли о Нем, но и Бог, его Бог вдруг оказывался ничего не значащей пустотой. В ее глазах студент вдруг становился ничто, но ничто становился и весь мир, и студент торжествовал от этого единства – именно это и влекло его к ней. И сейчас он твердо верил, что стоит ей появиться, взглянуть на него и холодное небо, лужа под ногами, коварный переулок, трамвайная остановка и он сам, все-все-все поглотят ее глаза. Это чудо студент не мог объяснить, впрочем, и не пытался, но всякий раз страстно желал его.

– Привет, – сказала она. Студент и не заметил, как возлюбленная вдруг с двумя подружками объявилась прямо перед ним.

– Здравствуй, – сказал студент и, пытаясь заглянуть в ее глаза, протянул ландыши. – Вот.

– Спасибо, – сказала она, не отрывая глаз от бледных цветов, и вяло улыбнулась. – У нас тут рядом лекция, мы опаздываем.

– Может, отойдут, – сказал студент, в душе проклиная полуторагривенный букетик, – если в воду, в тепло...

– Угу, пока, – сказала она и исчезла, должно быть, догонять подруг.

Незаметно пошел снег, мелкие снежинки прикасались к земле и таяли. Студент отстоял еще пару трамваев и побрел куда-то по ветреному переулку. Снег падал всю ночь, а наутро город, улицы, остановку замело, может быть, последним снегом в этом году.

## ЖЕНИХИ

**Я** готов, готов на ней жениться! – воскликнул Михаил не без обреченности. Он ждал наших аплодисментов, но мы безмолвствовали.

– Во-первых, что она будет делать с ребенком одна? Во-вторых, я люблю ее!

– Но почему одна, у нее есть муж Федор, очень хороший человек, – вступил в разговор Медвецкий, раскуривая трубку.

– Они не венчаны, – отрезал Михаил.

– А почему ты решил, что она любит именно тебя? – вдруг тихо, почти шепотом, произнес маленький Гоша.

Если возможна бесшумная бомба, например бомба с глушителем, то вот она, взорвалась – бум. У Мишки выкатились глаза из очков, Медвецкий зачесал затылок (через двадцать лет на этом месте у него появится плешь), я поперхнулся пивом. До этого момента, кажется, никто не смел

сомневаться в том, что Людмила влюблена в Михаила. Судите сами, с чего бы вдруг замужней обеспеченной женщине искать общества четырех нищих студентов. А Мишка Марцев был несомненным лидером; он был главным режиссером и ведущим актером нашего театра, все остальные на подхвате: Гоша Буренин отвечал за художественную часть, Казимир Медвецкий – за музыкальную, я заведовал литературой, то есть одобрял пьесы, предложенные главным режиссером. И пусть театрик наш был маленьким, факультетским, мы отдавались ему со страстью. Впрочем, мы всему отдавались со страстью: архитектуре, живописи, поэзии, музыке, пьянству и любви. Господи, как же мы любили друг друга, как заботились, обличали, печалились, радовались друг другу. Вчетвером мы были самодостаточны, как Господь Бог. И вдруг искушение – Людмила. Ее привел Марцев, какая-то неуклюжая, сутулящаяся (стесняющаяся своего роста), с сияющими глазами и всегда открытым в улыбке ртом. У нас появилась живая Муза. И вот теперь, минуя почти год нашей братской к ней любви, Мишка своей логикой уничтожил наше целомудрие: если она с нами – значит, любит кого-то из нас, а полюбить она может только лучшего, а лучшим был Мишка. Все складывалось. Но за то, что тебя любят – надо отвечать, и Марцев как всегда брал все на себя. Тихий вопрос маленького Гоши внес смятение в наши ряды. Не знаю, о чем чесал затылок Медвецкий, но даже я вдруг представил себя возлюбленным и не скажу, чтобы мне это не понравилось.

– Ну, во-первых, я – венгр, – вдруг перестал чесаться Медвецкий.

– А меня вообще девушки не любят, – вынужден был согласиться я с Казимиром.

– Тоже мне, Паниковский, – возразил Буренин. – Да вы посмотрите на себя. Вы молоды, талантливы, красивы.

Мы глянули с Медвецким друг на друга, а потом на Марцева. Н-да, красавцем Мишка был с натяжкой: кривые ноги, тараканьи усики, вдруг обнаруженная пучеглазость – уничтожали в нем конкурента.

– На сегодня заседание объявляется закрытым, – сказал Марцев и вышел вон.

На следующий день я встретил Гошу с Люськой под институтом.

– Мы едем за город, – сказал Гоша.

– Я с вами, – сказал я.

Помню лес с комарами, мы разбрелись и перекликались:

– Гоша-а-а-а!

– Люся-а-а-а!

– А-у!

Родник под деревом, пшеничное поле, отороченное васильками и маками, небо чистое, синее, знойное... Я задремал у дороги, проснулся разомлевший, поднялся и... увидел Люську, там – в поле, в золотом море пшеницы, она стояла обнаженная, распахнув руки солнцу, запрокинув вверх голову... И вдруг рядом с ней появился Гоша, он тоже был голый и не смотрел на солнце, он смотрел вокруг и, конечно, уперся взглядом в меня.

В город я вернулся один. Из дома не выходил, на звонки не отвечал. Я тогда еще не знал об этой удивительной особенности жизни: вдруг становиться пошлой, и я сам вдруг опошлил.

Гоша с Люськой потом поймали меня в институте. Гоша отвел в сторону для мужского разговора, потом присоединилась Люся, сказала, что, если я считаю нужным, они все расскажут Федору, что они вверяют свою судьбу в мои руки.

– Не надо Федору, – сказал я.

– Ты хороший, – сказала Люся.

Потом... Потом Гошка женился на Оксане, развелся, уехал в Ростов, опять женился и умер от цирроза печени. Марцев покончил с собой из-за безответной любви к рыжей пианистке. Люда жива, говорят, у них с Федором родилось еще двое детей. Казимир – в Будапеште, в архитектуре он мировая знаменитость. Две недели назад доктор объявил, что проживу я еще максимум пять лет. Ну и что?

## ПЯТЬ ЛЕТ

**В** кафе на Цветном бульваре сидели два человека: я и Головецкий. Не уверен, что напишу что-либо лучше этой фразы: «В кафе на Цветном бульваре сидели два человека: я и Головецкий». Хорошее начало для рассказа, произношу вслух: «В кафе на Цветном бульваре сидели два человека, я и Головецкий».

– Смесь Чехова и Хармса, – говорит Головецкий. – Напиши честно: «Сидели два человека: я и я», без Головецкого.

Я встаю из-за стола и объявляю: «Господа, выпьем за то, что мне осталось жить пять лет!»

Посетители не обращают внимания или делают вид.

– Скоты, – говорю я и сажусь на свое место.

– Хвастать циррозом пошло, – говорит Головецкий, но в глазах сочувствие, оно-то меня и раззадоривает.

– А я бы на их месте устыдился. Жить вообще стыдно, Серега, и этот стыд – страх Божий.

– Стыд – это стыд, а страх – это страх. Но если ты говоришь о религиозном чувстве, то я допускаю стыд за то, что утерян страх Божий.

– О, сколько вас, гордо несущих хоругви православия! Мне стыдно жить, Серега. Определи доктор мне три дня, я бы кинулся к Пафнутию в монастырь в глубоком раскаянии за прожитую жизнь, а так... На что мне эти пять лет? Закажи еще коньяку.

– А ты испугался, – говорит Головецкий.

– Ну да, поверил докторишке оттого, что в Бога не верю?

– Девушка, нам еще триста коньячку. Себялюбец, ты исключаяешь, что в ответ на твой кокетливый тост поднимется вон та блондинка и скажет, что ей остался год жизни, а этому толстяку – три, а юноша у стойки послезавтра погибнет в автокатастрофе, я надеюсь прожить еще лет двадцать, ну и что? Смешон будет только тот, кто объявит, что надеется прожить вечно, но это и будет правда.

Как мудр и светел друг мой Головецкий. Ему не поставят памятник, не назовут в честь его улицу, даже не повесят на его панельной многоэтажке бронзовую доску. Он бежит от славы, идет по жизни незаметно и не торопясь. Случился Чернобыль – Серега снял фильм о вымирающих от радиации жителях зоны, в Чечне – о расстрелянном батальоне, в Приднестровье...

– Снимал, что заказывали, – говорит он. – Но если бы дали орден...

Орден дали мне.

Однажды мы с ним вышли из бани, и вдруг в двухстах шагах резко затормозил автомобиль, из него выскочили двое и стали бить третьего.

– Подержи, – попросил Головецкий, сунул мне портфель с вениками и рванул к дерущимся. Когда я добежал – все было кончено: пешеход пытался благодарить, а Серега уже шел мне навстречу, вытирая снегом кровь с пальцев.

– Старую, – сказал он, – Не тот удар.

Мы продолжили разговор о драматургии. Серега пять лет сочинял пьесу и закончил сегодня, ожидая меня в кафе на Цветном бульваре: дописал последнюю реплику, традиционное – занавес и дату – 17 марта 2009 года.

## ВО – ВТОРЫХ

**У**

моего отца был старший брат. Дядя Леня. Он воевал. В пехоте. Пешком прошагал от Волги до Берлина. Так вот, дядя Леня мне однажды сказал, что в нашей жизни главное: во-первых – случай, а во-вторых... А вот что во-вторых – я не помню.



– Ты пряников поешь, – говорит Иван Жданов и протягивает мне кулек с пряниками. Мы сидим на кухне, пьем чай. Сумерки. Но свет не зажигаем. Из экономии. Пряники такие же, как в детстве. Мне их бабушка Катя покупала. «Прянички».

– Но историю дядиленину я запомнил. «Сорок пятый, восьмое мая. Идем мы по Берлину. Война кончилась. Идем легкомысленно: не в ногу, трофеем осматриваем, то есть то, что осталось от достопримечательностей. Пряма не рота, а экскурсия. Командир у нас необстрелянный, прежнего на подступах убило, а этот все «ать-два» норовит, мальчишка совсем. Мы его представлениям о доблестной армии победителей над фашистским гадом никак не соответствуем. Ну да Бог ему судья. Идем. Навстречу эмка с начальством. Лейтенантик наш: «Рота, – кричит, – запевай!» Понятное дело, показаться хочет. Что ж, шаг выровняли, воздуху в груди геройские набрали, и вдруг... ротному пуля в лоб – бац! Мы и встали. Эмка с начальством мимо проезжает. Ротный наш честь отдает. Стоим, не выдыхаем. Начальство проехало. Не дышим. Ротный вдруг лоб почесал, наклонился, пулю с земли поднял (салютная пуля была, на излете), глянул на нас, и спокойно так: «Запевай, братцы». Ну тут уж мы грянули, на всю Германию».

– Хорошая история, – говорит Иван и смеется.

– А началось-то, Вань, с чего? Я к дядьке случайно попал. Проездом в Питер, сценарий вез сдавать и вдруг сошел в Пензе. К ночи в Лунино добрался, а дядя Леня девять дней как жену схоронил. Гости то ли разошлись, то ли не было их, не спрашивал. Он мне в дальней комнате постелил. В избе, знаешь, как хорошо спать? Стен будто нет. Лето. Соловьи, лягушки всякие.

– Да знаю я, сам деревенский, – смеется Иван.

– Лежу и вдруг слышу: капли, вроде как по подоконнику, кап-кап. Но гулкие какие-то, с эхом, крупные и одинокие. Не могу заснуть. Выхожу на кухню, а там дядя Леня на табурете сидит, голову над цинковым ведром склонил, «Беломор» курит, туда же пепел стряхивает, и плачет: кап-кап. Молча. Меня услышал, слезы смахнул, голову поднял, улыбнулся как ребенок. Тут я его отвлечь от грустных мыслей решил:

– Давай, дядя Леня, я тебе свой сценарий прочитаю.

Ну стал читать. Под утро закончил.

– Н-да, – выдавил дядя Леня и заварил чай из смородиновых веточек. – Я тебе, племяш, вот что скажу: в нашей жизни главное, во-первых – случай, а во-вторых...

Щелк! Свет бьет по глазам.

– Ты смотри, восемь вечера, а уже тьма на дворе, – говорит Иван.

– А вот что во-вторых, я, Вань, забыл.

– Ничего, вспомнишь еще. Поешь пряничков – и вспомнишь.

## СРЕДИ НОЧИ

Раньше я бы это обязательно записал, не раздумывая: я постоялец гостиницы, спускаюсь вниз, на мне новый костюм цвета слоновой кости, белая рубашка, возможно, галстук, кажется, я поссорился с женой, хочется пить, направляюсь в бар, по пути обнаруживаю отсутствие денег (черт, новый костюм). В фойе толпятся молодые люди – съезд баптистов. Нет, хочется не пить – выпить. Проталкиваюсь к бару в надежде встретить кого-нибудь из знакомых. Хотя, откуда у меня здесь знакомые? И вдруг она! Мы были приятелями с ее старшей сестрой-продюсером. Юная девочка, тоненькая, рыжая, зеленоглазая, я был тихо влюблен в нее. Может, оттого и терпел ее сестру-продюсера, вечно болтающую об искусствах, выпрэнно, без Бога, атеистка. И вдруг, среди баптистской молодежи... но в том-то и дело, что уже не девочка. Как-то сразу сообразил: женщина, свежепотерянная девственность, только что сорванная роза. Мы радостно здороваемся, она знакомит меня с молодым человеком – тоже баптист, он мне противен. Хочется сказать ей, что она изменилась, но так и не придумывается приличная фраза, прохожу в бар – никого из знакомых, возвращаюсь в фойе – там уже концерт: пара танцует танго. Легкой походкой как бы присоединяюсь к танцующим (мои движения изящнее, чем у артистов) и исчезаю в дверях, срывая аплодисменты. Иду к лифту и тут сзади – рука на плечо: «Вы испортили выступление, вы...» Удивительно, что это тот молодой человек, сорвавший розу. Улыбаюсь и продолжаю идти, но не к лифту – к лестнице. Взлетаю на один марш, другой... Он преследует. На втором этаже на стремянке возится электрик. Останавливаюсь, бью молодого человека по лицу, хватаю за голову, опрокидываю на подоконник, под рукой отвертка, вижу, как бьется вена на его шее: «Слушай, ты, дефлоратор хренов»... Он молчит.

Потом был вечер, чужой город, трамваи, на площади под фонарем на лавочке одинокая стройная молодая женщина, не уверен, что жена, но какое-то отношение она ко мне имела. И афиша, на ней – танцоры танго и я. Оказывается, этот номер с отверткой был постановочным. Проснулся среди ночи от ритма танго, заварил чай, трам-та-ра-рим-там, та-ра-ри-ра-ра-ра, ритм не отпускает, прошел в ванную, убедительно высморкался, нет, это уже не сон, глянул в зеркало, как я резко постарел в этом году. И этот сон – сон стареющего мужчины. Вспомнил одного молодого сутенера: обязательно глупого молодого человека. Потом, в противовес, другого, у того была сеть борделей, холодный старый еврей. Тот, молодой, после бросил свое ремесло, уверовал и даже пытался учить меня вере. А что стало с

другим? Не знаю. Раньше бы я этот сон обязательно записал как ночное откровение, а сейчас, сейчас тоже записал, просто так, от любопытства: разглядеть между строк что-то еще. И это «что-то еще» есть, необходимо всего лишь прищуриться, но лень.

## ИЛЬИН ДЕНЬ

**Н**овый пономарь Свято-Никольской церкви стоит в алтаре во время обедни и думает вот о чем: «Кем я только в жизни не был? Грузчиком был. Рабочим на стройке – много раз. Чертежником – полгода, актером, журналистом и даже танцором в ночном клубе. А вот пономарем – никогда, слава Тебе, Господи!» Он широко крестится, но, почувствовав, что мысли его могут вызвать недоумение даже у самого Господа, вдруг произносит вслух: «Благодарю Тебя, Боже, за сотворение из меня пономаря!» И вновь осеняет себя крестным знамением.

– Тише, – шепчет в ухо новому пономарю дьякон, – сейчас подойдешь к батюшке – да стой ты – скажешь: «Благослови, владыка, прочесть святой Апостол», выходишь, встаешь перед аналоем, лицом к алтарю...

– Я помню, – прерывает дьякона новый пономарь.

– Ну, иди.

«Не забыть про ступеньку на амвоне» – думает пономарь. Ноги и руки у него дрожат, и к аналою он добирается как пьяный в глухую ночь к спасительному фонарному столбу.

– Мир всем! – возглашает батюшка откуда-то с того света. Новый пономарь, опершись на аналой обеими руками, неожиданно сипит:

– И духови твоему.

– Премудрость! – возглашает дьякон. В голосе его новому пономарю слышится небесная скорбь по себе. Он начинает судорожно искать закладки в Апостоле и икать одновременно. Взмокшей под стихарем спиной пономарь чувствует взгляды прихожан и неожиданно начинает по-бабьи причитать не свойственным ему до сего дня дискантом:

– Прокимен, глас седьмой. Возвеселится праведник о Господе и упоает на него!

Хор подхватывает и пономарь от удивления, что попал, оглядывается на клирос.

– Услыши Боже глас мой всегда молитися к тебе, – кричит он певчим с благодарностью.

– Возвеселится праведник... – отвечает хор радостно. И в самом деле,

как-то весело становится в церкви и на душе пономаря одновременно. В утверждении этого нового чувства он почти поет:

– Возвеселится праведник о Господе!

И вот уже вся церковь зазвучала:

– И уповаает на Него!

«Уповайте, братцы, и я не подведу, – думает пономарь, – вот и закладочка нашлась».

– Премудрость! – доносится из глубины алтаря.

– К римлянам послание святого апостола Павла чтение!

– Вонмем.

– Братие!.. – восклицает новый пономарь, почувствовав в себе силу, если не апостола Павла, то Минина и Пожарского, объединенных смутой в одном своем вспотевшем лице, при этом он оглядывается на стоящих вокруг старух и женщин с детьми и чуть было не добавляет: «И сестрие». Но скрепяется и читает отрывок из Апостола без запинок, в конце заголосив басом так, что мелькает мысль о возможном сотрясении мозга:

– Бо-о-о-г возставит его-о-о-о!!!

– Мир ти, – выдыхает батюшка в алтаре.

– И духови твоему, – выдыхает пономарь у аналоя.

– Аллилуйя! – выдыхает хор.

– Благословен Господь Бог Израилев, – пономарь захлопывает Апостол.

– Яко посети и сотвори избавление людям своим, – пономарь отходит от аналоя и уже перед алтарем завершает распрямившись:

– И ты, отроча, пророк Вышняго наречешься!

Ах, как светло и хорошо на душе у пономаря. Ведь смог! Дал Бог! А сил-то сколько прибавилось! Так и распирает. «Все могу! Дайте мне прокаженного – исцелю, бесов изгоню, скорбящих утешу...» На причастии он с любовью утирает платком губы прихожан, но дай ему волку: расцеловал бы каждого.

Вот и службе конец. Хромоногая псаломщица благодарственные молитвы читает. Пономарь, сияя лицом и золотом стихаря, несет корзину просфор к церковной лавке. «Родные мои, любимые братья и сестры, какое чудо сотворить для вас? Милый звонарь, сыграй сегодня вальс на колоколах. Я буду танцевать, и танцевать не один. Служба кончилась. Бом-динь-дон! Бом-динь-дон! Вальс! Сейчас я подойду к нашей псаломщице: «любезная Елена Ивановна, прошу вас». Старушка отбросит в сторону свои костыли, изобразит книксен, я почтительно поклонюсь, и мы закружимся посреди церкви, раз-два-три, раз-два-три...»

– ...слышу, орет кто-то, будто режут его, смотрю – а у нас новый пономарь! Мне две просфорочки, матушка. Спаси Господи.

Но наш герой не слышит ничего. Он стоит рядом у церковной лавки, закрыв глаза, улыбается и танцует, танцует...

## ЗАВТРА

**Я** не знаю пути, который не приводил бы меня к бессмысленности. Но, если по Лескову: «Нет смысла в делах Божьих», то у меня есть надежда. Господи, хоть бы язык обрести, самому себя объяснить. Но не нужен мне мой смыслик, мое человеческое, тараканье, скучное, мирское и чужие смыслики мне не нужны. Ура абракадабре!

В поезде Саратов–Москва в плацкартном вагоне на верхней боковой полке закрыл глаза и вдруг увидел Божьи авоськи. То, что они Божьи, понял умом, а сами авоськи явственно разглядел в темноте: в них люди, плачущие от обиды на себя и я среди них (как же не плакать – вот он, Бог, где-то рядом, и я знаю теперь, вспомнил, каким я должен был быть, а стал каким?). И вот висим мы в этих авоськах между небом и землей и плачем. Сами какие-то темно-коричневые и слезы наши маслянистые, как нефть. Рядом – вижу – пустая авоська, значит, выплакал человек всего себя, ничего не осталось, а может, и не было, и вдруг дальше, в другой авоське – младенчик, розовый, чистый, светится. И легко стало на душе, вот что слезы творят! Сполз с полки, Петровича разбудил. У Бога, говорю, есть такие кошелки... Какие такие кошелки, когда авоськи видел? Все напутал, врать начал, смысл человеческий придумывать. Или вот еще, говорю Петровичу, чтобы оправдаться, – Ангела съест нельзя, а беса – можно. Бесы – они маленькие, как блохи, все норовят на пищу скакнуть, чтобы в человеке осесть, а потом выходят с отрыжкой или с другой стороны, по запаху легко определить: воняет, значит, бес вышел. «Н-да, – сказал Петрович. – Сейчас Тамбов будет, давайте пива возьмем». Взяли пива, преломили кулебяку, Петрович то и это перекрестил со значением, смысл обнаружил, а какой тут смысл, кроме пука с отрыжкой?

## ДВА МОНАСТЫРЯ

**Т**ри часа дня. Духовное чадо иеромонаха Паисия в ожидании исповеди отдыхает в Церкви Всех Скорбящих Радосте.

– Опаздывает батюшка, – сверяет свои часы с боем Лаврской колокольни Духовное чадо и утирает потное лицо широким платком.

– Вы что-то сказали? – услужливо обращается к нему дьячок, пронося мимо крещенскую купель.

– Жарко тут у вас, – говорит Духовное чадо и располагает свое тучное тело на лавке у окна. – Крепкая работа, – оглаживает он рукой лавку, замечает тройной стеклопакет в окне и удовлетворенно хмыкает. На улице бабье лето. Паломники и туристы снуют по Лавре, наполняя церкви и пещеры суетой, а тут – никого... Церковь Всех Скорбящих Радости в закутке монастыря. Добротный резной новый иконостас, свежие росписи, паркет. Основательность Божьих угодников радует и успокаивает Духовное чадо отца Паисия.

– А вот вторая кулебяка была лишней, – вздыхает он, вспоминая монастырскую трапезную. – И вообще напрасно я искуссился дешевизной, надо будет на исповеди упомянуть грех чревоугодия. – Еще вспомнилась многодетная семья, обедавшая напротив. Они взяли четыре борща на семерых, хлеба и узвару. Стройным хором пропели «Отче наш», детские голоса особенно растрогали Духовное чадо.

«Педагоги или ученые», – подумал он, глядя на худых и бледных родителей. На прошлой неделе видел на рынке торгующую носками преподавательницу своей дочери по фортепьяно и чуть было не купил у нее пару. И здесь, заметив короткие взгляды детей на свой заполненный снедью стол, он вдруг представил, как достает из портмоне сто, нет, двести долларов и кладет перед ними со словами... Но слов он так и не нашел, поэтому от жертвы воздержался.

– Все-таки нужен стране средний класс, – размышляет он в ожидании отца Паисия. – Есть какой-то экстремизм в этом: либо Богу, либо мамоне. Вот заработал немного и в Церковь принес – Богу. Наше православие все в крайностях: либо черное, либо белое. У католиков между черным и белым – серое – средний класс. На том и стоят. А у нас или холодный, или горячий. А мы вот теплые, с нами удобно, прочно, как на этой вот лавке. Не скрипит, дубовая что ли?

Ленивой критикой православия Духовное чадо гонит от себя сон. Взгляд его упирается в западную стену церкви, где, вместо ожидаемого страшного суда, он обнаруживает сонм Печерских святых. Все лики на одно лицо и если бы не надписи на нимбах: Марк – гробокопатель, Иоанн – многострадальный, Афанасий – затворник... «Эх», – вздыхает Духовное чадо, на всякий случай крестится и вновь смотрит на часы.

– Целебник, просфорник, канонарх, молчалник, а вот где мой духовник? – сокрушается он и неспешно идет прочь из церкви. Каково же его удивление, когда на паперти он видит отца Паисия, вертящего головой на худой шее по сторонам.

– Благослови, отче, – снисходит он к монаху, недоумевая, как это ему Бог послал такого щуплого духовника. Да и не Бог вовсе, епископ назначил, чего в чужой монастырь со своим уставом...

– Я тебя уже полчаса ожидаю, – укоряет он отца Паисия.

– Простите, чадо Александр, а я здесь вот стою, не догадался наверх подняться, простите.

– Ну ничего-ничего, пойдём.

Исповедуется чадо Александр долго и обстоятельно, порой замолкая, крякая от недовольства собою, будто ломая заторы из грехов в узком течении своей души.

– Ну вот и хорошо, вы ведь все понимаете, – шепчет отец Паисий.

– Понимаю, отец.

– Каетесь.

– Ох, каюсь.

Отец Паисий накрывает голову чаду Александру епитрахилью.

– Господь и Бог наш, Иисус Христос, благодатью и щедротами Своего человеколюбия да простит ти, чадо Александре...

В темноте под епитрахилью Александр вдруг ощущает нечаянные слезы в глазах. Он жмурится, и тогда перед ним возникают лица Печерских святых: Антоний – преподобный, Агапит – целebник, Спиридон – просвирник, Алипий – иконописец, Евстратий – постник, Никола – святоша, Пимен – многоболезный... все они такие разные. И вдруг Александра пронзает ясная простая мысль: во вселенной не одна, а две Лавры. В одной – он с паломниками и туристами, в другой – монахи, живые и умершие, здесь они живы, все живы и все в трудах праведных. Агапит исцеляет, Алипий правит иконы, Нестор пишет, Григорий творит чудеса. Им нет отдыха и после смерти, но и усталость у них иная, чем в миру, и отец его духовный Паисий среди них.

– ...и аз недостойный иерей Его властью мне данную прощаю и разрешаю тя от всех грехов твоих, во Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Благословившись на завтра причаститься, чадо Александр достает кошелек, думает, какую жертву оставить иеромонаху ради Христа, замечает прыщ у него на щеке и дает двадцать гривен.





Ο ΤΑΝΕ

1. На той стороне озера был лес, а на этой – камыш с ярко-желтыми ирисами у берега и село вдоль дороги. Таня с Юлией идут рядом, так что тропинка вьется между ними. Я – следом. День солнечный, ветер свежий (с утра был дождь), белые хаты с огородами, пятнадцать дворов – вот и все Белки.

– Здесь живут поляки и украинцы, – долетает до меня. – Раньше праздновали две Пасхи: католическую и православную, ходили в гости и поздравляли друг друга. А церковь – одна, служили в очередь.

Таня с Юлией одного роста, ветер треплет им волосы: русые – Тани, каштановые – Юлькины. Идут они в ногу и в общем – будто сестры: Таня – старшая. Но детей у нее нет. Юлия даже не знает, была ли она замужем? Удивительно, но нам обоим это кажется не важным. Представить Таню мужней женой просто: в ней ничто не переменится. Таня вся излучает тихую радость и ясный покой. Вопрос «почему она одна?» кажется мне пошлым, как палатки туристов на том берегу озера. Таня живет на этом.

2. Ветер вдруг стих. Небо высокое, прозрачное, на нем облака огромными варениками: Welcome to Ukraine! Для меня все украинки в молодости чем-то похожи, как женщины с крашеными волосами: блондинки, рыжие – все равно, но тут искусственность, а в украинках – природа, пока замуж не выйдут, все на одно лицо – иконописное. Потом от мужа впитают индивидуальные черты, но главное – утратят. Юлия до замужества была Евой: упругой самодостаточной целиной. Нервность и мягкая женственность, даже какое-то безволие тела и мысли появилось в ней позже. Я стал ее сеятелем (ежегодным, еженощным). Иногда в ней просыпается прежняя молодая прыть, и вся она чудесным образом омолаживается. И это природа (при родах): упругое, стонущее из-под земли, жаждущее, требующее своего и вдруг – безразличное, мягкое, уснувшее...

3. Моя жена – иконописец, Таня – ее коллега. Не знаю, применимо ли это слово к иконописи, профессия ли это? Однажды взял кисть, навыки академической школы сохранились, и решил написать Богородицу, получилась распутная девка. А Татьяна еще и ювелир. «Красавица, ювелир, иконописец, подарок для Головецкого», – говорит Юлия. Скоро будет восемь лет, как она пытается женить Серегу. Головецкий приедет из Москвы через неделю, как продолжение сюжета о Тане.

4. Что если моя литература – оправдание искушения? Нет, слишком просто и замкнуто. Возможно, что литература и есть искушение? Что тог-

да? Самооправдание литературы? В этом случае она вырастает в древнее чудовище, требующее себе рабов, пожирающее их, прославляющее их, потому как без славных рабов оно ничто. Виват, чудовищу и вечная память рабам его. Литература как альтернатива Евангелия? Нет, не то. Попробую разобрать на собственном примере. Я долго ставил опыты над собой, в какой-то момент (женитьба на Юлии) эксперименты над жизнью перенес в область литературы. Но и тогда, когда прививал себе все возможные пороки, на полях биографии пытался записывать кое-что, и бывали удачи. Борьба личности и индивидуальности человека, при условии, что проявление личности – есть степень приближения к Богу, могло бы быть замечательным определением литературы, если бы не казалось сухой формулой. («Если вам что-то кажется, значит, так оно и есть» – Андрей Битов со слов Головецкого). А что если литература – проявление текста? По аналогии с иконой. В идеале иконописец в посте и молитве не пишет, а проявляет явленное ему на доске. Все попытки мои определения литературы наукообразны и не более. Сам-то я зачем пишу? А черт его знает. Но после удачи, порой и мнимой, душа ликует. И несу радость Юльке, чувствуешь, любимая?! А чувствует ли она? Не сомневаюсь, что чувствует, но, скорее, не от текста моего, а от моей радости по поводу рожденного текста. Я торжествую победу, пусть ей неведом враг, он не коснулся ее, я – защитил, victoria, Юлька! И вот жена моя, плоть от плоти, половина моя сорадуется мне. Муж вернулся с войны почти здоровым. Вот оправданье графомана. Чем мне обрадовать тебя сегодня, жена, кому отмстить, кого сразить, а хочешь, так саму литературу повергну к твоим ногам? Улыбнется, оторвавшись от Лескова, Чехова, сегодня Вампилова. «Слава тебе, Аника-воин, разлюбезный супруг мой Александр Николаевич. Поезжай-ка ты к святому колодцу да набери воды. Не варить же суп на обычной». И это не метафора. Счастливый, мчусь к колодцу выкопанному чудесным образом, гонимыми в тридцатых годах монашками. (Кругом вода известковая на глубине не менее пятнадцати метров, а тут – чуть копнули и родник забил). Черпаю оцинкованным ведром в самое нутро, расплескиваю в пластиковые бутылки и благодарю Господа за все вокруг. Пройдет время, прогляну, что написал: ну рассказ, ну сценарий, есть достойные места, а чего радовался то так? Но вдруг опять зуд в душе, а попробую-ка я еще раз! И пишу, пишу, пока опять не зазвучит, не восторжествует строка и не победит меня... А ведь написалось, проговорилось случайно, вот оно! Вот чего я истинно жажду в литературе: победы Слова надо мной! Слово победило меня, и я опять уверовал в Господа! И этого поражения я жажду! Вот оно, мое открытие литературы! Аллилуйя! А значит, отложим лист и предадимся суете,

покуда омиршвлeнная душа не потребуeт, задыхаясь: «Духа Святага, Господа животворящего, победы Слова надо мной отдельно взятым литератором!»

5. Сегодня я знаю ответы на все вопросы. Вот что такое кинематограф? Кинематограф – это последний взгляд на мир, взгляд человека, восхитившегося миром. Запомнить его таким удивительным и проститься с ним навсегда. Там кино не нужно. Жаль. Может быть, на память еще раз взглянуть. На память. И уйти в восхищении.

6. «На той стороне озера был лес, а на этой – камыш с ярко-желтыми ирисами у берега и село вдоль дороги». Антон Палыч рассмеялся. Негромко. Внутрь. Странный смех Чехова: в себя, чтоб не расхохотаться, и не зайтись в чахоточном кашле. В ярко-желтых ирисах явный Чехов. Явление Чехова в Белках. Все на этом берегу из литературы и кино прошлого века. Общий план: дети, бегущие вдоль берега наперегонки, две женщины у воды, спокойный диалог.

– А сейчас что?

– Они умерли. В один год. Сначала католический батюшка, потом – православный. Церковь пустовала, но недолго.

Я больше не желаю жить кинематографом. Я хочу жить.

7. А она хохочет, душа моя. Не я, не я. У меня на это ни ума, ни опыта. С чего бы ей хохотать? В первый раз – в утробе, потому и родился недоношенным. И тут же в кровянице, пуповину режут – хохочу. Мать от меня отказалась. За что, матушка? Не над тобой, потной и раскоряченной, младенец смеялся. От радости душа моя хохотала. По крайности все: там, где другой улыбнется светло, я – зальюсь хохотом, до смерти расхохочусь. Странно, что не умер. Но и умирать буду – слезу умильную пуцу и расхохочусь – не выдержу. Юлька, любимая моя единственная, терпит мой смех. Еженощное наше соитие я оглашаю хохотом, ржанием, в конвульсиях бьюсь, в аллилуйя заливаюсь. Такую вот душу Бог послал. В лесу, в поле, в море заплыву подальше от берега и хохочу в небеса. Людей бегу с детства. Еще на похоронах прабабушки Анастасии Ивановны трехлетним младенцем был отшлепан родственниками: «У ребенка истерика», – а я от радости, что бабушка перед смертью мармелада поела, одно желание было – мармелад, съела и отошла. С тех пор скрываю, корчусь в гримасах, но молчу. Если уж совсем больно, срываюсь: зубы рвут – хохочу, пузо режут, ну не смешно ли, наркоз не подействовал, зачем, дурак, с вечера водку пил? Удача, когда

анекдотом прикроюсь, но ведь поди вспомни в самый неподходящий момент. О, сколько их, обиженных моим неприличным смехом.

8. Комплекс оставленного матерью ребенка сидит во мне самозванцем до сих пор. От каждой женщины я ждал предательства. Так и происходило. Женщины оправдывали мои ожидания, так что предательством это можно назвать с натяжкой. Приблизительно раз в полгода мне снится кошмар, в котором Юлия уходит от меня к другому, а сегодня, наконец, это приснилось и ей. Я знаю, что она уйдет внезапно, как ушла моя мать от моего отца. Вдруг вспыхнет страсть, как пожар, наводнение, извержение вулкана, но только для меня это окажется катастрофой, для Юлии и ее любовника – живой жизнью. «Я только сейчас начала жить!» Я это уже слышал от других. Но повтор не преуменьшает катастрофу. Итак, я живу в постоянном страхе потерять свою жену. Господи, как я похож на своего отца, во всем. Вдруг прорвусь хохотом, громким баритоном, и оборву, будто спохватившись. Совсем как отец.

#### 9. Натомберегуозерабыллес...

10. От напряженного ожидания волной накатывает усталость, и я тону в апатии. Нежелание жить – чувство, если это можно назвать чувством, которое я испытываю последнее время постоянно. Нет, не бесцельность существования. Причин для жизни предостаточно: растить детей, любить жену, работать, возлюбить ближнего, Господа... а желания нет. Меня постоянно тянет в сон, а я хожу, говорю, производжу продукт, все получается неловко, оправдываюсь, извиняюсь, при этом жду, когда можно будет незаметно уйти и поспать. Сны мне не важны, лучше вообще без сновидений, но меня будят, с трудом скрываю раздражение: ах, оставьте меня, я же вас не беспокою. Толстею. А сновидений мне хватает в жизни: смотрю во круг и вдруг, как открытие – это я сплю. Но это не мой сон, все они живы и бодрствуют – но я сплю, тут парадокс, принимаемый на веру. Однажды мы с моим приятелем романистом Лехой Евтушенко так напились, что заблудились в родном городе. Среди ночи Леха, заядлый в ту пору турист, предложил соорудить шалаш и заночевать где придется. Шалаш мы выстроили хилый, сквозь него просачивался мелкий дождь, потом открылись звезды, а под утро я проснулся от вздоха открываемых троллейбусом дверей. Из окон на меня глядели пассажиры. Свой шалаш мы выстроили на троллейбусной остановке. На выдохе двери закрылись, и бледные чужие лица уплыли в неизвестность. Вставать не хотелось. Жить не хотелось. Нет, не было отвращения к миру или к себе, просто не хотелось и все.

11. Сказать, что я схожу с ума и все, будет неправильно. Я схожу с ума от беспомощности в оправдании себя, мира, Господа. Пишу и что? В эту минуту там – насилуют, а там – убивают, там... и все это я вдруг чувствую, почти вижу, мозги скукоживаются, не успеваю написать строку, а в мире уже случилось преступление, чем медленнее пишу, тем больше их укладывается в одну мою строчку, всего в одну строчку! Я схожу с ума! Заткнуть-ся и снимать?

12. Володя Поворознюк – хирург в Охматдете. Вваливаюсь в его кабинет с камерой. Он мягко останавливает.

– Покури пока.

Осматривает девочку, рядом женщина с тупым взглядом.

– Здесь больно?

– Больно.

Володя выходит ко мне покурить.

– Девочке шесть лет. Отец изнасиловал. От влагалища до заднего прохода все разорвано. Девочка не понимает, что случилось. Мать тоже. Если бы не жалобы девочки на боль, не привела бы.

Он будто извиняется, что не дал мне снимать.

– Эта женщина, ее мать?

– Да.

Почему вдруг вспомнилась эта девочка? «Больно, дядя». Не знаю. Сколько кошмаров способна вместить моя память? Попохочем? Что такое ваша литература, кинематограф? Скрепись, душа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ну вот, фух, вроде попустило. Я ничего не чувствую, не хочу чувствовать! А в Приднестровье? Аккуратный ряд трупов под простынями. Пожилая женщина ищет мужа или сына, приподнимает простыню, долго вглядывается, жара, лица распухли, и находит. Сын. А те двое, что принесли в госпиталь мертвого друга. Доктор вылечит. Не вылечил, твою мать.

13. На том берегу озера... Татьяна, вот кого не посещают мысли о самоубийстве. Головецкий не то. Как-то позвонил мне.

– У тебя дождь идет?

– Идет.

И здесь тоже. Представляешь, переходил улицу, и вдруг подумал, хоть бы под машину попасть.

Сергея решил сделать сценарий по моим произведениям. Попросил меня описать всех моих женщин. А ведь ему плевать, какими они были на

самом деле. Да и сам я этого не знаю. Были – точно, четыре с половиной. Четыре с половиной женщины.

14. Жажда веры бывает причиной самоубийств. К Богу человек тянется, как растение к солнцу. Но Христос сказал: «Оставь все свое».

– А что у меня есть? – рассудил человек. – Пошлые мысли, мелкие чувства, они мне и даром не нужны.

– А тело? – шепчет дьявол. – Похотливое тело твое, разве оно не мешает тебе? Оставь его.

И человек лишает себя тела, уничтожает его. Поверил человек, да не тому. По себе знаю.

15. – Ты уходишь?

– Да, – я спокойно собираю вещи.

– Навсегда?

– Да. Прощай.

И тут вдруг – бац в обморок, поперек коридора, не пройти. Аккуратно переступаю, закрываю дверь за собой, спускаюсь по ступеням. Господи, как хорошо. Весна. Иду по улице. Я – девственник! Этих блудливых полгода не было. Это был бред, теперь я выздоровел. Здравствуй, жизнь! Здравствуй, сирень, я не заметил, как ты расцвела. Не сходить ли в кино, не выпить ли пива? Не влюбиться ли? «Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбочив и рад...» Моя первая женщина оказалась стервой! Стервой! Когда через два часа я возвратился, она лежала на кровати и любовалась своей высоко поднятой ногой.

– Приготовь ужин, дорогой.

Странно, что у меня не возникало мысли о самоубийстве. Повесился же Марцев от неразделенной любви. Тут тоже парадокс. Мишка вернулся с этюдной практики, он был лучшим среди нас живописцем, и со всеми холстами и картонами приперся к своей платонической возлюбленной.

– Это все тебе, выходи за меня замуж, – разложил он перед ней на полу свои пейзажи. Она смотрела на все недоуменно, потом отвернулась к окну и захлопала носом. Мишка гордо хмыкнул. Он был польщен. Дар оценили.

– Понимаешь, Михаил, – сказала она, не поворачивая головы. – Месяц назад мы расстались в ссоре.

– Ерунда, – сказал Мишка.

– Нет, не ерунда! – обернулась она с вызовом. – Я потеряла девственность, – и тут стусевалась, – с одним музыкантом.

– Вы ее вдвоем потеряли? – почему-то спросил Мишка и стал, не спеша, рвать свои этюды.

– Нет, у него был некоторый опыт. Но виноват ты. Ты бросил меня. Ты эгоист!

Мишка замер с разорванным картоном в руках, обвел прощальным взглядом свою живопись, где каждый мазок, по его мнению, кроме скипидара и масла, был пропитан чувством глубокой платонической любви, и тихо вышел вон. Через четыре часа он повесился в сортире на своем брючном ремне. Согласитесь, что вешаться, после Мишки, было пошло. А если бы у меня был пистолет, то я бы расстрелял всю обойму в свою первую женщину. Но я женился на ней. Из благородных побуждений. Так казалось. На самом деле – от отчаяния.

– Будем дружить семьями, – утешил меня Буренин. Гошка женился недавно и был счастлив. Ксюша была красива, умна и не любила Буренина.

– Понимаешь, – объяснила она мне, – любовь – это не тогда, когда люди глядят друг на друга, а когда они глядят в одну сторону.

– Ну да, – согласился я и вспомнил триединый профиль Маркса-Энгельса-Ленина. Ксюша ненавидела советскую власть.

«Странно, – думал я, – как тут возможны чувства?» А что любил я? То же что и все: запах сирени, летний ливень, шуршание листьев под ногами и то чувство, которое переполняло меня при этом: жизнь вдруг замедляла свое течение, останавливалась и рождалась строка. Я никогда не определял это как вдохновение, но это было оно. И я писал стихи. Я и в Катю-то влюбился из-за снегопада, утром, после бессонной ночи плотских утех. Воскресенье. Город еще спит. Я стою на улице, она – на балконе. Снежинки тают на лице. Счастье. Тишина. Первый снег. И тут вдруг я почувствовал позывы в животе, точнее – в прямой кишке. Куда? Вернуться к ней? Ну уж нет. Гошка! Это рядом: пять-шесть улиц. Я почти бегу. Влетаю в подъезд. (У него первый этаж.) Долго стучу. Взмок от напряжения. Он, наконец, открывает – голый. Я еще удивился, что у маленького Гоши такой большой член.

– Можно к тебе в туалет, – это вместо здарсьте.

– Там Ксюша моется, – у них совмещенный санузел.

– Извини, – я выбегаю из дома, озираюсь по сторонам и чувствую – поздно. Снегопад кончился. Высыпали люди из домов, такие радостные. Может быть, тогда я и решил жениться на своей первой женщине.

– Вот и будешь всю жизнь хлебать тухлую похлебку, – сказал отец после того как я объявил о своем желании. Да, Катя уже была пару раз замужем, ну и что?



– Дряннь, – сказал отец после ее посещения.

– Не смей! Не смей так говорить о моей возлюбленной! – Отчего в гнев я всегда перехожу на высокий стиль?

– Хлебай-хлебай, – отмахнулся, как от больного, отец. И я хлопнул дверью. Он был прав. Она не стояла даже строчки воспоминаний. Здесь вдохновения вина. Оно не отступало. Стою на трамвайной остановке, туфли промокли, хочется есть, и вдруг поднимаю голову – вижу дом напротив, а над ним, за ним – дерево с обнаженными хрупкими веточками. И меня переполняет нежность ко всему миру. Господи, как хорошо. Правильно, что древние греки запрещали поэтам жениться.

А стихи я писал плохие. Вот Буренин – да. Он был художник и поэт. За что и угодил в сумасшедший дом. А мой младший брат сойдется с его женой. На вопрос: «Зачем?» Ксюша ответит: «Он так похож на тебя». По неволе задумаешься о католиках, которые так долго сомневались в существовании у женщины души. Начать бы все сначала. Бежал бы от них к той единственной и берег бы ее от всех и вся, и попытался бы спасти: ее, Гошку – он умрет от белой горячки, брата своего – он выбросится из окна, Мишку... Они не выжили. И тут вдохновение покидает меня, и вспоминать о своей первой женщине мне уже не хочется.

16. Юлька научила меня жить без цели, сегодня утром проснулась и укусила за нос.

– Поедем в Белки?

– Зачем?

– Там Таня.

– Дождь идет, слышишь?

Где эти Белки, Юлька точно не знает, догадывается, что где-то в Макаровском районе на юге. Оказалось, на севере. На карте Белок нет. Едем. Дождь, поля, леса, реки... проехали.

Опять реки, леса, поля. Дождь прошел.

– Таня посоветовала, чтобы белила были ярче, добавь лимон. Я добавила – и ничего. Оказывается не лимон, а лимонной краски. Тебе неинтересно?

Юлька права, мне это не нужно, но я люблю ее разговоры о пигментах, левкасах, прорисях, плави, золочении. Икона стала для меня опорой в кино, в литературе. От иконы исходит свет. А что от моего кино? От литературы? А вот и Белки! Катимся по шоссе вдоль озера, на мосту, у старой мельницы, стоит Таня.

– Здравствуйте, Таня.

17. Какое все-таки чудо – литература! Все прожитое без труда поддается записыванию. Все записанное превращается в другой мир, где даже знаки препинания не имеют ничего общего с прожитым. Почти все написанное мной не было литературой. Сейчас уже литература для меня начинается не в подборе слов и выбрасывании их на бумагу, в надежде застолбить мысль, в этом нет необходимости, поймать течение мысли, поплыть по ее реке, слиться с рекой, а не перегородить ее словами – вот главное. Я охапками бросал слова в эту воду и, оставшись без слов, сам вошел в нее. И нет меня, есть Великая река, мысли, литературы, жизни, неважно, я плыву, смотрю на звезды, прикасаюсь к отмели, бьюсь о камни, падаю водопадом, но это уже не я. А до того я строил мосты из точно подогнанных друг к другу слов, из обструганных предложений, пропитанных драматургией. Но вот мост готов, я – архитектор, можно перейти на ту сторону, там тоже твердь, но главного не почувствовать – реку, ее течение, прохладу или обжигающий холод воды, в ней уже не утонуть. Мост – для не умеющих плавать, для нетерпеливых. Но, ей-богу, даже по льду – интереснее. Ступил и лед вдруг загудел, отозвался, пополз стремительной трещиной из-под ног, страшно, но так и должно быть – страшно.

18. Три тетушки, три светловолосых зеленоглазых феи встречают нас у ворот. И надо угадать, кто из них Танина мама.

– А вот и нет, – рассмеялись и голоса у них одинаковые: звонкие бубенцы.

– Мы рыбки наловили. Вы в дороге, вам можно не поститься, но рыбка вку-у-усная.

И вдруг вокруг запахло жареной рыбой, с хрустящей корочкой, с сочной мякотью под ней. Ах, как рыбки захотелось. И чтоб лимон ярко-желтыми ирисами. Тетушки опять рассмеялись и вдруг вспорхнули, у них, оказывается, за спиной крылья, как у бабочек: голубые, зеленые и розовые, у каждой свой цвет, рассмеялись и перенеслись в летнюю кухню, где на плите шипит и булькает постным маслом сковорода престранной кривизны.

– Эта сковорода, – объясняют они хором, – точная копия нашего озера, только меньше в две тысячи восемь раз. Рыбам здесь привычнее: те же заливы, изгибы, отмели. Любая рыба в озере, пойдите и спросите, мечтает попасть в нашу сковороду. Здесь они умирают от счастья. Сегодня вы будете кушать счастливую рыбу.

19. У меня заурядные грехи. Как у всех. Иногда я даже бравирую своей обыкновенностью. Еще утром держал Юлию за руку, перебирал ее паль-

цами, у нее хрупкие тонкие фаланги. Каждый день говорю ей о том, что она красива, каждую ночь обнимаю ее. Любовь к ней и страх ее потерять – все, что у меня есть. С каждым днем люблю ее больше и больше, с каждым днем растет мой страх. Все, что было до нее: друзья, работа, женщины – уходит. Вначале исчезли женщины, потом – друзья, общение с ними теперь уже требует усилий, и они это почувствовали. Осталась работа: мне необходимы деньги, чтобы содержать мою половину. Юлия не должна нуждаться. Я пишу о ней, рисую ее, я хочу, чтобы она всегда была рядом. Все вокруг, кроме нее, теряет для меня свой смысл. Я забываю слова, названия предметов, не связанных с ней. Иногда я вспоминаю, что наши дети – часть ее, умиляюсь, обычно я равнодушен к ним. Я выстроил для нее дом в лесу, но стоит ей выйти за порог и дом превращается в ненавистные стены, за которыми она. И тогда я хочу разрушить наш дом. У моей любви нет прошлого, память отказывает мне; нет будущего – я не желаю тратить-ся на мечты; есть только настоящее, сейчас и только сейчас, я держу ее за руку, прикасаюсь щекой к ее ладони, целую между пальцев. Уезжать от нее по делам – катастрофа. Выйдя за порог, я уже считаю дни и часы. На съемках – «гоню» картину, чтобы скорее вернуться. Я не живу без нее. Иногда пишу. Когда-то казалось, что это развлекает ее, теперь – это история прогрессирующей болезни. Скоро я окончательно сойду с ума от любви к ней, я стану растением, мычащим животным, и тогда она покинет меня.

20. Мой приятель Игорь Щербаков решил проверить на прочность свой брак. Женат он был не более года. Я немного помню его свадьбу: в ресторане я предлагал гардеробщице руку и сердце. Оленька – жена Щербакова, была ленивая русская красавица. Заподозрить ее в измене все равно что представить каток для укладки асфальта на трассе формулы один. Но Щербаков был пьян и уговорил собутыльника позвонить Оленьке и назначить свидание. Оленька пришла, Щербаков – тоже. Устроил скандал и потребовал развода.

21. И все-таки литература – чудо по сравнению с кинематографом. Чтобы снять Белки с той стороны, пришлось бы долго брести вдоль берега, огибая заводи, перепрыгивая ручьи, в ожидании, что вот-вот откроется общий план, и село отразится в водяной ряби. Но свет уже уйдет, и кадр окажется пресным, отражение еле видимым – все зря. Белки – бело-голубой мираж. Хаты белые, заборы – голубые, плывут Белки облаками хат по небу заборов и в отражении не разобрать, где небо, где забор, где облако, а где хата, где Белки земные, а где – небесные. Стол накрыт во дворе, мы

сидим под небом, пьем вино, едим рыбу, говорим о Боге и проплываем по небу. Вдруг посреди трапезы появляется земляная старуха. Кирзовые сапоги, темная длинная юбка или платье, черная фуфайка, теплый шерстяной платок на голове, из него выглядывает коричневое в морщинах лицо, а из лица – зеленые-презеленые глаза.

– А хто картоплю сапаты будэ?

– Мамо, сидайтэ, поижтэ рыбки. У нас гости. Оцэ – Юлия, це – ее чоловік, а цэ – их диты: Матвей и Софія. Сидайтэ, мамо. Розкажыть, як наш новы батюшка благословыв нас не ходыть до цэрквы.

22. Сто лет назад я сидел в Ялте на набережной с огрызком карандаша и рулоном крафта и орал на все побережье: «Всемирно известный портретист! Только раз, только для вас! Глазки побольше, ротик поменьше! Не проходите мимо! Всего за рупь! Могу бесплатно, не понравится – нате обратно!» Женщины всех возрастов, одна за другой присаживались на мою лавочку: две-три линии, одну узнаваемую деталь, хорошо, если на даме шляпка, пара комплиментов и рубль в кармане. Напротив – мой конкурент: худая, коротко стриженная, в рваных джинсах, скорее мальчишка, чем женщина, уже полчаса пишет пастелью портрет «пингвина». Так я называю курортников. Она меня презирает: я предаю высокое искусство, карманы мои распухли от мятых рублевок, я – предтеча эпохи гламура.

– Пацан, сгоняй за пивом, сдачу оставь себе, – посылаю я представителем из публики.

– Великое искусство умирает, господа! – обращаюсь я к оставшимся. – Перед вами его могильщик. Да, я – артист, мадам, Бог одарил меня многочисленными талантами, любая роль мне по плечу, но не любая по карману. Я – гениальный художник, первый любовник, великий политик, благородный отец многочисленного семейства, храбрый рыцарь, подлый интриган, коварный предатель – все это я, мадам!

С моим конкурентом прошлой ночью у нас была попытка секса. Из экономии, сняв комнату на двоих, она сдвинула кровати и изобразила стриптиз. Когда этот «цыпленок табака» одним движением сдернул с себя лифчик комплиментарного размера, я расхохотался, как на похоронах прабабушки Анастасии Ивановны. Такого веселья на похоронах своей семейной жизни я не ожидал. Если быть последовательным, то причина моего внезапного появления в Ялте – отчаянная попытка вернуть жену в супружеское лоно. Но последовательным я не был никогда, возможно, потому и сбежала от меня моя благоверная к какому-то закройщику: ей надоели сосиски с макаронами по воскресеньям.

– Перед вами, сударыня, Византия, разграбленная крестоносцами. Турки доби́ли меня, захватив Константинополь. Моя жена была моим Константинополем. Я был предан ей как иудеи Иерусалиму. Изменив мне, она предала веру. Она поклонилась золотому тельцу, вместо того чтобы разделять тяготы нищенского существования режиссера-документалиста. Но чувствую, вдохновение опять покидает меня. Для связности сюжета и для Головецкого я, хоть и скомкано, попытаюсь вспомнить всю историю своей второй женитьбы. Помню, была драка с «пингином». Он объявил во всеуслышанье моему конкуренту о том, что повесит портрет ее работы у себя в сортире. Нет, я не отстаивал честь живописи, хотя портрет был хорош, «пингвин» таким способом сбивал цену, я просто дал ему по морде – загребли менты, к вечеру я изобразил пером и тушью профиль Феликса Дзержинского в красном уголке и был встречен у выхода из отделения «цыпленком табака». Потом я напился, стоял на коленях перед гостиницей «Ялта» и дождался. Моя жена в роскошном платье и вообще вся роскошная, какой я ее никогда не видел, кино бледнеет, вышла из авто и продефилировала с кавалером (должно быть закройщик, так ладно сидел на нем смокинг) мимо меня. Швейцар распахнул двери. (Все напоминало блатную песню.)

– Юлия, – прошептал я. Сейчас не вспомню, как звали мою первую женщину, точно не Юлия, но какое другое имя я могу прошептать сейчас. Она оглянулась. Но швейцар уже распахнул двери. Моя первая женщина не была аристократкой, она боялась швейцаров и вахтеров. «Швейцар расп-а-а-а-ахивает двери».

– Выходи за меня замуж, – сказал я «цыпленку табака». Она стояла у меня за спиной и, наверное, кивнула.

23. Господи, по воле Твоей или по попусшению пишу я эту книгу? Недавно перечитывал «Похождения бравого солдата Швейка», ближе к финалу Гашек заторопился. Куда девалось остроумие, отточенность фразы, все тезисно, казалось, шлифовку он оставлял на потом. Но за всей этой суетной торопливостью читалось одно: Я умираю. Гашек, Гашек, что мешало тебе это написать? Читатель? Ах, любезный, тебя нет, пока художник пишет, ты призрак, писатель материализует читателя. Он рождает его с первой строки и убивает последней. Я умер вместе с тобой, Гашек. Но это так, всего лишь эпизод, возможно, здесь неуместный. Хотя... Я – идиот. Хотя бы потому, что занялся кинематографом.

24. Духов день. Вечер. Провожая Игоря Наринских на вокзале. Игорь приехал договариваться о съемках Блаженнейшего. Днем я подхватил его

в городе, жалующегося на киевскую жару и церковную бюрократию, привез в Ирпень, где Юлька поставила перед ним большую тарелку с борщом, а я налил водочки. Дуэт щирых украинцев перед заезжим московским гостем. Игорь прочел молитву, перекрестился, сел за стол и продолжил разговор.

– Звонит мне Семенюк и спрашивает, ты мне сделал аккредитацию на московский фестиваль? Саша, отвечаю, фестиваль через два дня, заявки подаются за две недели, я не могу. Обиделся.

– Зачем ему московский фестиваль?

– Киновед.

В Приднестровье Сашка Семенюк бегал по Бендерам с гранатометом, но, по-моему, так ни разу и не выстрелил. Он запечатлен улыбающимся, в грязной майке, в спортивных штанах с оттянутыми коленями, с гранатометом у ног – одним словом, киновед.

На вокзале я взял Игорю пива с фисташками, я будто извинялся за Сашку. Повторить он решил за свой счет.

– Быть помощником депутата, ты знаешь, – продолжает Игорь, – он помощник Нарочницкой, и не сделать себе аккредитацию? Саша, говорю, что ты за помощник? Другой бы на твоём месте имел бы уже квартиру в Москве, дом в пригороде...

Я смотрю на Игоря и вижу рога на голове. Он так искренно сожалеет о неиспользованной Сашкой возможности воровства. Я отмахиваюсь от наваждения: черт мне показался, больная фантазия.

– Все мое последнее кино, – перебиваю я его, – о том, что православные – тоже люди, с той лишь разницей, что они знают, когда грешат.

– Дом в Подмоскowie и два автомобиля.

Нет, не померещилось: рога на месте, на лице вместо носа пяточок, скрываю желание заглянуть под стол и обнаружить там мокрый, постукивающий нервно о кафель, толстый крысиный хвост.

– Зачем ему дом и два автомобиля?

Игорь глядит на меня как на идиота.

– У Сашки нет детей. Зачем? Он не умеет водить, его жена – тоже.

Пяточок расплывается в добродушной улыбке: идиот не понимает таких простых вещей. И тут вдруг я чувствую, что тоже хочу квартиру в Москве, дом в пригороде и два автомобиля. Юлька прекрасно водит. Духов день.

25. Новый батюшка в Белках первое время бедствовал. Люди ходили к нему, но как-то тайком. И тогда батюшка пошел по хатам.

– Как же нам ходить? – спросили его тетушки, – Мы пойдем, для нас праздник, а соседи как? Они католики. Их полсела. Обидятся.

И тогда батюшка благословил их в церковь не ходить.

26. О своем идиотизме я готов говорить без конца. Это как гримасничать перед зеркалом: на самом-то деле я красив необыкновенно. Кокетство? Но разве и в нем не обнаружится литература? Может быть, в человеческой фальши и лжи жизнь проявляет себя больше, чем в стремлении к праведности. Тут не перепутать бы с любопытством. Я убил человека. Написал и сам заинтересовался: кого это я убил? Прекрасный повод покопаться в себе. И ведь найду. Что за прелесть эта литература. В ней можно искуиться, как отправиться в увлекательное путешествие, но вернуться на пепелище. Хотя это билет в один конец, если литература. А я возвращаюсь на пепелище. Все вокруг – мое кривлянье, порой под благородными предложениями. Благонамеренные чувства превращают мое лицо в рожу. А я ведь понравиться хотел.

Одна из моих тещ говаривала: «Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле». Это банально и я бы не вспомнил о ней, если бы не другая ее фраза, произнести которую в приличном обществе непозволительно: «Нельзя, не напрягшись, высраться». Она была интеллигентным человеком. Я тороплюсь оправдать свою бывшую тещу, но она-то как раз и не нуждается в моем оправдании. «Ты бы про меня кино снял, – говорила она, – Это была бы жизнь». Теща была художником, и многочисленные подруги ее просили перед смертью сделать им макияж после. «Хочется понравиться». Однажды она позвала меня понаблюдать за этим процессом. Гуашью, собственным гримом, акварелью, кистью и пальцем на моих глазах заурядный труп она превратила в «гений чистой красоты». Камеру я не взял. Теща тоже считала меня идиотом, но умным идиотом. Из ее уст – это звучало комплиментом.

Все-то я оттягиваю самое важное, кривляюсь перед зеркалом литературы, но это от страха обнаружить собственную бездарность. Вот, кажется, написалось, открылось, почувствовалось, по крайней мере, а перечитал – ка-кое лег-ко-мы-слие. А кто не легкомыслен? Увидел отца Владимира в телевизионном ток-шоу. Ишь ты, поп-звезда. Ему дали слово и он вдруг Бродского прочитал. Стих хороший, про благодарность, которая будет рваться из души, покуда рот не забьют глиной. Но мне-то вдруг показалось («Если вам что-то кажется, значит, так оно и есть» – Битов), что отец Владимир понравиться хотел: я, мол, тоже умный, Бродского читал. Эх, прослезился я, лучше б ты стихи своей жены прочитал, так бы и объявил:

«Стихи жены!», гениальный ведь поэт Алеся. Но и в этой, возможно только для меня явленной, слабости отца Владимира открылось общее и захотелось окончательно расплакаться, обнять его, какой же ты, батя, человек хороший, ведь, как и я, сомневаешься, что хороший, оттого и понравиться хочешь, брат мой во Христе.

27. Смог бы я убить Юлию? На прошлой неделе на кухне держал в руках нож. Она проходила мимо, как обычно. Она не заметила ножа в моих руках, она и меня не заметила, проходила к холодильнику от плиты, как обычно. Нож был большой, длинный, увесистый, для резки овощей, я даже не замахивался, просто воткнул ей в грудь, подумал при этом, какие у нее слабые тонкие ребрышки. И все. Наступило оупение. Нож положил на место, сел за стол и ничего не почувствовал. Юлька взяла что-то в холодильнике, вернулась к плите, что-то спросила, не помню. Я вышел из кухни и сел в гостиной смотреть телевизор и вдруг расхохотался. Был ли мотив в моем убийстве? Да. Отсутствие ее любви? Юлия меня не любит. И никогда не любила. Разве это не повод? В доказательство я могу представить любовь ко мне моей второй жены. Я знаю, что такое любовь женщины. Возможен контраргумент: у каждой женщины своя любовь и проявление ее. Так вот, чтобы отмести подобные доводы, я представляю окончательное доказательство. Я видел Юлию влюбленной! Это был артист цирка, воздушный акробат, он снимал ее на видео, иногда это делали другие и тогда в кадре они были вдвоем. Достаточно просмотреть несколько секунд, чтобы все понять: на этом видео Юлька счастлива. Она скрывает эту запись от меня. Обнаружил случайно, архивируя старые кассеты: а это что еще такое? Ничего подобного я никогда не сниму. Я плохой режиссер, Юлия – не моя актриса; я не ее мужчина, как мужчину она меня терпит. Зачем же она живет со мной? Тут я возвращаюсь к своей первой женщине: на мой упрек в ее изменах она ответила: «Но я же сплю с тобой». Кто-то, не помню, рассказал мне о том, что расстояние между атомами в несколько раз больше атомов даже в самых твердых телах. Так что, по сути, мир состоит из пустот, но мы этого не видим. Иногда мне кажется, что я вижу эти пустоты, одни пустоты. Взгляд без любви. Каким холодным и страшным оказывается тогда мир. Все, во что я не желаю верить, становится логичным. Логика – инструмент безверия. Циркач оставил ее, и я оказался наиболее приемлемым вариантом устройства в жизни. Со мной можно жить. Я взял на себя ее проблемы: ей нет нужды унижительно зарабатывать на жизнь, это я оставил себе. Мы создали семью, у нас есть дети, но как же она живет со мной без любви? Как долго это может продлиться? Душа ее



не выдержит, она не должна зачахнуть, обязана возродиться, был бы повод. Но здесь, в лесу, кого любить? Природу? Юлька чахнет, я это вижу. И что же? Я должен что-то предпринять? Исправить ее ошибку? Свести ее с возможным возлюбленным так же, как она пытается женить Головецкого? Я должен выдать замуж свою жену. Это необходимо обдумать, взвесить, оценить возможного кандидата. Однажды повод выдать Юлию замуж представился. Роман с моим звукорежиссером она тщательно скрывала от меня: звонила украдкой по телефону, исчезала с Варварой (моей собакой) на долгие прогулки. Была весна, небывалая для мая жара, я что-то почувствовал: какую-то детскую фальшь в ней. Все обнаружилось случайно: из ее блокнота выпала его фотография, она подняла ее тотчас, спрятала. Слишком поспешно. Среди ночи (я чувствовал, что она не спит) я заговорил с ней. У меня есть опыт подобных разговоров. Подлый иезуит, я начал с пожелания счастья ей и ее возлюбленному, перешел к своему беспокойству и неуверенности в его, а главное, в ее чувствах по отношению к нему. Я пошел ва-банк. Были ли у меня сомнения? Были. Рассмейся она в ответ, мне хватило бы «не говори глупостей», и я бы сам расхохотался. Но она, она вдруг согласилась со мной. Она была в растерянности, обычное противоречие долга и страсти. Она стала убеждать меня, а больше себя, что эта ее любовь – всего лишь темная страсть, она пройдет как морок, наваждение. Она даже попыталась изобразить страсть со мной в постели. На следующий день, вернувшись с работы, я не застал ни ее, ни Варвару дома. Мы тогда жили на Оболони, обычный микрорайон, но рядом Днепр и два залива. Я бросился туда, я искал их, свистал Варвару, заглядывал под все кусты. Уже возвращаясь, я нашел их возле дома, они расставались и не могли расстаться. Мир вокруг для них отсутствовал. Когда я подошел, она взглянула на меня и не узнала. Я взял из ее рук Варварин поводок, она безвольно выпустила его, и вернулся домой. Сел на кухне и тупо уставился в пол. Варвара жадно хлебала воду из миски. Вспомнил, что точно так же разглядывал половицы, когда пришел объявить о самоубийстве Мишки Марцева в дом к его родителям. Мать рыдала, отец кричал: «Какой подлец», а я смотрел в пол и угадывал в разводах какие-то фигуры, лица... Услышал, как тихо открылась входная дверь. Чтобы не встречаться с Юлией взглядом, стал готовить кофе, руки тряслись. Юлия вошла в кухню вместе с ним, встала у дверей, а он сел за стол.

– Хотите кофе? – предложил я.

– Что нам делать? – спросил он. Юлия по-прежнему стояла в дверях. Я пожал плечами.

– У нас ничего не было, – сказал он.

«Идиот», – подумал я. С другой стороны, откуда ему знать, что всего год назад на его месте сидел другой, сейчас уже спившийся бездарный поэт, и говорил мне о том, что он жил с моей первой женой. Откуда ему знать о моем разговоре с братом, после того как он сблудил с женой его и моего друга Ксюшей. «Что ты натворил, дурачок, убил свою душу, зачем?» Через два года Артем выбросится из окна. С третьей попытки. В мятой предсмертной записке останется: «Саня, я пытался бороться, но бес сильнее, береги маму». И тут я дал слабину. Я всегда патетичен в таких случаях, но патетика – не моя природа.

– Юлия едет в монастырь, – сказал я. – На неделю. За эту неделю она разберется в своих чувствах и вернется, если вернется, к тебе или ко мне. Собирай вещи, Юлия.

– До свидания, – сказал он и вышел.

– Я провожу? – спросила Юлия. Я сел на табурет, расплескивать на колени кофе. Через минуту она вернулась, и по лицу я понял, что решается.

– Он там стоит, под домом и не уходит.

– Он думает, что я тебя выгоню?

– Что мне делать?

И тут во мне проснулась жадность. Я мог бы, может быть, должен был ответить: «Иди к нему». Но я представил их счастливые объятия этим жарким майским вечером, душной ночью, ее неподдельную страсть, их усталость под утро, ее радость освобождения от меня. Я позавидовал им обоим: их возможному счастью. Я должен был выгнать ее, но примешалось еще одно чувство – жалость: дети, ветреные дети, разрушат все, оставят после себя пустоту и разбредутся, обиженные на мир.

– Иди, скажи ему, что уезжаешь, и примешь решение через неделю.

Я понимал, что обманываю себя и ее. Эта неделя – лукавый прием. Но я отвез Юльку в Китаево, в этом мужском монастыре гостят и женщины, и сдал Пафнутию с просьбой исповедать и причастить рабу Божию. Вернулся домой и до рассвета бродил по пустому дому. В груди жгло, это сторае душа, решил я, – не впервой. Что такое черная душа я знаю по себе. Моя уж точно обуглилась. Не вытерпел боли и позвонил Лосеву:

– Сергей Дмитрич, давайте я к вам приеду.

– Приезжай, малыш.

Рассвело. Он ждал меня под домом. Мы нашли кафе и даже кофе. Сидели на открытой веранде за столом, курили и говорили о литературе. С деревьев облетал цвет и засыпал нас праздничными конфетти. Я вдруг понял, что Юлька не вернется. В этом была какая-то печаль, но какая-то литературная что ли. Вышло солнце. На душе стало светло и радостно,

вдруг стало легко. Когда возвращался, заметил, что сломан замок багажника, на каждом ухабе он грохотал, а я хохотал, на каждом ухабе.

Дома Юлия у плиты жарила котлеты.

28. – Н-да, – сказал бы Яхнис. – Ну и каша у тебя в душе.

Аркадий – ортодоксальный иудей. Когда мы встречаемся – спорим о Боге. Его Триединство бесит Аркадия. А мне весело.

– Этого не может быть, ты – идиот Достоевского, – говорит Аркадий.

– Вот-вот, – поддакиваю я. – Но именно там, где для тебя «не может быть» и начинается жизнь моей души. Тебе понятны моя ненависть и любовь, желание убить и сберечь. Тебе понятны противоположности и их единство. Но это всего лишь двойственность. Попытайся в мою любовь и ненависть внести третье. Что третье? Но именно это я и пытаюсь понять, хотя бы почувствовать. Может быть, потому и пишу? Литература давно справилась с плотью и душой человека, сделала это инструментом искусства. Может быть, третье – это Дух? «Он веет, где хочет», а я изобретаю велосипед, плету словесную сеть для уловления Духа? Если нет третьего в моей любви – нет и любви. Есть похоть, есть душевность, но без третьего... Бессмысленно его искать, но, сознавая бессмысленность, только и можно почувствовать. Это сродни апофатическому богословию: вот в руке твоей луковица, я снимаю первый слой. Но кожура – не вся луковица, согласен? Это всего лишь кожура. Луковица осталась в руке. Я снимаю второй, но и это не луковица. В конце концов, в руке твоей останется воздух, сожми пальцы, ты сжал луковицу и ничего не почувствовал. Можно созидать человека, наделить его благородной душой и могучей плотью, но при этом он не станет даже луковицей. Так, всего лишь древнегреческий бог, холодный и мраморный. Но я вынужден развратить душу, уничтожить плоть, чтобы в итоге сказать – вот Человек, вот Дух Его. Я уничтожаю себя, я – литературный самоубийца, утверждающий в себе третью божественную ипостась. И моя книга – всего лишь мой лабораторный опыт.

29. Прозрения? Они всегда. Только успевай. День Всех Святых. Село Лышня. Отец Филарет читает проповедь.

– Одну обезьяну научили танцевать. Надели на нее маску, одежды и все принимали ее за искусно танцующего человека. Но один, сомневающийся, рассыпал на сцене миндаль, и обезьяна сбросила одежду, сорвала маску и стала жрать...

На меня намекает, решил я тогда, а сейчас вспомнил о том, со скольких актеров мне приходилось во время репетиций соскабливать эту,

уже приросшую к лицу, маску, со скольких – не удалось. Сколько раз я видел маски в жизни и даже не делал попытку: обходил стороной. Жаль было миндаля.

– Братья и сестры, – заключает отец Филарет. – Это история про меня.

Хотелось крикнуть: «И я, и я тоже искусно танцующая обезьяна!» О, сколько нас! Планета обезьян. Звоню отцу Игорю: «Ты знаешь, что сегодня на клиросе старухи пели? Хвалите Господа с небес, хвалите Его и в Лышне». «Ну да, – подхватывает отец Игорь, – оса на вишнях», и соглашается с тем, что он тоже танцующая обезьяна. Я не одинок. Чувство своего одиночества – ложное, своеобразная жалость к себе возникает от моей неспособности объединить Церковь и мирскую жизнь, от недоверия к Богу, от моей человеческой глупости.

– Бабушка Маланья, вы помните ту женщину, вашу соседку, которую ограбили и она сошла с ума? Не собирайте, братья и сестры, сокровищ на земле...

Это ж Гоголь! «Шинель»! И так просто, одной строкой, между прочим. Все, о чем написаны целые тома, здесь укладывается в одну фразу.

По случаю праздника отец Филарет вручает всем пирожное, иконку Ангела-хранителя и бумажного ангела с написанным внутри пожеланием. Ну точно, попугай у шарманщика, мелькает в моем мозгу: билетик на счастье. Разворачиваю белого ангелочка. А ведь сам писал, у батюшки старательный почерк.

«Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения».

(Из дневника святой императрицы Александры Романовой)

Я не спал ночь, писал о Юлькиной нелюбви и вот, уже утром, получил ответ. Все вокруг преображается чудесным образом. Я взялся за книгу и все и вся отзывается мне, успевай записывать. Но я не успеваю. Дома уже ждет письмо от Сашеньки Вигилянской: «Да, конечно же, Саша, Вы тысячу раз правы! Готова повторять, что все наши искусства и подвиги ничтожны, желания мелочны, страсти темны, прозрения бессмысленны, если не помнить Главного. И все же глубоко уверена, маленькому человечку даже его ничтожные житейские бури для чего-то посылаются. Просто часто метафизическое подменяется психологически-эмоциональным: раз и уже пошел не туда...»

Сашенька, вы будто машете мне платочком вслед, а я уже плыву, эта книга растворила меня, все вокруг – строки и страницы моей книги. Меня уже нет, Сашенька. Кажущиеся случайными слова, люди, мысли, чувства – все связалось рекой. Я влюблен, влюблен не безнадежно и все отзывается на мою любовь. Плыви, Александр Николаевич. Какая ясность во мне! Чудесная ясность. И куда ж это я приплыву?

30. Удивительная страна Австралия: море со всех сторон, большое озеро наоборот. Авраменков и Пархомов ищут морского дракона со всех сторон континента: Авраменков – с камерой под водой, Пархомов у себя дома за монтажом, гуляшем, кашами, борщами, антрекотами, запеченными утками и жареными окороками. Пархомов – живая поваренная книга. Появляясь в чужом доме, он спрашивает: «Можно я у вас что-нибудь приготовлю покушать?» Не дай бог ответить: «Да». Он мгновенно превратит всех, включая гостей, в поварят, мальчиков на побегушках, посудомоек, уборщиц, а сам при этом будет притопывать, причмокивать, присаливать, приперчивать, принохиваться и все при нем. Сегодня я сказал: «Нет!» Мы пьем вино и закусываем их фильмом о ловле морского дракона. С экрана на меня пялятся съедобные на вид акулы, мурены, трепанги, электрические скаты и несъедобные ядовитые морские змеи и Авраменков в акваланге и без. В общем, фильм – кулинарное произведение Сергея Пархомова из продуктов Владимира Авраменкова. Володя – нежнейший человек, исповедующий православие и дзюдо одновременно: поддаться, чтобы победить. Серега – несгибаемый Феликс. Пятнадцать лет назад он затеял суд с Министерством культуры о своих авторских правах. Суд стал делом его жизни. Говорит он о нем всегда и только матом. На сценарных курсах Серегу считали новым Гоголем. За пятнадцать лет он не стал даже Сухово-Кобылиным. Правда, он говорит, что благодаря борьбе с чиновничьим аппаратом познал тайну драматургии. Он ждет, что все падут ниц в молении открыть ее. Но фильм кончился, морской дракон оказался маленьким неряшливым коньком, обитающим в Индийском океане. Режиссеры: Пархомов и Авраменков. «Не познать Творца из созерцания мира – ничего не увидеть в ясный полдень». Св. Василий Великий. Я не познал. Вино выпито. Они уезжают. Яростный Серега и мягкий Володя. Как жаль, что я так мало его знаю. Два года назад Володя чистил бездонный колодец в женском монастыре, потом красил высоченную колокольню, теперь вот снимает кино, так же, незаметно для всех, рискуя жизнью.

В 88-м году я делал фильм о шахтерах и все пытал выживших после обвалов и взрывов. «Ну шо, сидим, курить хочется, нога болит. Шо еще? Все». Это был мой первый фильм. Смонтировали мы его уже осенью. Сдали, а потом шли по парку, шуршали листьями и были счастливы. Кино способно вызвать чувство, но это подделка, имитация, оттого так легки слезы и смех в кино, так половой акт – имитирует Любовь.

31. На той стороне озера был лес... Ну и что? На окраине Киева тоже есть озеро, на берегу – мусороперерабатывающий завод. На закате –

красиво. Но воняет. Кино не передает запахов. А скольких людей я видел, от которых ничем не пахло, но воняли они так, что хоть святых выноси. Болит голова, точнее – полголовы. Ничто не помогает. Любопытно, что же происходит во второй половине, в правой? Где-то вычитал, что этой болезнью страдал Понтий Пилат. Знатная болезнь, а название забыл. Легко проверить какой половиной мозга я пишу. Я пишу, и боль уходит – значит левой... или правой. Неважно. Боль уходит, и это я отношу на счет благотворного действия литературы. Я потерял нить повествования, воздух книги вдруг исчез, и все вокруг обрело запахи. Наташа, Юлина тетка, напекла пирожков с капустой. На веранде расцвела жимолость. Ночь. Часы бьют два раза. Часы отмечают время вслух, литература – про себя. Убогое сравнение, литература – не механизм. Но эти старинные настенные часы с боем я купил на свою первую педагогическую зарплату. Я учил кинематографу. Какая нелепость. Через год мои студенты сдавали мне свои первые фильмы: один – был гениален, двадцать два оставшихся – манерны, надуманны, похожи между собой. Двадцать два отражения Столярова. (Гений прислал мне недавно письмо: работает в Тамбове барменом.)

– Они хотят снимать, и Слава Богу, ты пробудил в них желание, – успокаивал меня Лосев. Лосев был моим вторым педагогом. Теорию режиссуры он начал читать от Рождества Христова. Нашлись недоумевающие студенты, втихую жаловались мне на то, что его лекции непонятны, я смеялся и гнал их в аудиторию. Сам-то я читал историю русского театра, в которой легко было укрыться за именами и датами. Лосев рвал душу. Его лекции распирало от стихов, картин, богословских текстов, молитв. Через два года он был уволен по сокращению штатов. Я встал в позу и уволился следом. «Антон Палыч Чехов однажды заметил, что умный любит учиться, а дурак – учи-и-ить», – распевали мы, обнявшись, навсегда покидая Национальную академию культуры.

– Сергей Дмитрич, вы – учитель, а я так, «Не женитесь на курсистках, они толсты, как сосиски. Эх-ма, тру-ля-ля!» Еще по сто пятьдесят и забудем педагогику как дурной сон. Покажите, покажите мне настоящего студента! Что такое законы драматургии? Сплошной цинизм. А вы преподавали им законы совести. Ты, Сережа, Моисей отечественной документалистики. Се-ре-женька. Официант, повторить!

Как бы ни так. Не обнявшись и не напившись. Лосев не пил. Мы, молча и порознь, вышли из заведения, и кафедра вздохнула.

– Я не потерплю здесь Столяровщину, – топал ножками завкафедрой еще три года, после чего был уволен за взятки. Однажды он сказал мне:

– А чего это ты в Бога веришь, это уже не модно.

И я смолчал. Нет, мусороперерабатывающий завод надо ставить в центре города, чтобы все почувствовали, как воняют наши грехи. Сергей Дмитриевич вскоре уедет из страны. Здесь ему делать больше нечего, зарплата второго педагога – был единственный его заработок. Жена его Мила, в девичестве Маргулис, увезет его в Мюнхен. Там обнаружат рак легких и вскоре он умрет. На фестивале «Покров» появится приз за режиссуру имени Сергея Лосева, но я утверждаю, что заведующий в то время кафедрой кино и телевидения – пошлый убийца. И доказательство тому не только смерть Лосева. Бесталанность не позволила мне сказать раньше еще об одном человеке. У меня на курсе было два вторых педагога. Актерское мастерство преподавала Люда Тогийко. Актрисы, в общепризнанном понятии, из нее не вышло (на первых гастролях убудки изнасиловали ее, сначала так, потом бутылкой, потом изрезали разбитой бутылкой лицо), работала за кадром и на дубляжах. Ее тоже, одновременно с Лосевым, уволили по липовому сокращению, через год она умерла от рака. На печальном опыте я убежден: причина рака – безответная обида. Старец Паисий говорил, что рак – святая болезнь. Он тоже умер от рака. Рак – болезнь святых. Я снимал Люду незадолго до смерти, она работала у меня в кадре. Я помню ее огромные переполненные благодарностью глаза и то, как она нежно погладила меня по плечу после съемок. Обычно Люда занималась детьми-инвалидами. Ее подопечные танцевали, пели, разыгрывали сценки и давали концерты для таких же детей-инвалидов. Они ее любили и совсем не замечали ее уродства. Но ведь и я этого не видел, а все говорили. Нет, Люда была необыкновенно красива. А какая фигура у нее была! Рыжие пышные волосы, зеленые глаза, ей было за пятьдесят, но выглядела девочкой. У меня нет нужды молиться за нее – Люда в раю и молится обо мне и своих инвалидах. Они уже выросли. Люда, я исправлюсь. Сергей Дмитриевич, простите. Я должен был защитить вас. Я – первопричина обиды. Когда я приглашал вас к себе на курс, вы решились не сразу. Вы знали, чем закончится, но дали согласие.

А с тем завкафедрой мы однажды встретились. В Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Я пришел туда с какой-то заезжей девицей, собор недействующий, музей с фресками, а тут он, со студентами (после узнал, что опять преподает, но уже в другом вузе), он заметил девицу и протянул мне руку, я пожал. «Но не было в руках рукопожатий...» – строчка из стихотворения Лосева. Это было рукопожатие соучастников преступления. «Главное, не ссучься», – говорил мне Сергей Лосев. Ссучился. Вот и карабкаюсь назад. Даже молиться стыдно. Во как гордыня прет! Обхохочешься. Прости нас и помилуй, Господи: раба Александра и раба Юрия.

32. Каждую главу (название условное) я начинаю с ничего, тыкаю ручкой в белый лист, будто снег обтаптываю, гадаю, куда двину, и вдруг решаюсь. Почему туда и почему так? Бог знает. Но иду, спотыкаюсь, петляю, плевать на стиль, дойти бы. И вот пришел. А это что еще за уголок моей души? Не знал, но догадывался. Бесславное путешествие по душе. Любопытно, когда и куда вернусь? Составлю путеводитель для туристов, привет, читатель, мудрый путешественник сюда не пойдет, ему своей души хватит на всю жизнь.

33. На том берегу озера был лес... После обеда пошли поглядеть на местную церковь. Когда кончились дощатые голубые заборы, начался высокий каменный, новый, дорогой, такими ограждают богатые особняки. Юлия и Таня, обе в платочках, перед входом вдруг оробели, и я пошел впереди. Камеры видеонаблюдения, огромный огород, запомнился сочный густой лук, укроп, пушистая петрушка. А церковь-то где? Таня молча указывает направление. Мимо приусадебных построек, лабиринтами из каменных стен вышли к небольшой церкви в строительных лесах. «Можно войти?» – спросила Таня у рабочего. Тот не ответил, прошел мимо. Внутри все забелено, на потолке бездарный подмалевок.

– Не прет иконописца, – сказал я громко, ожидая эхо. Напрасно. Эха здесь не было. Оказывается, девчонки знакомы с художником (она дочь настоятеля), гордились знакомством: храм расписывает. Гордиться стало нечем.

– Интересно, на какие шиши это все? Без прихожан.

– О, к нему из Киева приезжают, депутаты всякие. Даже сам Порошенко.

Порошенко известен мне тем, что приватизировал фабрику Карла Маркса – знаменитые киевские торты и переименовал на французский лад – «Рошен». Вот так, огородами и в Париж.

34. Сегодня ночью Юлия сказала, что любит меня.

35. Если Юлька зачала... Если Юлька зачала... Если Юлька зачала...

Страх перед Зачатием – страх Божий. Можно сколько угодно оговариваться, но все равно выйдет Божий страх, оттого и радость: прикосновение Его. Были я и Юлька, два разных человека и вдруг Чудо. Чудом было зачатие Софии, мы тогда всего боялись. К Матвею отнеслись спокойнее и вдруг, а вдруг... Если Юлька зачала... Брошу курить.



36. Мы с Милой сидим в литературном кафе «Абракадабра».

– Вот так, Саша, нет больше Сережи.

Мила достает платочек, утирает слезы, но как-то по-особому, так утирают слезы вдовы великих. Я посочувствовал ей и Юлии. Юлия тоже станет вдовой. Я был знаком с вдовами Чичибабина, Синявского, Параджанова... И вот теперь и Мила в этом ряду. Я подарил ей экземпляр своей книги (назвать это книгой язык не повернулся), второй – поставил на книжную полку рядом с нашим столиком. Кафе гордилось своим альтруизмом к читателям: все книги здесь были выставлены напоказ и отдавались напрокат бесплатно. Впрочем, мою, через пару дней, продали Володе Синцову за семь гривен.

– Сережа перед смертью отказался исповедаться и причаститься. Он сказал, – тут Мила делает большую паузу и почти шепотом сообщает мне страшную тайну, – что там ничего нет. Ничего. Но мы отпели его в православной церкви, по всем правилам. Ты должен сделать фильм о Лосеве.

Последнее прозвучало как приказ и, наверное, было для нее главным в нашей встрече. Зазвонил телефон, Милу ждали везде, аудиенция закончилась. Я остался в кафе глядеть на свою книгу в окружении Хармса, Пастернака и Олдриджа. Я от них выгодно отличался: я был еще живой. «Если там ничего нет, – рассуждал я, – то ничего нет и здесь». Это легко доказать. Как и легко представить помрачение ума Сергея Дмитрича: метастазы из легких очень скоро распространились в мозг. Первое время, после его отъезда, я негодовал: Лосев бросил меня, уехал из страны, объявив мне перед своим бегством, что следующий на очереди – я. Я понимал, что страна, цивилизация вообще не терпит художников. А Лосев был много больше, чем мастер. Мастерство в почете, художник – нет. Он нарушает правила композиции, цвета, монтажа, рифмы, ритма, а главное – общественного мировоззрения. А общество без правил – хаос. Мелькнула мысль, что, отказавшись от причастия, Лосев решил нарушить правило в последний раз.

37. Что выражало лицо Головецкого? Оскорбленную душу? Может быть. Лицо Головецкого стало мраморным. Что, впрочем, ему шло: появился какой-то аристократизм. Татьяна, вся в черном, была очень хороша. Вдове сватали памятник. Татьяна привезла перламутровую герань в горшке, Головецкий привез Садовского. Юлька восхищалась геранью и требовала от нас того же. Садовский много пил и острил, порой удачно. Когда-то Садовский был бонвиван и душа компании, облысел, располнел, а тут напился мгновенно и забыл о цели визита: сватался сам – к Татьяне и Юлии одновременно. Моя жена ходила потерянная, Татьяна удивленно молчала, а Головецкий гулял в лесу с моими детьми.

– Головецкий меня разочаровал, – сказала Юлия после разъезда гостей, водрузила герань в новый горшок и выдохнула. Господь не дал свершиться греху. Слава Богу.

38. Благодать познаю по ее отсутствию. Вошел в храм, потолки закопченные, иконостас плохонький, отец Андрей без бороды, хор – мимо нот. Да что это со мной? Не здесь ли все были братьями и сестрами мне? Не здесь ли слезами обливался от умиления? Не здесь... Жену измучил похотью, всех презираю, кинематографистов в особенности, курить не брошу, каюсь.

– Вот и я такой же, – говорит отец Василий. Смотрю на него и вдруг чувствую – люблю. Исповедуюсь не ради себя.

– Благослови, отец, причаститься.

Душе моей потаенной, скрытой от меня, это необходимо. Как младенца, зернышко, размером с игольное ушко, пронесу через жизнь, прими ее, Господи, а меня отринь.

39. Позвонил из Москвы Геддерт. Маша родила мальчика. Попросил стать крестным. Поеду. У Маши после родов депрессия, лежит в Кашенко. (Шизофрения). Геддерт с ребенком один.

– Ну вот, мой сын проснулся, слышишь?

– Я приеду до следующей пятницы, обязательно приеду.

Потом позвонил Соколов и объявил, что фильм «Св. Петрович» гениален.

Потом приехали на крутых мотоциклах Павлюченков и Погодин.

– Давай снимем кино про мужика, у которого две семьи, но он не может бросить ни одну, ни другую, потому что обеих любит.

Я соглашаюсь. Обсуждаем с Олегом будущий фильм. Я знаю, что все разговорами и кончится. С Олегом всегда так. Погодин в глубине сада улегся в гамак. Это у него две семьи: одна в Днепропетровске, другая – в Киеве. Вот пусть и берет на себя роль главного героя. Герой. Еще должны заехать модный режиссер Томенко с продюсершей-эзотериком. Суета. Но стоило записать и все успокоилось. Отец Киприан из Ионинского монастыря как-то рассказал мне, что однажды служил Божественную литургию и вдруг почувствовал, как успокоилось житейское море. Мир преобразился. Стало вдруг тихо-тихо. Как никогда не было. Огромная тишина.

40. И вот я брожу в этой тишине, разглядываю все вокруг. Вокруг – люди. Подойди кто-нибудь и скажи: «У меня умер любимый, любимая. Мне боль-

но», – пожму плечами. Формально – Лосев умер. Но я не чувствую этого. Умер мой отец, брат, друзья юности, родственники... Ну и что? Они стоят за стеклом и смотрят на нас в глубоком молчании. Стекло непроницаемо, но подойти поговорить можно запросто. И помолиться. Но что им наши мнимые беды? Пожмут плечами. Чувство тишины уходит. Жаль. Я живой.

41. Если это не книга (по определению), то это – мой фильм: документальный, игровой – какая разница – фильм, а не сценарий к нему.

42. «Сашка, милый, спасибо, что не забыл даже мою девичью фамилию, чтобы никто не усомнился «по какой линии». Действительно, здесь чувствуется Столяров, что не всегда найдешь в твоих последних фильмах. Здесь ты живой. Спасибо, что вспомнил Сережу. Только это он увез меня, а не я. Не захотел ждать. Сказал, что выбросится с балкона. Не мог больше. А убийц много. Среди них и друзья, и коллеги, родина. Но его нет, а с виноватых что возьмешь? Не спала до утра. На ночном столике стоит не свадебная фотография, за неимением таковой, фотокомпозиция к какому-то юбилею: «Христос и грешница», соответственно – Сережа и я, молодые и красивые. Спасибо. Целуй Юльку и детей. Дай вам Бог.

Мила».

43. – Сколько всякой мерзости у тебя здесь перебивало, – говорит Пархомов, принимаясь, после того как я слегка перечислил своих гостей: министров, замминистров, советников президента, сотрудников государственной безопасности, монахов, архиереев, регентов, продюсеров и спекулянтов. Что ему до тех, кто был здесь? И что мне до них? Были и ушли. Каждый оставил свой запах в доме и образ в душе. У моего дома есть адрес, в нашем околотке его называют дом режиссера, а как зовут душу? У меня есть паспорт, в нем имя – так назвали меня родители; но кто дал имя моей душе и почему оно мне неизвестно до сих пор? А если у нее нет имени? Вот и томлюсь. И поговорить не с кем. Открой я Пархомову свои печали – в гастроном рванет и потребует пить с ним водку до полного помрачения ума. Я не исключаю и такой способ постижения мира, но нужно ли мне его постигать? Я сомневаюсь и в необходимости самопознания, под этим предлогом даже мои половые акты стали предметом пристального изучения. Плоть торжествует в половом акте, душа – в любви, разум – в православии и все объемлет Дух. И что с того? Мне мало. Я – православный иудей, мне недостаточно Христа, мне всего Бога подавай, в полноте Троиинства, оптом, а не в розницу.

«Кто оставляет что-либо ради Меня, тому воздастся во сто крат, кто хочет обладать Мною, тот должен отказаться от себя и от всякой вещи, и кто хочет Мне служить, должен следовать за Мною, он не должен больше преследовать свое».

Оставь меня Пархомов, вместе с гостями моими. Я забываю вас, как только записываю в свою книгу. С каждой главой я оставляю часть своего. Литература – удобный способ забыть прошлое, точнее – самого себя. Но и книга требует своего. «Если три первых кадра смонтировал правильно – дальше фильм покатится сам», – говорил Лосев. Проверял – точно. А что если это всеобщее правило: три первых слова, три штриха, три ноты, три карты... Первый кадр во имя Отца, второй – Сына... Вот и готово новое суеверие. На «Леннаучфильме» появилось православное объединение Людья Никитиной, ей еще Папа Римский Иоанн Второй вручил крест и четки за фильм «Воззрение на Святую Троицу». Не помню, как все это называлось, что-то вроде «Бог с нами» (шутили, что с ними), но атмосфера внутри объединения Никитиной была приближена к монастырской. Я застал подготовку к общему чаепитию. Чай заваривали какой-то иностранный. Какой – никто не понял, но Людья перекрестила, и стали чаевничать. Темно-коричневая жидкость отдавала свежесклеянными ботинками по вкусу и по запаху. Смиренно пьем, печеньем закусываем. Тут вваливается Димка Дилов – продюсер и отец пятерых детей. Большой полиглот. Ему наливают, он морщится, разглядывает иностранную коробку на столе и вдруг спрашивает:

– А кто это у нас трубку курит?

Людью из-за стола как ветром сдуло. А вы говорите, Папа Римский.

44. Утром шел дождь. Сара лежала на полу веранды, при моем появлении оглянулась, замахала хвостом и опять уложила морду на лапы, глазами в сад. Я тоже стал смотреть на дождь в саду, на лес в глубине сада, на стволы у дубов и сосен мокрые и черные. Молиться не хочется. Думать о литературе или кино – тоже не хочется – какая-то взвинченность во всем этом. Дождь идет мелкий, скучный, скоро кончится.

45. – Надо тебе рукополагаться, – сказал отец Игорь. Я расхохотался. Возникла неловкая пауза.

– Понимаешь, отец, все мои друзья, ушедшие в церковь в девяностых, так и остались неприкаянными, и ты, отец, неприкаян.

Отец мелко закивал, но каким-то своим мыслям. Отец уезжал в Рим, в этом была и моя вина: пригласили меня, но я отказался. Вовсе не от того, что в Италию не хочу. Всю жизнь мечтал попасть в Рим и в Нью-Йорк.

А тут вдруг пригласили вместе с фильмом, мы с отцом делали его вместе. Я обрадовался и тут же сам себе в радости отказал. Сначала был привкус детской обиды: «Упрашивайте, спрашивайте меня, вот умру – поплачете», а потом, потом... Сидит во мне это неожиданное «нет» и выскакивает в самых, казалось, предсказуемых ситуациях. После первого курса предложили работу на Евровидении, делать документальное кино, если бы согласился, жил бы в Генте, был бы голландским подданным (проезжал я как-то этот Гент – хороший город). Отчего я тогда отказался? На студии Горького предложили картину (чуть позже). Опять – «нет». И ведь хотелось сказать – «да», а выговорилось – «нет». И не то чтобы искушения (хотя и это было: жене товарища отказал – потерял товарища), тут всякий раз по-разному, да и мое ли это «нет», какое-то оно железобетонное. А сегодня отец из Рима позвонил: «Ну что, будем рукополагаться».

46. Перед смертью Лосев сказал, что там ничего нет. Ничего. Было бы забавно, если бы он увидел свет в конце туннеля, лестницу в небеса, или прю ангелов с бесами. «Бог есть ничто», – это Дионисий. Ничто. Заглянув туда, что увижу своими близорукими глазами? Ничего. И Ничего Лосева – еще одно свидетельство существования Божия. Каждый человек своим существованием больше свидетельствует о Боге, чем о самом себе. Это, кажется, святой Августин сказал. Но что мне до Бога? Когда-нибудь Он войдет в меня, и я стану Им. Я стану Ничто. И если об этом томится душа моя, как мне понять, как успокоить ее? Мои запросы просты: не обижайте меня забвением, пожалейте сиротку, подайте на пропитание.

47. Головецкий сделал фильм о людях, больных ДЦП. Смотрю. В кабинете доктор тестирует больного мальчика. «Сосчитай белые кружочки на экране, а теперь закрой глаза и сосчитай стук». Мальчик, стоя, с трудом удерживая равновесие, считает. Я ошибаюсь в обеих задачах. Головецкий своим монтажом вынудил меня считать, а не сопереживать мальчику. Да и как ему сопереживать, его ответы правильны. И вдруг встык в кадре появляется человек, поедающий арбуз. Я не сразу узнаю в нем Головецкого, да и нет в нем ничего от Головецкого – это человек в майке, на кухне, за столом, поедающий арбуз, ни с жадностью, ни с наслаждением, ни с отворачиванием, арбуз. Я ем этот арбуз вместе с ним, как считал кружочки и звуки с больным мальчиком, и понимаю, что весь арбуз не осилю. Но человек ест арбуз. Здесь нет образа, как не было его и в эпизоде с мальчиком. Отсутствие образа и безобразность – разные вещи. Головецкий намеренно

отсекает образ от изображения, чтобы дойти до сути происходящего. Образ Божий превращается в икону. Но икона – не есть Бог. Бог – Сущий, и здесь нет места образу. А раз нет образа – не нужен и художник.

А Головецкий смеется. Оказывается, эпизод с арбузом не был эпизодом из его фильма о ДЦП: так, отдельный файл любительских съемок. А я-то целую теорию выстроил, дурак.

48. Этот сон я уже дважды видел: новая квартира, большая, просторная и моя. У меня такой никогда не было. Брожу по комнатам. Здесь я буду жить, один. Предчувствую свободу. Выхожу на улицу, гуляю, хочу вернуться, но не помню куда.

Заглянул в сонник: дом, квартира – это образ души. Новый дом – обновление души.

А сегодня опять снилась моя новая квартира, но уже и не моя, захламленная незнакомой неинтересной мне женщиной. Бегу прочь к Юлии, но забываю, где она.

49. После посещения церкви в Белках гуляли по сосновому лесу. Пахло нагретой солнцем сырой хвоей, иногда трещали сучья под ногами, забрели в глушь, долго выбирались.

«Какие-то они у вас слишком хорошие, – рассказывала Таня о том, как монах принимал у нее в лавке работы. – Перед иконой надо трепетать». Может быть, может быть... Однажды я оформлял ленинскую комнату в забитом карпатском селе: шесть планшетов с сюжетами по истории комсомола я стилизовал под Гогена, таитянский период. Бравые конармейцы в буденновках, строители Днепрогэса, бойцы Красной Армии – все были темнокожими и немного раскосыми. Председатель колхоза долго вглядывался и удовлетворенно выдохнул: «От я и казав, якись воны не наши». В девяностых, как по призыву, мои ровесники пошли в Церковь. Послушник, дьякон, иерей – я следил за их продвижением и завидовал. Я, как вечный студент, – вечно предстоящий.

50. И вот еще: я не желаю быть понятым. Здесь и сейчас это сродни похлопыванию по плечу с лукавым подмигиванием. И попытка самых важных моих отношений, отношений с Богом, превращается в вульгарный флирт. Я не желаю! Высокомерие? Да я – сама пошлость. Готов в любой момент унизиться, упасть, но чтобы оттолкнуться, пусть короткий прыжок, но это полет. Я попрыгунчик. Шут. Я знаю, знаком еще с несколькими клоунами, с одной клоунессой. У нас с ней были «трали-вали». Помните,

у Синявского, «но иногда, знаете ли, трали-вали, знаете ли», – где-то так, не помню точно. На трали-вали мы приехали с Головецким. Поначалу это были вовсе не трали-вали, а так, посещение двумя режиссерами сценариста противоположного полу. Переделкино, писательская дача, лес, лето, рыба на столе. Хозяйка не суетна, красива, молчалива. Неспешная беседа с Головецким, скорее – монолог. И тут вдруг мыслишка: возможен ли у нее роман с Головецким, и даже брак? А что? Головецкий уже был женат на дочери Солоницына. Вокруг дачи Пастернака, Чуковского и даже Битова. Правда, у Сашеньки уже есть муж, но кто его видел? А тут... и тут.., а почему Головецкий? А я? В роли мужа и я неплох. Я лучше. Вот наши гости беседуют с моей женой, как хорошо она ведет беседу, как умны ее слова, как изящны движения, и по-французски говорит. А этот младенец в коляске – вовсе не ребенок гостей, это наш младшенький. Вот Сашенька берет его на руки, конечно, это мой ребенок, так нежно она его берет, выказывая, выдавая тем самым любовь ко мне и только. Я тоже беру его на руки. Ах, при гостях не проявить всех чувств! «Трали-вали, знаете ли». Мы с Головецким уезжаем, а Сашенька остается с гостями. Вечером придет муж, и она будет скрываться, молчать задумчиво. Ах, Александрина Вигилянская – клоунесса с красным шариком на носу, полосатым колпачком на рыжей голове и крошечной гармошкой в руках. Спойте, Александрина: трали-вали, трали-вали. Тут для морали следовало бы добавить, что я жду любви такой же от Юлии, и что дождусь, но как-то это не укладывается в трали-вали.

51. Все на свете трали-вали, фигли-мигли, шерри-бренди. И Мандельштам тоже клоун, но белый.

О, как же я хочу,  
Не чуемый никем,  
Лететь вослед лучу,  
Где нет меня совсем...

Когда я, наконец, отделаюсь, отвяжусь, забуду самого себя, выпишусь до дна, стану ничем и никем, тогда... я закончу свою книгу.

52. – Поэты – это Ангелы, – говорит Петрович и делает умное выражение лица. Я смотрю недоуменно.

– В иерархии Ангелов поэты занимают низший чин, – пытается спасти свою мысль Петрович.

– Чаво? – не сдерживаюсь я. – Сам-то понял, что сказал?

– Это как ефрейтор в армии, – сдается Петрович и лицо у него опять становится глупым. Петрович мой монтажер, жена у него поэтесса, оттого и заносит иногда.

53. И о понятливости. Женщина в поезде, хорошая.

– Раньше рубль заплатила и две недели в профилактории за счет профсоюза отдыхаешь, а теперь заводы у нас все стоят и на них вот такие крысы прыгают.

– У меня оба деда сидели.

– Вы, наверное, из семьи творческих профессий?

– Ну да и это есть.

– Так это понятно тогда.

54. Господи, воскреси моих мертвых. Мы сядем за столом, будем пить вино, смеяться и плакать. Они – смеяться, я – расплывусь в идиотской улыбке, а слезы будут лить не переставая. И пусть это будет, Господи, мой личный Великий потоп.

55. Вдруг появляются неодобрительные слова, строптивые, себе на уме, никак не лезут в строку. Спасаясь ритмом, мелодией, рифмой как оглоблей: полезай слово в стойло. Вот тоже – русский мат – кнут для предложения. Вставил и погнал смысл и чувство строка за строкой. А сейчас стой, твою мать! Птица-тройка вся из слов. Но Гоголь слова свои пестовал, породистых лошадей запрягал, а я так, где на собаках, где пешком, хромя на обе ноги. Но спроси меня: «Куда ты, странник?» «Не твое дело», – отвечу. Я – Царь, я больше, я значительно больше. Сам царь у меня на посылках: хочу – с большой буквы пишу, а захочу – с маленькой. У меня этих царей, королей, императоров... Да у меня одних рабов десятки тысяч. Власть над словами – вот моя литература. Хочу – либеральничая: живите, как живется, а захочу – выстрою всех по ранжиру в докладную записку казенного содержания. Что, впрочем, мне никогда не удавалось. Я легкомыслен, оттого и слова мои живут, как хотят, с кем хотят, не вспоминаются вовремя, не спешат слиться с мыслью воедино. У них у каждого своя мыслишка, свой норов каждое слово проявляет. Тьфу на них! Замолчу навеки, засажу всех в погреб своего разума, попомните меня тогда. Или еще хуже: возьму и перейду на украинский язык, то-то вззоет: вернись к нам, Александр Николаевич, правь нами по своему усмотрению. Не хочу. Я вам похлеще экзекуцию придумаю: я с ума сойду, вот тогда и насмешите всех своей бессмысленностью. Смотрите у меня, сукины дети.



56. На той стороне озера был лес, а на этой – хатки под соломой, два лебедя среди камышей и кувшинок, рыбак в соломенной шляпе, рыба губастая любопытную морду высунула, в небе голубом облака кудрявые, были Белки, а стал – настенный коврик. Лежу на кровати никелированной, на трех подушках одновременно, отдыхаю. Ходики стучат. О вечности думаю.

– Вот почему у меня такие длинные ноги?

И это не вопрос удобства моего размещения на кроватях. Вообще почему у меня ноги?.. и руки?.. и голова? Они мне не нужны. Совсем. Я что, ими думаю?

57. Все это не мое, Господи: жизнь, придуманная литературой и кино. Я живу неживой жизнью и чувствую надуманность в других. Ведь я и к Вигилянским поехал после Геддerta, но уже там почувствовал фальшь. Геддерт еще более растолстел, но это от нервов. Маша после родов залегла в психушке и не желает знать о ребенке. Юрка не отходит от сына ни на минуту, придумал себе три вопроса и рассказывает о них всем. Он по-детски надеется, что услышит ответ.

1. А что, если у Маши не проснется материнский инстинкт?
2. Хватает ли его любви сыну?
3. Надолго ли у него достанет сил?

Ребенок орет, Юркина мать – испуганная алкоголичка, появляется тенью, доказывает свою неспособность помочь и исчезает. Господи, все в его доме орет от боли, и плач младенца – мышинный писк, прорвавшийся сквозь фальшь. Что-то не так во мне, в жизни вокруг меня. Неужели это первородный грех так искорежил все вокруг и, глядя на жизнь, жизни не разглядеть? Почему ты молчишь, Господи? Я не верю, что сам смогу понять себя!

58. Младенца крестили на окраине Бутова; в щитовой, но по-европейски чистой церкви. «Читай «Верую...», – провозгласил отец. Нет, батюшка, собьюсь, давай молитвослов. В Символе Веры нет ни слова, за которое бы я не умер, но и нет во мне страха Божия. Есть испуг перед жизнью, птичий, суетный и все.

59. Я купил себе новые тапочки, хожу в них по дому, прогуливаюсь. Новые тапочки, хорошие. Сам какой-то неожиданный: почти новый. И душа обновкой довольна. А тут еще и Таня приехала. Девчонки выпили шампанского, взяли велосипеды и исчезли. Заявилась продюсерша-эзотерик и давай толковать о каких-то письмах к Богу. Чувствую, что – ересь, но киваю.

Два часа кивал. Юлия с Таней возвратились, катят по саду впереди себя велосипеды, смеются о своем.

– А это мои жены, – вдруг говорю я продюсерше.

– Обе?

– Ну да.

– Здравствуйте, девочки, – закивала теперь уже она. Более пошлой улыбочки я еще не видел. Но вот что любопытно: смотрю на ее выражение лица и вижу отражение своих мыслей. И ужасаюсь.

Утром, перед рассветом, выхожу из дому через столовую, а там вдруг Таня. Бледная, худенькая, в одном полосатом желто-оранжевом полотенце, увидела меня, глаза зеленые распахнула, а в них – беззащитность. И вчерашняя мысль, пошлой улыбочкой продюсерши в этих сумерках предрасветных ожила, закопошилась, да еще эта беззащитность в глазах...

– Доброе утро, Таня, – прошел мимо, оседлал велосипед, очнулся в озере. Уничтожение себя – отвратительно. Говорить с пошляком пошлости – мерзко. Слово, мысль, чувство – и есть бытие души. Молчать, не думать, не чувствовать свое – для этого необходимо усилие. Душа сама знает, что говорить и когда, а я – ее вульгарный пьяный кучер, такой в болото опрокинет и ну оплакивать: «Па-а-а-гу-бил ду-шу!»

60. Ощущение пустоты пришло внезапно. Вдруг чувствую, ничто не отзывается во мне, неотзывчивый какой-то. Я – часть пейзажа и все. Но и это много. С какой стороны ни гляну – пейзаж хорош. Иду по улице – хороша улица. В храм вошел – славно поют. Серафима Саровского сегодня праздник. Помазали, вышел из храма – кабак напротив. Водки выпил под соляночку. И ведь знаю, откуда пустота в душе образовалась: боль ушла. Куда? Почему? Пусто.

61. Вся моя жизнь – цепь предательств. Я даже не пытаюсь разорвать ее.

– Живущий по плоти и мыслит плотски, – говорит Головецкий.

– Хорошо сказано, Серега.

– Это апостол Павел.

Я живу из корысти, каждый свой шаг оправдывая причинно-следственной связью: петелька-крючок, но это и оказывается цепью моих предательств. Я предаю Бога? Да. Я предаю его в себе, я, собственно, и не живу, а предаю себя и всех вокруг. Страшный мысленный плен. Ад во мне и вокруг меня: мертвет все, к чему не прикоснусь. Господи, дай мне сил любить ближнего без всякой корысти, пусть маленькой, беспомощной, но любовью; не искать благодарности, ничем не гордиться, любить, отрек-

шись от себя абсолютно, не утешать себя надеждой взамен обрести Бога, тут опять гордыня, нет-нет, Господи, в моей любви меня не должно быть – вот замысел Твой, помоги мне исполнить его, Господи.

62. Позвонил Павлюченков и спросил, сколько мне лет? Достаточно, – ответил я, – чтобы не бояться любить. Понял ли сам, что сказал? Как случилось, что я перестал бояться любви и стал любить всех, без разбора, тому достаточно примеров, неожиданных для меня самого? И надолго ли меня хватит? А может, это было всегда и, если бы не грехи, пребывал бы в святости: местночтимый ирпенский святой раб Александр. Ах, какие светлые, чистые, дружеские отношения могли бы сложиться у меня с женщинами, если бы не моя похоть! А с мужчинами, если бы не зависть! Надо попробовать без похоти, без зависти, хотя бы из любопытства.

63. Образ привязывает меня к миру: образ детства, матери, друга, возлюбленной – всего лишь система координат – моя вписанность в мир. Отказаться от нее, значит отказаться от детства, матери, друга, возлюбленной и стать никем. Или что-то останется? Что, если явится То, о чем и помыслить страшно? Самоубийство при жизни? Нет, уверен, что именно тогда и начнется Жизнь. «Гамлет» почти об этом. Или об этом? Я отказываюсь от познания своей души, это бессмысленно, она непознаваема, в самой глубине своей – она тайна, как Бог, она и есть – Бог.

64. Таня уехала. Вхожу в кабинет. Под образом, привезенным Пафнутием из Иерусалима, горит лампада. Диван убран. На его спинке висит полосатое желто-оранжевое полотенце. Уехала.

Что осталось от Тани?  
Пряный запах герани.

65. – Когда мне открылся Бог, я не пошел, а побежал за Ним.  
– А я пуст, отец, совсем пуст.  
– Жди, свято место пусто не бывает.

66. Это пришло: меня не стало.



# ДЕТСКИЙ МИР

## ПРОБУЖДЕНИЕ ЧУВСТВ

**Д**ождь и ветер. Не спасает навес над бензоколонкой. Цифры на счетчике плывут. Протираю краем рубахи очки и бегу платить. Из машины на мокрый мир, на меня глядит Соня.

- Хочу есть, – говорит она.
- Сударыня, поехали к цыганам.
- Не хочу к цыганам, хочу есть.

Придорожное кафе в двадцати шагах. Паркуюсь ближе к входу. За стойкой – скифская каменная баба. Опять протираю очки, разглядываю витрину, потом ее. Нет, мы ей неинтересны. В пустом зале Соня грохочет стулом и усаживается в центре.

- Здравствуйте, – ответа нет. – Чем можно накормить ребенка?

Небрежно бросает на прилавок порцию лапши быстрого приготовления.

- Подогрейте, пожалуйста.

Она ставит лапшу в печь. Спина у нее человечнее лица.

– У девочки умерла мама, – вырывается у меня вдруг, – а я совсем не умею готовить.

Спина замирает. Сейчас она повернется лицом – другой стороной спины. Но я уже отступаю к Соне, присаживаюсь рядом. Вот мы – две сироты посреди холодного зала, в ожидании дешевой лапши. Простите нас, пожалуйста.

Каменная баба устанавливает перед Сонею поднос, декорированный салфетками, и возвращается за прилавок. Соня ковыряет пластиковой вилкой в пластиковой тарелке, лениво жует и вдруг отодвигает поднос от себя.

- Я хочу писать.
- Правильно говорить: я хочу в туалет.
- А где он?

Я кручу головой. Туалета нет.

- Иди сюда, девочка.

Каменная баба заговорила. Соня вопросительно глядит на меня.

- Ступай.

Вдвоем они исчезают в проеме за прилавком, а я доедаю лапшу. Чувствую взгляд на себе, поднимаю голову и вижу подобие женщины. Она не выдерживает, ее спасает появившаяся Соня.

- Пойдем отсюда, – говорит дочь.
- Сколько с нас?
- Жена? – вместо ответа спрашивает каменная баба.

– Что?

– Ее мать – ваша жена?

– Да, ее мать была... была моей женой. – Я кладу на прилавок деньги. – Прощайте.

– До свидания, – шепчет она.

В дверях мы с Соней оглядываемся, запомните нас такими, и видим, как по лицу каменной бабы текут слезы. Она отворачивается, ее спина дрожит. Мы осторожно прикрываем дверь, но слышим, как всхлипывает и вдруг захлебывается в рыданиях мир.

– Где вы пропадали? Мойте руки, обед готов, – командует Юлька. Юлька моя жена и мать Сони.

– Мы... – начинает Соня.

– Т-с-с-с, – умоляю я. Сонька улыбается мне, и мы смиренно идем мыть руки.

## ВРЕМЯ СКАЗОК

– П

ро жука, – просит Матвей.

– Про какого жука?

– Про... про жука, который был как мяч.

– Жил-был мяч, – начинаю я.

– Жук.

– Ну да, жук, который был как мяч.

Я рассказал уже тысячу сказок про жуков: черных; сиреневых; в розовую крапинку; в квадратик; прозрачных, как стекло; мягких, как подушка; плоских как дверь; больших, как дом; стеклянных, как лампочка; нежных, как одуванчик... Матвей обычно ложится чуть раньше Сони и, по праву первого, заказывает, про что и всегда – про жуков.

– Так вот, жук был не простой мяч, он был – настоящий футбольный мяч.

Тут появляется Соня:

– Мама сказала, чтобы мы помолились.

Мы становимся на молитву. Соня знает наизусть, Матвей – нет, и получается у него следующее: Отче наш, на небесех Имя Твое, Царство Твое, Воля Твоя. На земли долги наша, во искушение лукавого. В руце Твои Господи... Тут Матвей окончательно сбивается, но зато крестится за троих, после чего забирается под одеяло и требует продолжения сказки.

– Читай.

– Мяч очень любил летать. Он так и говорил: «Если любишь летать, привыкай к ударам судьбы». Под судьбой подразумевались ноги, головы и другие части тела футболистов, а также штанги, перекладины, само футбольное поле и даже любопытные репортеры.

– Как это? – спрашивает Соня. Удивительно, что Матвей никогда не просит разъяснений.

– А так: зазевался фотограф на краю поля, а в него мяч – бац!

– Почему?

– Потому. Не отвлекай, Соня. Я рассказываю про мяч.

– Про жука, – поправляет Матвей.

– Ну да, про жука, который был как мяч и очень любил летать.

– Но он же был футбольный мяч, – говорит Соня.

– Да, футбол он тоже любил и очень расстраивался, когда не попадал в ворота. Зато когда попадал, весь стадион кричал ему «ура», а футболисты обнимались и целовались. Но летать он все-таки любил больше. Однажды, когда он был еще совсем новый, его вынесли на поле и – как дали ногой!..

– Ой, как больно! – сказал мяч, и вдруг забыл про боль. Почему? Потому что он полетел. Он никогда раньше не летал. Это было так... так... В общем, это было прекрасно! Нет ничего лучше полета. К пинкам, шлепкам и ударам мяч почти привык, он сразу понял, что без боли не полетишь и надо терпеть, он ведь не воздушный шар, и не мыльный пузырь какой-нибудь, а настоящий футбольный мяч.

– Я не люблю футбол, – говорит Соня.

– А я совсем и не про футбол рассказываю, я – про полеты. Мяч летал быстрее птиц, и даже быстрее ветра. Иногда он взлетал так высоко, что, казалось, касался облаков. Но это только казалось. До облаков он так и не долетал, хотя мечтал об этом больше всего. «Однажды, пусть это будет очень больно, но я верю, что долечу до облаков и даже выше. Я приземлюсь на какое-нибудь облако, впервые приземлюсь и не ударюсь, мне совсем не будет больно, потому что облако очень мягкое». Вот о чем мечтал мяч.

Однажды его вынесли, как обычно, на поле. Народ на трибунах радостно встретил его появление, а судья подержал его в руках и сказал:

– До конца матча не доживет.

Ах, какой замечательный был матч! Зрители свистели и аплодировали мячу, а он весело скакал по всему полю. Он почти попал в ворота, но вратарь поймал его. Попасть в руки вратаря было совсем не больно, и даже приятно. Судья объявил удар от ворот, а это значит, что вратарь разбежится и со всей силы ударит по мячу и он полетит далеко и высоко, почти через



все поле. Это больно, но нужно перетерпеть. Вратарь разбегается, удар! «Господи, как больно! Так больно еще не было никогда. Все вокруг потемнело от боли».

«Что же это?» – подумал мяч. И вдруг боль прошла, совсем прошла, ее будто и не было, и вокруг стало светло, совсем светло.

– Где это я? – спросил мяч.

– На небе.

– А кто это говорит?

– Облака.

– Как же так?.. Я здесь, а футболисты, судья, зрители – там. Мне нужно туда, без меня не состоится матч.

– Ну так полетели, – сказали облака. Оказывается, на небе летать совсем не больно.

Соня и Матвей спят, и я уже давно говорю сам с собой. Аллилуйя.

## ПРО ЛАМПОЧКУ, КОТОРАЯ НЕ ХОТЕЛА ВЫЙТИ ЗАМУЖ

**–** **З**а кого? За этого? – и Соня указала на одиноко висящий на шнуре черный патрон.

– А пальцем показывать неприлично, – сказал Матвей.

– Он же черный и страшный, я бы тоже ему отказала.

– Вот он и повесился, – чуть было не добавил я, но осекся и продолжил: – Она не вкручивалась в патрон, я подумал, что бракованная, оказывается – нет.

– Я хрупкая, нежная, блестящая, во мне вольфрамовая нить, а моя шляпка, вы только посмотрите на ее изысканную спираль. У вас есть чувство прекрасного?

– Это цоколь, – сказал я.

– Это шляпка, – сказала лампочка и заплакала.

– Итак, вы отказываетесь?

– Ну, поймите же, наконец, что мы с ним не пара. К тому же он многоженец.

– Вдовец, – поправил я.

– Да-да, уморил всех своих предыдущих жен.

– В таком случае, ступайте в кладовку.

И я оставил ее там, на полке в темноте, пусть подумает. Всех, кто отка-

зывается жениться или выходить замуж, надо сажать в кладовку. Исключение для монахов и монахинь, те и так свет миру. Три дня мы терпели тьму на нашей кухне, не выдержал Матвей, он принес лампочку из кладовки и сказал: «Надо вкручивать».

– Ну где же ваш былой блеск? – спросил я.

– Я запылилась, – чихнула лампочка. – Но стоит меня протереть...

Слышали бы вы, как она визжала, когда я вкручивал ее в патрон.

– Венчается раба Божия лампочка рабу Божию патрону, включай!

Матвей щелкнул выключателем и стал свет. На лампочку невозможно было смотреть, так она сияла.

– Ну как? – спросил я.

– Я, я, я, кажется, счастлива, – прошептала лампочка.

– Матвей, позови Соню, пусть посмотрит, как прекрасна замужняя лампочка.

## КАК Я ВЫДУМАЛ СКАЗКУ

– Ж

или-были девочка Соня и мальчик Матвей.

– Нет, нет! – почти хором кричат Соня и Матвей. – Не хотим про нас!

– А про кого?

– Про, про бабочку, – говорит Соня.

– Про мотылька, – говорит Матвей.

– Хорошо. Жил-был мотылек. Однажды он влетел через открытую форточку в дом и стал летать по комнатам. В одной комнате на стене висела рамочка. Просто рамочка. В нее еще не успели вставить картину, и мотылек сел на стену внутри рамочки. Может, он решил, что это форточка, не знаю. Но тут пришли гости. Они увидели мотылька внутри рамочки и воскликнули: «Ах, какая прекрасная картина!» Потом ушли выпивать и закусывать. А рамочка сказала мотыльку:

– Спасибо большое.

– За что? – спросил мотылек.

– За то, что волею Божьей вы оказались внутри меня. Мы с вами чудесная пара. Вы же слышали, как все восхищались нами. Не улетайте, пожалуйста.

– Хорошо, – сказал мотылек. – Но давайте хотя бы познакомимся.

Весь день они разговаривали и очень понравились друг другу. Вечером, когда гости уходили, они опять остановились возле них.

– Удивительная, прекрасная, чудесная картина. Настоящий мотылек внутри рамочки. В ней нет никакой искусственности. Он приклеен или пришпилен?

– Нет, сам сел.

– Пришпильте или приклейте, будет очень красиво.

– Ну, мне пора, – сказал мотылек, когда ушли гости. – Прощайте.

– Вы покидаете меня навсегда? – спросила рамочка.

– Навсегда, – сказал мотылек и улетел.

– Прощайте, – прошептала рамочка.

А мотылек прилетел к себе домой, выпил чаю, лег в постель и запел свою любимую песню: «Баю-баюшки-баю, не ложися на краю...»

– Не хочешь песню, – говорит Соня.

– А я думал, ты спишь. Матвей уснул. Закрывай глаза.

– Мотылек вернулся к рамочке? – спрашивает Соня.

– Конечно. На следующий день мотылек порхал по саду, садился то на розы, то на хризантемы, но к вечеру вспомнил о рамочке. Он влетел в дом, в ту комнату, где висела на стене рамочка, и не увидел ее. Тогда он посмотрел вниз и обнаружил на полу разломанные кусочки дерева. Это и была рамочка. Она не вынесла разлуки с мотыльком, бросилась вниз и разбилась. А мотылек вернулся домой и лег спать. Баю-баюшки-баю...

Соня засыпает.

– Надо же, какая мелодрама получилась, – говорю я сам себе.

– Что, что, что? – спрашивает Соня сквозь сон.

– Утром я заметил разбитую рамочку на полу и ржавый, согнувшийся от горя, гвоздь в стене.

## ПРИНЦЕССА И КАРАНДАШ

**К**арандаш нарисовал принцессу. Очень хорошенькую. В длинном платье и с маленькой короной на голове.

– Благодарю, – сказала принцесса. – Я назначаю Вас придворным художником. – И вдруг рассмеялась: – Придворный художник без двора.

Карандаш нарисовал замок с крепостными стенами, башенками и двумя пушками у ворот.

– Какой Вы смешной, – сказала принцесса. – Двор – это вовсе не каменные стены. Двор – это фрейлины, учитель танцев, садовник, наконец.

Карандаш все исполнил, а чтобы садовник не сидел без дела, он нарисовал сад, в нем – пруд, в пруду – пару лебедей.

– Какая прелесть, – сказала принцесса. – Нарисуйте мне булочку, я иду кормить птиц. Я просила булочку, а не буханку. Ну ладно, ступайте, Вы мне пока что не нужны.

Буханка вместо булочки получилась потому, что грифель стерся и карандаш пошел к точилке. Точилка была старой и громоздкой дамой, сейчас таких не делают. Она была намертво прикручена к столу, вся из металла, чтобы заточить карандаш, надо было нажать на блестящие никелированные ушки сверху, вставить карандаш внутрь и крутить ручку. При этом она противно визжала. Вот такая инструкция к уже не существующей точилке.

– Пришел, – сказала точилка. – Ну и кого ты нарисовал? Фантазию? Что еще взбредет в ее маленькую голову? А ты тратишь, тратишь на нее свой талант. И-и-и-их! За что я тебя терплю? Стань реалистом: нарисуй меня.

Но уже заточенный карандаш спешил обратно, торопился к принцессе, ведь он ее придворный художник. Торопился не зря. Принцесса ждала его на краю сада.

– Куда же Вы пропали? Мне скучно. Почему вокруг нет гор, леса, облаков? Хочу реку. В ней есть рыба? А где поля? Трудолюбивые крестьяне? Деревушка? И церковь на холме.

И карандаш рисовал заснеженные горы вдали, густой лес внизу, оленя на опушке, мост через реку, задремавшего на лодке в камышах рыбака с удочкой, в поле – коров с колокольчиками, в небе – птиц. Иногда он исчезал ненадолго и возвращался опять аккуратно заточенный, готовый исполнить любой каприз.

– Какой Вы стали маленький, – сказала однажды принцесса. – А я всегда считала Вас большим художником.

Старуха точилка уже не ругалась, а только вздыхала:

– И-и-и-их! Она-то будет жить вечно. А ты? Еще одна заточка – и все. Вот что, не приходи ко мне больше, не хочу брать грех на душу.

– Мне одиноко без Вас, мой милый, маленький придворный художник. Может быть, это любовь? Странно. Что это Вы там рисуете? Кто это скачет на белой лошади? Нарисуйте-ка мне подзорную трубу. Ну вот. Теперь я вижу – это... это... это принц! Прекрасный принц, и он скачет сюда. Что же это я? Господин придворный художник, что это со мной? Немедленно нарисуйте на краю этого поля маки и васильки, я буду собирать полевые цветы, нет, лучше нарисуйте венки мне на голову, да, венки из полевых

цветов, а в руки – Библию, ну, рисуйте же, рисуйте скорее, я буду смиренно читать Библию, и нарисуйте маленькую беленькую собачку, принцесса без маленькой белой собачки... Ах, поздно, он заметил меня... Ступайте, ступайте пока.

– Ну вот и все, художник, – сказала точилка карандашу. – Исписался. И ради чего? Сказки дурацкие. Что это ты там еще мазюкаешь? Это еще кто? Я, что ли? Хм. Похожа. Ну, так и быть, последний раз заточу тебя и все, больше не проси.

– И-и-и-их! – завизжала точилка, и карандаша не стало: сточился весь, до конца.

– Эй, художник, ты где? Ты чего? И-и-их!

Этой точилки уже нет. Я бы не вспомнил о ней, но вчера среди старых бумаг нашел неоконченный рисунок: стол, а на нем точилка для карандашей с никелированными ушками. Недостает ручки, но это неважно, сейчас все равно таких уже не делают.

## БЛАГОНАМЕРЕННАЯ ИСТОРИЯ

**Ж**ил-был человек. Утром он шел на работу, вечером – с работы, когда надо – в магазин, по воскресеньям гулял после обедни. Церковь он любил, Бога – нет. Он знал, что Бог – это все, но представить себе это все не мог. На исповеди каялся в том, что не может исполнить первую заповедь, зато со всеми остальными у него был полный порядок. Он ценил соседей, уважал родителей и коллег по работе, никогда не врал, не крал и даже не мечтал жениться. Он вообще ни о чем не мечтал. Иногда, читая книги, глядя кино или слушая музыку, он удивлялся чужим переживаниям, но с собой это никак не связывал и, тем более, не завидовал. Бывало, смеялся или огорчался и даже плакал иногда, но при этом сознавал, что слезы от искусства – легкие, скоропреходящие и в сердце их не откладывал. Такой вот был человек.

Однажды ночью он проснулся от того, что сильно ударился головой.

«Ну вот, – подумал человек и почесал лоб, – впервые в жизни упал с кровати». Он приподнялся на колени, поискал глазами тапочки, но не нашел. Прикроватного коврика тоже не было. Не было и кровати. Вместо нее рядом торчала люстра.

– Ага, – решил человек, – я сплю.

Закрыв глаза, сложился калачиком и опять ударился головой.

– Надо лечь на спину, на спине самый здоровый сон.

Он повернулся и увидел под собой тапочки на прикроватном коврикe, кровать и вообще всю комнату.

«Странный сон, – подумал человек, – все вверх дном».

Он встал на колени, перекрестился, поднялся на ноги и выглянул в окно. Мир за окном тоже был вверх тормашками.

«Мир не может встать на голову, значит, на голове стою я, – подумал человек. – Надо перевернуться».

Что он и сделал. При этом ноги его оказались в воздухе, плавно покачиваясь над кроватью, а голова уперлась в потолок.

«Присниться же такое, – подумал человек, – я летаю, и не будь потолок – вылетел бы в небо. А вдруг это не сон?»

Человек посмотрел на часы – половина третьего.

– Надо помолиться. Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя, грешного, – прошептал человек. Молитва подействовала: он стал медленно опускаться на пол.

– Фух, слава Богу, – сказал человек, коснувшись ногами кровати, – наутро забуду этот дурной сон, а сейчас спать, спать, спать...

Но как только он задремал, тело его плавно потянулось к потолку.

– Господи Иисусе Христе сыне Божий, – почти закричал в ужасе человек, – помилуй мя, грешного!!!

Беспрерывно повторяя эти слова, он улегся на кровать, привязал себя к ней простыней и уснул в изнеможении.

Наутро он с радостью обнаружил себя в кровати. Но под потолком. Кровать тянула его вниз, а грудь болела, ведь он обвязал себя простыней.

– Это не сон, – сказал человек и опять стал непрерывно читать «Господи Иисусе...»

Опустившись, он развязался, оделся, помылся, кое-как почистил зубы и поспешил в церковь.

В церкви пономарь читал утреннее правило. Человек прислушался и тотчас обнаружил, что легко и без напряжения стоит на цыпочках.

– Сейчас как зависну под куполом, – представил он и, трясаясь от страха, зашептал Иисусову молитву. На исповеди, перемежая слова молитвы со своей историей, человек покаялся в грехе летания. Батюшка был добрый, и неслыханный грех отпустил, даже благословил причаститься Святых Тайн. Причастившись, человек вышел на улицу и обнаружил, что уже не летает. Он даже попытался подпрыгнуть – нет, не леталось. Сверху вниз шел дождь, обычный осенний дождь. Ходили пешеходы под зонтами, проезжали мокрые автомобили и трамваи.

«Хорошо-то как», – подумал человек и вдруг почувствовал ко всему этому любовь.

Половина десятого. Соня и Матвей уже спят. Пойду и Юльке расскажу. Придет же такое в голову, прости Господи.

## ЛЮБОВЬ – НЕ КАРТОШКА

Душа стояла на цыпочках посреди комнаты совершенно голая. Человек наводил в своей квартире порядок: он уже вымыл окна, протер пыль и теперь мыл пол.

– Замерзла? – спросил человек Душу, достал из шкафа рубашку, брюки, подумал и взял пиджак.

– Какая же ты нелепая в пиджаке, – сказал человек. – Хочешь чаю?

Душа чаю не хотела, но согласно кивнула.

– Скучно со мной? – спросил человек и поставил чайник на плиту. – Конечно, я не художник, не поэт, не композитор. Хочешь, послушаем радио?

По радио передавали метеосводку.

– Скоро зима, – сказал человек. – А тут ты... Может, ты не моя? Может, ты ошиблась?

– Твоя, – сказала душа и запела.

– Т-с-с-с, – сказал человек. – Соседей разбудишь. Пей чай.

Душа замолчала.

«Что же мне с ней делать? – подумал человек. – Увидят друзья или знакомые – обсмеют. Была бы уродиной, мне бы сочувствовали, а тут – обзавидуются».

– Хочешь, я постригусь наголо? – спросила Душа. Человек посмотрел на нее и вздохнул,

– Надо завтра картошки купить, два мешка, – сказал человек и стал считать в кошельке деньги. Душа молча пила чай. А человек вдруг вспомнил, как отец привозил на мотоцикле в коляске картошку в мешках из грубой холстины. Мама улыбалась, отец смеялся, и в доме становилось светло от этой простой радости. Отец ссыпал картошку в деревянные ящики и говорил:

– Ну вот, картошка есть, перезимуем.

А человек, тогда он был еще маленьким, повторял:

– Катощка есть, пеезимуем.

Букву «р» он не выговаривал.

Однажды отец умер. В начале зимы, накануне святого Николая.

– Я видела твоего отца, – вдруг сказала Душа. – Он в раю.

Человек посмотрел на нее и не поверил:

– Что он там делает, картошку доедает?

– Нет, картошку там не едят. Его душе хватает твоей любви.

– Как это?

– Вот сейчас ты вспомнил о нем, и его душа засветилась, а когда ты забываешь...

– Ладно, давай спать, – сказал человек. – Завтра купим картошки, – и зевнул. – Как-нибудь перезимуем.

Во сне человек увидел рождественскую елку, украшенную лампочками, они мерцали, как души в раю. Потом он увидел отца. Отец смотрел на него с любовью. Человек заплакал во сне, а Душа его улыбнулась.

## ЖИВОЕ

«**М**ама, я очень хочу собаку. И я понимаю, что ты не хочешь ее мне купить, но я так скучаю по ней». Я пишу на Сониной записке. Мне жаль нового чистого белого листа. Ночь. Ни звезд, ни луны. Душно. В черном дворе бродит Сара. Кавказская овчарка. Полное имя – Сара Бернар. Она утыкается в меня и требует почесать за ухом, уходит на аплодисменты. Я возвращаюсь к бумаге. Соне нужна игрушечная собака, недавно мы видели ее в магазине: мопс спит на подстилке, видно, как он дышит, не отличить от настоящего. Мне стало страшно, а Соне – нет. Эта собака – ложь, хотел крикнуть я, но промолчал. А что такое правда? Вдруг Соня спросит. И что я отвечу? Что правда – живая? Вы видели посмертную фотографию Че Гевары? Убийцы снялись вместе с ним. Там только одно живое лицо: улыбающееся лицо убитого. Я мог бы написать о нем сказку. Соня, мои сказки живые. В них каждое слово мной прожито. В моих сказках нет бури, нет потрясения. Но на то они и сказки, чтобы явиться после бури. Ветер стихнет, волны успокоятся, море уже не пугает. Вот по воде идет Христос. Отдохните, родные. Баюшки-баю. Христос – живой. Живая моя вера в Него. Стоит забыть о Нем, и я умираю, и тогда живу мертвой жизнью: среди бурь и потрясений. Гребу из последних сил, страдаю от жажды и одиночества. И вдруг, посреди пустыни – Христос. Молитесь. И уже не страшно. «Когда я был в Африке», – начинаю я, но Соня и Матвей требуют сказку про жука. Им неинтересно про жизнь. Они дети. И мир вокруг меня – огромный детский мир с закрытыми глазами. Соня, открой глаза, Христос перед тобой, Он молится о нас.



## МАШИНА ВРЕМЕНИ

**В**ремя вернулось, село за стол, достало из портфеля «ноль семь» портвейна и пару жигулевского пива.

– Давай стаканы, – сказала Время, ударив на последний слог.

– Мне нельзя, – сказал человек.

– Ладно, я само, – сказала Время. – За встречу!

Оно разом осушило стакан, тотчас наполнило его пивом, отпило, отрыгнуло, вытащило из кармана мятую пачку «Примы» и закурило. Человек в недоумении разглядывал этикетки на бутылках.

– Виноградную косточку в теплую землю за-а-а-рою, – запело Время.

– Этому портвейну тридцать два года, – сказал человек.

– Нет, сегодняшний. И пиво свежее. Будешь?

Человек встал, подошел к зеркалу и не узнал себя в отражении.

– С утра мне было пятьдесят, – сказал человек.

– За твои восемнадцать! – сказала Время, наливая в два стакана. Человек вернулся к столу, залпом выпил полный стакан вина и потребовал пива:

– Наливай! И лозу поцелую и спелые гроздья сорву-у-у-у, – вдруг запел человек. – За тысяча девятьсот семьдесят седьмой!

– Может, по девочкам? – спросило Время.

– А кто там у меня сейчас?

– Оленька.

– Которая?

– Которой ты недавно сделал предложение. Старше тебя на десять лет.

– А-а-а, помню.

– Отказала.

– Мудрая женщина. А ты какого пола?

– Среднего, – сказала Время.

– Ни то, ни се. И за окном советская власть! – сказал человек и опять запел: – И друзей созову, на любовь свое сердце настрою.

Время закашлялось.

– Семьдесят седьмой, – задумался человек, – значит, Гошка еще жив, и Мишка, и брат, и отец. Вообще – все живы! Звони Димке, он умер недавно! Нет, лучше Витьке, я его отпевал месяц назад.

– Как это?

– На девятый день, у могилы, литию отслужил, некому было.

– Лития – это что?

– Панихида.

- Надо же, ты раньше ничего такого не знал.
- Хочешь сказать, что я в Бога не верил?
- Верил, но как-то по-своему. Тогда многие по-своему верили.
- А теперь?
- Теперь по-другому.
- По-твоему, я – фарисей.
- Я – всего лишь Время, категория безнравственная, к вере отношения не имею.
- Ладно, давай звони Витьке.
- И что мы ему скажем? Что ты отпелал его месяц назад?
- Н-да. Наливай.
- А иначе зачем на земле этой грешной живу-у-у! – дуэтом запели человек и Время.
- Т-с-с, – испугался человек. – Соню с Матвеем разбудим.
- А их нету, – сказала Время.
- Как это нету?.. А ну да! Еще нету.
- Уже может и не быть.
- Стоп! Как это, не быть? – сказал человек и икнул.
- Ты хотел вернуть время? Я вернулось.
- А Юлька? Моя жена...
- Ходит в детский сад.
- Что?
- Ей уже четыре года. Можем пойти познакомиться.
- Смешно. Моя жена младше моих детей, которых может и не быть... Человек вдруг перестал икать.
- Зато ты можешь увидеть живыми отца и брата.
- Я хочу увидеть живыми своих детей.
- Давай выпьем за детей, не чокаясь.
- А ведь ты вовсе не время, – вдруг сказал, мгновенно протрезвевший, человек. – Ты хуже смерти. Ты – черт. Господом моим Сыном Божиим Иисусом Христом заклинаю тебя – изыди вон, сатана.
- Ну как знаешь. Я посуду заберу? Завтра сдам. Эти – по двенадцать копеек, ноль семь – по пятнадцать, итого – тридцать девять. Хватит на бокал пива, еще и сдачи семнадцать копеек. Похмелюсь.

## ЧЕЛОВЕК С МАЛЕНЬКОЙ БУКВЫ

Анастасию, сыну Петра и Виктории, ко дню рождения

— **У**

так, господа!..

— Мы — не господа! — говорит Соня.

— А кто же вы?

— Мы — девочка Соня и мальчик Матвей.

— Отказываюсь делить вас по половому признаку. Уважаемая госпожа Соня и не менее уважаемый господин Матвей, сегодня я расскажу вам сказку про жука, который был человеком!

— Ты уже рассказывал нам про человекoв, — говорит Соня, — это было неинтересно.

— Да, — вторит Соне Матвей, — неинтересно.

— Ну то были обычные человекoи, так сказать, человекoи с большой буквы, а этот — с маленькой.

— Как это? — спрашивает Соня.

— А вот как! Жил-был человек. Сначала он, конечно, родился. Детство промелькнуло, юность — тоже, но тут пришла молодость, и человек вдруг сказал: «Жить хочется».

И занялся каким-то очень полезным для всех делом. Потом он влюбился, женился, у него появились дети, но...

«Жить хочется», — сказал человек и пошел в Церковь. Там он крестился, венчался, крестил детей, жертвовал на храм, раздавал милостыню, а по воскресеньям всей семьей исповедовался и причащался Святых Тайн, но...

— Жить хочется, — вдруг говорит Соня.

Да. И человек утроил усилия: молился утром, днем и вечером, ни на кого не гневался, никому не завидовал, всех любил, но...

— Жить хочется! — хором кричат Соня и Матвей.

Но вдруг смертельно заболел. К нему привели священника, тот соборовал его, в последний раз исповедовал и причастил, а родные спросили:

— Хочется ли ему еще чего-нибудь?

— Жить хочется, — прошептал человек. И тут вдруг вошел Ангел, и вокруг стало светло. Ангел взял его за руку и сказал:

— Пойдем.

— Куда? — спросил человек.

— Жить, — ответил Ангел.

— Все, — говорю я. Соня и Матвей молчат. Кажется, они поняли, про что я придумал сказку, а я — нет.

— Ангела-хранителя, дети.

## ПРИСКАЗКА

**М**ой маленький друг,  
Мы с тобой перейдем это белое поле,  
Как только отступит недуг,  
Что нам корь? Вот придумала горе.

Снег падал всю ночь,  
Обязательно купим салазки,  
Но снег этот, дочь,  
На большого больного повязка.

Я все об одном...  
Жили-были старик со старухой,  
И был у них дом, и огромное белое поле.

## СВЯТОЙ ДУРАК

**Ж**ил-был человек...  
– Ты нам про человека уже рассказывал, он умер, – говорит Соня.  
– Это другой.

– Я хочу про жука, – говорит Матвей.  
– Терпение выше храбрости. Это Соломон сказал. Так что терпите, детки. Сказка скучная, зато нравоучительная.

– Чего?  
– Полезная, Соня. Так вот, этот человек никогда не был на исповеди. В церковь ходил, а на исповеди не был.

– Я тоже не исповедовался, – говорит Матвей.  
– Ты еще маленький, а вот я исповедовалась. Заходишь в темную-темную комнату...

– Соня, слушай сказку.  
– Ладно.  
– Решил этот человек исповедаться. Грехов у него накопилось целый мешок и даже больше. Пришел он в церковь, выстоял очередь, исповедался и с легким сердцем пошел домой. А наутро церковь рухнула. Н-да.

Но человек не придал этому никакого значения и стал жить дальше. Жил, грешил понемногу, а иначе не проживешь, не святой все-таки, а так, обычный человек. Насобирали грехов воз и маленькую тележку и опять пошел в церковь.

– Она же рухнула.

– Он, Соня, в другую пошел, в новую. Там он исповедался, а наутро эта церковь тоже рухнула. Задумался человек. «Наверное, я большой грешник, если после моей исповеди церкви рушатся. Попробую жить без греха». Он бросил пить, курить, никого не обижал, не врал, чужого и лишнего не брал, ближних любил, в общем – почти святой. А почти, потому, что есть грехи мысленные. С ними всего тяжелее. Увидишь, например, у кого-нибудь новые штаны и поневоле позавидуешь. А зависть – грех наитягчайший. С него все началось: позавидовал ангел Богу и стал чертом. И вот со всеми своими мысленными грехами человек пошел в самую новую церковь на другом краю города. Страшно ему было, но он все-таки исповедался, а утром прочел в газете, что и эта церковь рухнула.

«Этак никаких церквей не останется, – подумал человек. – Видно, я великий грешник».

Огорчился человек очень, пошел в лес, вырыл себе пещерку и там в одиночестве стал все время молиться, так много, что и мыслить стало некогда, а только каяться в своем окаянстве и славить Господа Нашего Иисуса Христа за то, что терпит он такого великого грешника. Питался он травами, кореньями, ягодами да грибами. Из лесу не выходил. Звери к нему привыкли: то белка орешков принесет, то сорока – рябину с мороза, сладкую, то еж – яблочко с дикой яблони. Люди к нему стали приходиться, молитв и благословения просить. Но он их гнал прочь.

– Нет, – говорит, – на мне Божьего благословения, великий я грешник.

За это люди его избивали до крови. Больно били, а он радуется.

– Так, – говорит, – мне и надо, бейте родненькие до смерти. Я своими грехами три церкви разрушил, а вы меня одного убить не можете.

Не убили. Так оставили. Заполз он в свою пещерку, вход хворостом заткнул, помирать собрался. Но вдруг слышит, в пещерку лезет кто-то.

– Кто ты? Человек или зверь? Если человек, прошу, добей меня, у тех не получилось, так хоть ты их дело исправь.

– Христос Воскресе, радость моя, – слышит человек голос старческий.

– Воистину Воскресе, – разлепил опухшие губы человек, а потом и веки открыл. Видит – старичок седой рядом.

– Ты кто? – спрашивает.

– Я Серафим Саровский, радость моя.

– Ты ведь святой, зачем ко мне, грешному, пожаловал?

– Догадайся.

– Может, и я здесь святым стал?

– Нет еще.

– Ну слава Богу.

– Ты, радость моя, дурак.  
 – Это почему так?  
 – Возомнил, что от твоих грехов церкви рушатся.  
 – Так и было.  
 – Вот я и говорю, дурак. Первая – от старости рухнула, а две новые – от жадности и воровства строителей.  
 – Спасибо тебе, батюшка Серафим, что в гордыне моей неумной меня уличил. Жаль, поздно, помираю я. Исповедаться бы?  
 – Так ты уже исповедался. Этот грех твой единственный.  
 Причастил святой батюшка Серафим человека и принял его последний вздох. А наутро вход в пещерку обвалился, к весне все травой поросло и где теперь могила этого человека, никто не знает.  
 Соня плачет, и Матвей плачет, и у меня слезы вылупились. Жалко нам дурака, жалко, хороший был человек – святой.

## СИЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

– Да, – сказала девочка, – любовь должна быть сильной!  
 Хорошая девочка, стихи пишет.  
 – А добро должно быть с кулаками? – спросил я.  
 – Да, – она гордо вздернула веснушчатый носик. – Добро должно уметь постоять за себя!

О, сколько я видел таких девочек и мальчиков. Когда их покидала любовь, оставалась сила, и они крушили всех и вся. Потом уходила сила, но они по привычке сжимали ссохшиеся старческие кулачки, не замечая обнажившейся злобы.

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит».

Почему, когда я читаю эти строки, мне хочется плакать, силы покидают меня и вспоминается бабушка Саня... Она была полуграмотная крестьянка, родила семерых детей, состарилась, ослепла, но глаза – ее голубые глаза – сияли. Что это был за свет? Не знаю. Чтобы не сидеть без дела, она вязала из разноцветных лоскутков небольшие половички. Какими радостными были эти половички. Она раздавала их знакомым и родственникам. И мне досталось. И в моей комнате был праздник. Бабушка никогда меня не осуждала.

– Бог попустил, – светло вздыхала она. И всякое Божье попущение оказывалось Божьей волей, горе – вразумлением, смерть – облегчением. Вот такой была ваша прабабушка.

– Это вся сказка? – спрашивает Соня.

Нет. Только начало. Жил да был человек, звали его Савл. Он был очень сильный, любил свою родину и ненавидел врагов. И вот с огромным мечом в руках, весь в латах и кожаных ремнях, пришел он к бабушке Сане, встал во дворе, посреди куриц и индюшек, поднял свой меч и спросил:

– Кто твой царь, отвечай?

– Иисус Христос, – ответила бабушка Саня.

– Где твое царство?

– На небе.

– Ага! Мой царь на земле и царство мое здесь, а значит ты – враг мой. И за это я отрублю тебе голову!

– На все Божья воля, – сказала бабушка Саня. Савл размахнулся мечом и вдруг яркий свет ослепил его и раздался голос:

– Савл, Савл, зачем ты гонишь меня?

Савл упал на землю и замер, а свет исчез.

– Что же ты остановился, – спросила его бабушка Саня, – бросил свой меч и не завершаешь задуманного?

– Я ослеп, – сказал Савл. – И я слышал голос.

– Бог с тобой, садись рядышком. Я научу тебя вязать половички. Как тебя зовут?

– Савл.

– Я буду звать тебя Павлом. Так мне привычнее. Возьми красный лоскуток.

– Но я ослеп.

– А ты, Паша, сердцем смотри, оно все видит.

Вот такими я их и увидел: вашу прабабушку Саню и апостола Павла. Они сидели рядышком, вязали разноцветные половички и беседовали.

«Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднятся». Аминь.

## СПИЧЕЧНАЯ СУДЬБА

– Я придумала сказку, – говорит Соня.

– Внимание! Внимание! Сегодня сказку рассказывает Соня. Матвей, мы с тобой закрываем глаза и слушаем. Давай!

– Ну...

- Ну – слово паразит, Соня.
- Как это?
- Очень просто: каждое слово что-то обозначает, а слово НУ не значит ничего.
- Расскажи сказку про жука, который был словом, – просит Матвей.
- «Вначале было Слово, и Слово было у Бога и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через него начало быть. В нем была жизнь, а жизнь была свет человеков». Бог! Представляете, какая жизнь началась бы со слова НУ? Рассказывай сказку, Соня.
- Я не сама ее придумала, мы с мамой...
- Рассказывай.
- Подсвечник упал с буфета, когда ему отказала свеча.
- Все?
- Да.
- Значит, это ты разбила сахарницу?
- Подсвечник прихватил ее с собой, когда падал с буфета. Мама сказала, что это он от отчаяния. А я только свечку вставляла.
- Понятно. А дальше что?
- Все.
- Там были спички?
- Я их не зажигала.
- А спички лежали в коробке и ждали. Каждая спичка мечтает о том, чтобы сгореть не даром. Они как принцессы лежат в своей спаленке-коробочке и мечтают. И вот в один прекрасный день коробку открыли, пальцы достали спичку, чиркнули ею о коробок и прикурили сигарету.
- А спичку выбросили в мусорное ведро, – говорит Матвей.
- И это все? – спросила спичка и умерла.
- Папа, бросай курить, – говорит Соня.
- В следующий раз коробку открыли, достали спичку и зажгли ею газ, чтобы приготовить детям манную кашу.
- По крайней мере, благодаря мне дети будут сыты, – сказала вторая спичка и тоже умерла. Вот так тратились спички на всякие хозяйственные дела и они стали думать, что нужны только для того, чтобы разжечь плиту, прикурить сигарету, зажечь свечу или распалить огонь в камине. Все это было необходимо, но спички верили во что-то другое. Во что именно, они не знали, потому сами придумывали оправдание своей жизни. Но выходило как-то скучно, обыкновенно: жили как все и умирали как все. В конце концов в коробке осталась одна-единственная спичка. Она не захотела зажигаться, и папа спрятал ее обратно в коробок, чтобы не мусорить, а коробок забыл в кармане.



И вот однажды они всей семьей пошли гулять в лес. Была зима, темно-ло, пошел густой снег и они заблудились. Дети замерзли и стали плакать. Папа снял с себя куртку, чтобы укутать детей, и вдруг обнаружил в кармане коробок с одной-единственной спичкой. Той самой, которая не хотела зажигаться. Папа насобирал хворост, достал спичку из коробка и сказал: «Давайте помолимся».

– Господи, помилуй, – сказали дети и перекрестились. Папа чиркнул спичкой о коробок, и она зажглась. От нее загорелся хворост, стало светло, и вскоре дети согрелись. А спичку папа бросил в костер, и она тоже сгорела, дотла. Но не умерла.

– Я живая, живая, – шептала спичка улыбающимся детям, – и я не умру никогда.

Но дети не слышали, дрова радостно потрескивали, а у спички был слишком тихий голос. Снег прошел. Выглянули звезды. Дети отдохнули. Папа потушил костер, и они пошли домой. Вот и все. Ангела-хранителя, дети.

## СЛЕЗЫ

**Я** был великим сказочником. Я сшил себе черный плащ и склеил высокую шляпу. Я вышел на сцену и сел в карету. Случайной попутчицей оказалась прекрасная дама. Лицо ее было скрыто вуалью, но и меня не было видно – была ночь. Так было написано в пьесе. Впрочем, ремарки вслух из глубины сцены читала учительница литературы. А мы с таинственной незнакомкой вели неспешный диалог. Я – Андерсен, безответная любовь великого сказочника открывалась в моих репликах. Зазвучала тихая музыка. Это играл на гитаре Сереженька Дмитровский. Он умер два года назад в Иерусалиме. Но это потом... Зал затих. Сейчас я признаюсь ей в любви. Как бьется сердце. Сейчас-сейчас. Вдруг она спрашивает, как я выгляжу – в карете темно.

– У меня карие глаза и длинные темные волосы, – шепчу я.

– Что-что? – переспрашивает она.

– У меня карие глаза и длинные темные волосы, – говорю негромко.

В первых рядах раздается неясный шум, неловкий смешок...

– Я не расслышала, повторите, – требует незнакомка. И я кричу на весь мир:

– У меня карие глаза и длинные темные волосы!

Она смеется, зал покатывается от хохота. Да, я – коротко стриженный голубоглазый блондин, а не кареглазый брюнет, и эту реплику следовало переписать. Но не я автор пьесы. Пьесы, которая провалилась из-за того,

что у меня не тот цвет волос и глаз. Учительница требовала исторической правды, но правда живая, и тогда, на сцене, Андерсен был голубоглазым блондином. Зал смеялся над великим сказочником, а я плакал за кулисами.

– Позвольте представиться, Андерсен Ганс Христиан.

Он стоял передо мной без шляпы и плаща, в сером сюртуке на два размера больше и протягивал платок. Я вытер слезы.

– Саша Столяров.

– Очень приятно. Вы плачете от обиды?

– Да.

– Не стоит.

– Но ведь они смеялись и над Вами.

– Значит, Вы плачете и моими слезами тоже? Плакать своими слезами как чужими – привилегия великих актеров.

– Я не хочу быть актером, я хочу быть сказочником, как Вы.

– Но я никогда не плачу своими слезами.

– А чьими, чьими слезами плачете Вы?

– Слезами Христа. Оставьте платок себе, он Вам еще пригодится. До свидания.

Ганс Христиан Андерсен скрылся в кулисах, а меня вызвали на сцену. Мне аплодировали.

## МАЛЬЧИК

**М**ама ушла. Мальчик сидел на стуле перед пустым окном и всхлипывал: «Милая мамочка, вернись, пожалуйста, мне без тебя скучно». Мама ушла тайком. Навсегда. Отец ходил по комнате, растерянно разводил руками, иногда выдыхал из себя воздух, как троллейбус, открывающий двери пассажирам. Потом зазвенел мелочью, пересчитывая деньги.

– Я в магазин, – сказал отец, – хочешь, пойдём со мной?

Не дождавшись ответа, он хлопнул дверью.

«Милая мамочка, за что ты меня бросила? Разве я такой плохой, мамочка? Если папка плохой, бросила бы только его, а меня возьми с собой. Я буду хорошим, мамочка, вернись, пожалуйста, заberi меня отсюда, ну пожалуйста, пожалуйста...»

Звякнул ключ в замке. Но мальчик не побежал к двери, а, глядя в пустое окно, испуганно зашептал: «Мамочка, вернись, мамочка, вернись, мамочкавернись, мамочкавернисьмамочкавернисьмамочкавернись...»

Дверь открылась, мальчик осторожно повернул голову.

– Я купил тебе пластилин, – сказал отец, снимая пальто. Мальчик отвернулся. Отец достал из карманов бутылку вина и пакет.

– Сейчас котлет нажарим, – он прошел к окну и положил на подоконник коробку с пластилином. – Вот. Хочешь кушать?

Мальчик замотал головой.

– Надо поесть, а то еще умрем от голода.

А мальчик вдруг понял, что ему очень хочется умереть от голода. Когда он умрет, на его похороны придет мама (на похороны нельзя не приходиться) и будет плакать. И папка будет плакать, они даже обнимутся от горя. А мальчик будет лежать в гробу мертвый и тоже плакать от счастья.

Отец нажарил котлет, налил вина себе и полстакана мальчику.

– Мы мужчины, – сказал отец и поставил на подоконник стаканы и сковородку с котлетами, – мужчины должны терпеть.

Вино было противным, но мальчик выпил, потому что он мужчина и должен терпеть.

– Фух, – выдохнул отец и взял в руки коробку, – это пластилин. Из него можно сделать все, что хочешь.

Мальчик посмотрел на отца, и отец почувствовал себя обманщиком: из пластилина нельзя сделать мать.

– Хочешь, я вылеплю лошадь, гнедую?

Отец выбрал коричневый пластилин и стал разминать его в своих руках. А мальчик впервые заметил, что руки у отца худые, с тонкими, почти женскими, пальцами.

– У лошади мосластые ноги, очень крепкие, тяжелый круп, задние ноги вначале сильные, потом утончаются, но копыта широкие, прочные. Шея длинная, изящная и морда, смотри, какая красивая морда. И глаза...

Ночью отец выл, а мальчик лежал рядом и молчал от страха, а потом устал бояться и заснул. Утром отец разбудил его.

– Я на работу, ненадолго, я вернусь, хорошо? А ты спи, спи, я вернусь.

Когда мальчик проснулся, в окно светило солнце. От его тепла лошадь на подоконнике размякла и опустилась на колени. Мальчик открыл коробку с пластилином и стал лепить мир. В нем были мужчины и женщины, дети и старики, деревья и дома, слоны, верблюды, кошки и собаки и даже одна парикмахерская с парикмахершей. В этом мире люди влюблялись, женились, у них появлялись дети, они вырастали и уходили на войну, но никогда не умирали. Случалось, кому-нибудь отрывало пушечным ядром руку или ногу, или даже голову, друзья и родные оплакивали героя, но он вскоре воскресал. Потому что мальчик лепил новую руку или ногу, или даже голову, а на грудь – ленту с орденом, отчего вчерашний герой становился только красивее.

– Ах, какая тонкая работа! Ты, наверное, станешь скульптором или ювелиром, – восхищались гости отца, – и как много всего, целый подоконник! Молодец.

Мальчик хотел рассказать им об этом своем мире, о том, что в нем влюбляются навсегда, никто никогда не предает, не лжет, не ворует, не ссорится, а офицеры и солдаты воюющих армий с удовольствием ходят в одну парикмахерскую. Но взрослые спешили к столу. Там они пили, закусывали и пели песни о любви и о родине. А мальчик, слушая их песни, вдруг почувствовал, что все они кем-то брошены. От невыносимой тяжести в душе они собираются вместе и пьют вино. От вина и оттого, что они вместе, сердце их наполняется любовью, и тогда даже грустные песни приносят радость.

Мальчик вырос. Он не стал ни скульптором, ни ювелиром. Он решил стать писателем. Пластилиновый мир на подоконнике он оставил, потому что стал взрослым, а взрослому стыдно играть в пластилиновых солдатиков. И это было его первое предательство. Потом мальчик понял, что предавать – это природа человека. Он стал как все: мучаться своими предательствами, терпеть, прощать и ждать прощения. Книги его не покупали.

– Все это сказки, – говорили ему, – в ваших книгах влюбляются навсегда, не лгут, не убивают, не воруют, не ссорятся. Читателю это неинтересно, потому что так не бывает.

«Бывает, – думал он, но не говорил ничего, – зачем убеждать человека в том, что они и сами знают. Такой мир есть, но мы бросили его, и сознаться в этом нам стыдно».

Мальчик, хотя он уже и не мальчик, будем называть его писателем, хотя, какой же он писатель, его никто не издавал, поэтому он зарабатывал на жизнь чем придется: помогал тем и этим, и только по ночам продолжал писать свои книги. По воскресеньям он ходил в церковь. Он сам однажды понял, что тот, брошенный им, пластилиновый мир он не выдумал, он существует на самом деле там, наверху. И он молился, нет, не Богу, он молился своему настоящему пластилиновому миру. И все вокруг, он это видел, тоже молились этому миру, потому что он был, если не на подоконнике, то в душе у каждого.

Вот так мальчик прожил свою жизнь, состарился и однажды к нему пришел Ангел.

– Пойдем, – сказал Ангел.

– Куда? – спросил мальчик.

– В магазин, купим тебе пластилин.

Они купили самый лучший пластилин. В коробке были все цвета, и они никогда не кончались. Какая-то волшебная коробка.

– А теперь закрой глаза, – сказал Ангел.

Мальчик закрыл.

– Открой.

Мальчик открыл глаза и не увидел ничего. Мир вокруг был пустой, как окно в детстве. Мальчик открыл коробку и вылепил из пластилина маму. Она ожила и обняла его.

«Значит, отец не обманул», – подумал мальчик и вылепил отца. Отец улыбнулся сыну, обнял жену, и они вдвоем расплакались от счастья. А мальчик, чтобы они не скучали, вылепил им друзей, деревья и дома, гнедую лошадь, слона и верблюдов, собаку, кошку и птицу и даже одну парикмахерскую с парикмахершей.

## ИРПЕНЬ-РЫБА

— Мы живем на рыбе, плывем по небу и благодарим Господа.  
– Неправда, мы живем в Ирпене, – говорит Соня.  
– Мы живем на рыбе. Бог создал великую рыбу Ирпень, она может плавать в воде и летать по воздуху. Зачем? Нам неизвестно. Может быть, для того, чтобы люди, отражаясь в ее огромных немигающих глазах, видели себя сверху. Если это так, тогда понятно, отчего во время великого потопа она ушла под воду, легла на дно и решила умереть. От огорчения. Ирпень-рыба не знала, что Бог создал ее вечной. Схлынувшие воды потопа покрыли ее плодородным илом. На нем выросли травы, кусты и деревья.

– Я не понимаю, – говорит Соня.

– Я тоже еще не понимаю. Слушай, Соня. Смотри, Матвей молчит.

– Соня, не плачь, – говорит Матвей.

– Потомки Ноя поселились на этой земле и основали город. Да, Ирпень-рыба стала всего лишь географическим понятием: городом с загадочным названием – Ирпень. Если путешествовать из Киева по житомирской дороге, вам встретятся села с чудными человеческими названиями: Стоянка, Капитановка, Милая, Мечта... Но это мы уже проехали мимо. Повернуть направо нужно сразу за Капитановкой, после церкви с голубыми куполами. Пересечете поля, леса и упретесь в холм, покрытый травами, кустами и деревьями. Это и есть Ирпень-рыба. Нет, она не умерла, она спит. Наш дом стоит на ее хвосте. Мордой она уперлась в дорогу на Варшаву. Поперек проложили железнодорожные пути. Вокзал, базар и кладбище – с виду обычный провинциальный город, с обычным населением. Но это не так. Нам снятся удивительные сны. Мы к ним уже привыкли, но любой приезжий, однажды увидев сон в Ирпене, всю жизнь мучается над его разгадкой. Никто не знает нашей тайны: наши сны – это сон Ирпень-рыбы,

поделенный на всех. Нам сняться дни творения мира, каждому ничтожная часть. Мы собираемся вместе в церкви, чтобы сложить частицы сна воедино, и кажется, вот-вот – и случится чудо. Но чуда не происходит. Если бы сны Ирпень-рыбы не были так огромны, мы бы сложили, как кусочки зеркала, все наши разрозненные сны и увидели бы вечность Прошлого. Если бы все ирпенцы собрались вместе, сон – всего лишь один сон Ирпень-рыбы – соединился бы в нас и... Не знаю. Может, тогда Ирпень-рыба проснется, и мы поплывем по небу. Господь милостив.

## ПИКНИК НА ТОМ СВЕТЕ

**– В**се, ухожу от вас. – Матвей складывает свои картонные иконки, берет Псалтирь и уходит в угол комнаты.

– Ты куда? – спрашиваю я.

– На тот свет, – бросает Матвей, опускается на коленки, ставит иконки вдоль стены, раскрывает Псалтирь и, глядя в нее, что-то шепчет. Читать Матвей еще не умеет, тем более на церковнославянском.

– Вот, Матюша и вчера так, обиделся и ушел на тот свет, – говорит Соня.

– Вчера ты меня укусила.

– А ты...

– Помолчи, Соня, пожалуйста. Юля, – зову я. – Юля!

Юлия появляется не сразу. Она пишет образ святого Алексия на заказ.

– Что?

– Матвей ушел от нас на тот свет.

– А как же этот? – спрашивает она. – Матвей?

Матвей продолжает шептать, будто молится. Или это он так молится? Я вижу, как покатались слезы по его лицу.

– Давайте устроим пикник на том свете, – говорит Юлия.

– Пикник! Пикник! – радуется Соня.

– Папа принесет нам из кухни лимонад и баранки. Да, папа?

Я бегу на кухню, возвращаюсь, звеня чашками.

– Матвей, прости меня, пожалуйста, – просит Соня.

– Прощаю, – вздыхает Матвей. Он уже не плачет. Псалтирь лежит в стороне. Я разливаю в чашки лимонад и раздаю баранки. Мы все сидим на полу в углу комнаты напротив картонных иконок Матвея, жуем баранки и пьем лимонад. Пикник на том свете.

## ПОКАЯННЫЙ КАНОН

- Ты где был? – спрашивает Матвей.  
– В церкви был, – говорю я. – В грехах своих каялся.  
– Папа исповедовался, – объясняет Соня Матвею. – Пап, у тебя много грехов? У меня много, очень!  
– А у меня больше, – говорит Матвей.  
– У тебя еще нет грехов, – говорит Соня. – Потому что тебе еще рано исповедоваться, ты еще маленький.  
– У меня, у меня... у меня сто грехов и еще вот столько, – растопыривает пальцы на руке Матвей.  
– Раз, два, три, четыре, – считаю я. – У тебя, Матвей, сто четыре греха.  
– Вот, Соня, видишь! – торжествует Матвей.  
Я замерз. На улице ветрено. Ветви деревьев мечутся, скрипят, не дай Бог, порвут провода, останемся без электричества. В церкви мне казалось, что это бесы бьются о стекла окон, кричат и плачут детскими голосами. И еще я придумал, что свечной огонь – отражение ангелов, архангелов и серафимов. Как в зеркале. Я видел, как трепещут их крылья. Сквозняк. Я кланялся земными поклонами, потел и надеялся, что вместо пота тело мое впитает слова покаянного канона. Душа скукожилась от страха, что тело не выдержит бесконечных приседаний и упадет. Я молил Бога, крепился, приседал, опускался на колени, касался лбом пола, опять поднимался, и сладострастное тело мое выдержало. Понедельник, вторник, среда. Завтра последний день Канона. Как быстро. «Время жизни моей кратко и наполнено огорчениями и пороками, но прими меня в покаянии и призови к познанию истины». Надо же, запомнил. Телом запомнил.

## ЧЕРНЫЙ ПИАНИН

- Расскажи сказку, – просит Матвей.  
– Страшную, – говорит Соня.  
– Очень страшную? – спрашиваю я.  
– Угу, – говорит Соня.  
– Страшную-страшную?  
– Да! – хором отвечают они.  
Весь вечер Соня долбила по клавишам нашего пианино. Должна была получиться «Колыбельная» Моцарта. Я люблю Моцарта, но сегодня...  
– Я расскажу вам сказку про Черного Пианина.  
– А правильно говорить черное пианино, – заявляет Соня.

– Да, но это неправильная сказка. Слушайте. Жил-был Черный Пианин. Он стоял на сцене летнего театра в одном пионерском лагере.

– Это в том, что возле нас, я знаю. Там уже ничего нет, – говорит Соня.

– А раньше было все и даже театр. Так вот, Черный Пианин стоял на сцене, на груди у него сияли медные подсвечники, и на нем с удовольствием играли взрослые и дети. Пианин очень любил детей. Если у них не получалось, он сам незаметно нажимал свои клавиши, и все получалось. Слушать летним вечером музыку – это счастье. Но лето заканчивалось, дети разъезжались по домам, а Пианина уносили в домик сторожа, где он грустил всю зиму, вспоминая робкие прикосновения детских рук. Он вздыхал, расстраивался, но... приходила весна. Весенняя капель отзывалась в душе Черного Пианина самыми тонкими струнами. Иногда, среди ночи, в сторожке вдруг раздавалось: «Дзы-ы-ынь!» Это рвалась струна от нетерпения.

– А чтоб тебя! – говорил сторож, просыпаясь и переворачиваясь на другой бок. Сторож не любил музыку. Быть Пианином и жить с человеком, который не любит музыку, – ужасная мука. Но Черный Пианин терпел, потому что знал: придет лето, рабочие вынесут его на сцену, настройщик поменяет порванные струны на новые, настроит и... Н-да. Счастливым не нужен рассказчик. А Пианин был счастлив: он любил детей, дети любили музыку, лето пролетало как один день. Вот оно уже и кончилось. Дети разбежались, зарядили дожди, на черную деку упали желтые листья, но никто не пришел и не отнес Пианина в теплую сторожку. Вдруг все исчезли. Нет, однажды ночью появился дурнопахнущий человек. Пианин с трудом узнал в нем бывшего сторожа, тот «с мясом» вырвал подсвечники. Пианин вздрогнул всеми струнами, сторож тоже вздрогнул от испуга, сунул подсвечники за пазуху и скрылся в темноте. Утром пошел снег. Снежинки залетали в свежие раны на груди Пианина и таяли на струнах. «Дзы-ы-ынь! Дзынь!» – отзывались струны, разрываясь от боли и обиды. «Нет-нет, я сплю, разбудите меня, коснитесь моих клавиш, я проснусь и отзовусь музыкой, – думал Пианин. – Можно забыть меня, но музыку? Ее нельзя забыть. Без нее нельзя жить. Нельзя! Без музыки все умрет!» И в самом деле, все вокруг умирало. Сначала по ночам, а потом и среди бела дня стали появляться некрасивые люди. Они снимали двери с петель, шифер с крыш, доски с полов. Ради забавы били стекла в окнах. Наконец добрались и до сцены. Человек, нет-нет, Пианин отказывался признать в нем человека, с хохотом стал бить молотком по клавишам. И, о ужас, остальные аплодировали ему. Потом они сбросили Пианина на землю. Он вдруг зарыдал, потом затих, забылся и очнулся уже под утро. От его сцены не осталось ничего, ничего, кроме кривых ржавых гвоздей на бетоне. Пианин попробовал пошевелить оставшимися клавишами. Они отозвались неприятными, какими-то всхлипывающими звуками.



– Мерзость, – сказал Пианин, – кругом мерзость и внутри меня мерзость. Одна мерзость.

Он даже не удивился тому, что вдруг заговорил. И чего удивительного, если в душе больше не было музыки. Со скрипом и стоном Пианин выполз из театра, добрался до леса, в овраге укрылся ветвями и листьями и решил умереть. Но он не умер, он уснул, казалось, навсегда. Весенняя капель разбудила его. Все тонкие струны в нем лопнули еще зимой, капли скатывались по толстым струнам и приятно охладили душу. Была ночь.

– Пора, – сказал сам себе Черный Пианин. Он выполз из-под гниющих листьев, вышел на дорогу и стал ждать. Луна прорвалась сквозь облака и отразилась в его потрескавшейся деке.

– Уродина, – сказал Пианин. Завыла собака за забором, ей отозвались другие, и Пианин вдруг тоже завыл, басом. По дороге, пошатываясь, шел человек. Пианин преградил ему путь.

– Здраштуйте, – сказал Пианин. Из-за отсутствия клавиш у него испортилась дикция.

– Чего? – оглянулся по сторонам человек.

– Не желаете сыграть на мне «Колыбельную» Мошарта?

– Отвали, – сказал человек.

– Вы не любите мушкыу? – спросил Пианин.

– Нет, музыку я не люблю, – ответил человек и гордо икнул.

– Ну штош, – сказал Пианин, раскрыл свою кривозубую черно-белую пасть и проглотил человека. Немного еще постоял, пережевывая брюки, сплюнул пуговицами и не спеша ушел в лес.

Вот так появился в наших краях Черный Пианин. Говорят, днем он отсыпается в лесу, в овраге под прошлогодними листьями, а ночью ходит по дорогам и пожирает тех, кто не любит музыку. Возможно, он угомонится, если кто-нибудь сыграет на нем «Колыбельную» Моцарта. «Спи, моя радость, усни...» Соня, ты спишь?

– Нет.

– А Матвей спит. Спи, моя радость.

– Это правда?

– Что, правда?

– Про Черного Пианина? Он живой?

– Это сказка. Спи.

## ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ ДОМЕ

**С**оня сказала, что когда она вырастет, станет художником, напишет картину, продаст ее за миллион и купит себе розовый дом.

– А как же мы? – спросила Юлия.

– И вас заберу, – сказала Соня.

А я вдруг представил себе нашу жизнь в розовом доме. Утро. Просыпаюсь и... абсолютно здоров. И все здоровы. Помолились вместе, позавтракали и по делам. Я с Матвеем – в поле, пахать и сеять. По благодати Божьей я вдруг стал крестьянином: землю понимаю, чувствую каждое растение, каждую птицу, зверя, рыбу, каждое насекомое люблю. Рядом с нашим розовым домом я вырастил бы огромный сад. На южном склоне холма – виноградник. На лугу – коровы, овцы, козы. Прислонюсь к коровьему боку, зажмурюсь от удовольствия, Бога поблагодарю, лошадь запрягу и – на мельницу. Матвей у меня в помощниках, все на лету схватывает. Мельница на реке старая, но в отличном состоянии. Мы на ней муки намелем, Юлька с Соней блинов напекут. Яйца в курятнике, вино в погребе, хлеб на столе. И все у меня получается: и корову подоить, и в огороде... везде успеваю. Усталость легкая, радостная. Соскучусь – Юлькин портрет напишу или песню запою во весь голос. А голос у меня глубокий, чистый. Курить брошу. В розовом доме это запросто: не хочется курить и все. А какая баня у нас! Деревянная. Головецкого приглашу, не вечно же ему в общественных банях париться. Петровича с семьей. Розовый дом большой. Головецкий бы тоже женился, и каждый год его жена рожала бы по ребеночку, а то и по двое. Кино бы мы бросили. Вот еще, глупости. А театр – нет. На досуге мы бы наши пьесы поставили. Вот бы Чехов посмеялся. Антон Павлович бы во флигеле жил, и тоже – абсолютно здоров, не кашляет, утром линей в пруду ловит. А Пушкин с Гоголем в карты дуются, каждую ночь, и шампанское пьют. Хармс в лесу грибы собирает: подберезовики, белые, маслята в ельнике. Толстой с Достоевским монашествуют в скиту. Шаламов детям убиенным сказки рассказывает. Они в розовом доме живы, все живы, блаженные. И Христос жив. С кем это Он там беседует? Лесков – замечательный писатель. А рояль слышите? Это Рахманинов. Завтра Моцарт приедет. Юлька блинов напечет. Н-да. А я ведь собирался про смерть написать. Много чести: писать про то, чего нет. Нигде нет.

## БЛАГОРАЗУМНЫЕ РАЗБОЙНИКИ

— С

ейчас-сейчас, сейчас...

Я не знаю, что им рассказать: ничего не придумывается.

– Сейчас, только вы не засыпайте...

– А мы и не спим, – говорит Соня.

– Юля, – зову я, – может, ты им считаешь?

– Фу! – отмахивается Юлька, – что ты пил?

– Три рюмки всего, – кричу я вслед. – Значит так, детки, звонит мне вчера один мой приятель и говорит: «Санек, умер уважаемый человек, завтра похороны, надо снять».

– Хорошо, – говорю я, – а зачем?

– Надо, Санек.

– Надо так надо. Приятель этот хороший: когда-то был композитором, музыку сочинял. День у меня сегодня свободный, с утра взял камеру, еду.

– Это сказка? – спрашивает Соня.

– Надеюсь. Итак, приезжаю я к приятелю. Он глядит на нашу машину...

– На нашу Поленьку?

– Да, Соня. И говорит: «Поедем на моей». У него машина большая.

– Джип? – спрашивает Матвей.

– Ну да, джип. Едем. Снег пошел. Падает и тает. Улица на окраине, вся запружена большими черными машинами. Перед домом мужчины стоят серьезные, спокойные, без ложной скорби на лицах.

– Это, Санек, – говорит приятель, – все самые уважаемые люди в нашем городе: депутаты, бизнесмены, прокуроры.

– Не обидятся, что я их снимать буду?

– Обижаются, Санек, лохи. А мы делаем выводы и принимаем решения.

– Лохи – это наивные люди, – объясняю я Соне и Матвею.

– А мы кто? – спрашивает Соня.

– Вы – дети, лох – это я. – Выхожу из машины, ставлю камеру на штатив, резкость навожу, вдруг голос сверху:

– С кем ты, брат?

Поднимаю голову. Стоит человек-гора, сверху лысая, взгляд снисходительный.

– Я, – говорю, – с Сеней.

– С каким Сеней?

– С композитором.

Улыбнулась гора:

– А здесь, браток, не Сеня музыку заказывает.

– А кто? – спрашиваю я и чувствую, что напрасно согласился снимать, лучше бы дома сидел. Тут, слава Богу, приятель мой появился, отходил куда-то.

– Все нормально, брат, – говорит он человеку-горе. – Черный хочет кино. И всем передай – оператору не мешать.

Кивнул человек-гора и отошел в сторону. Тут гроб выносят, я снимаю. Катафалк подъехал на перекресток. Менты улицы перегородили. В гробу парень молодой. Один человек с портретом, другой с крестом. Шестеро короткостриженных гроб подняли, понесли на крепких плечах. За гробом – женщина в трауре, молодая и красивая.

В окнах и за заборами – любопытные. Процессия молчаливая, без музыки. Ноги в блестящей обуви ступают по лужам. Лица сосредоточенные, движения заученные. Крест, портрет, венки и тело без суеты в катафалк погрузили, по машинам разошлись. Тронулась вереница черных автомобилей. В конце приятель мой подъезжает.

– Садись, Феллини.

В машине тепло, руки отогреваю, так бы ехал и ехал.

– Лет двадцать назад, Санек, мы были молоды. И в городе, сам знаешь, все вопросы проще решались. Если кто против, подъедешь ночью, из автомата очередь над дымоходом дашь – наутро нет возражений. А сейчас выросли, остепенились. Теперь не только о своем деле душа болит, о городе, о стране думать нужно. Часовню на кладбище видишь? Наша работа. Да и кладбище гораздо шире стало.

– Вы, стало быть, теперь благоразумные разбойники?

– Это как?

– Был такой. На кресте рядом с Иисусом страдал, раскаялся и первый в рай попал.

В часовне отец Геннадий панихиду служит, уважаемые люди крестятся, «вечную память» подпевают. Вынесли гроб к яме, помолчали, заколотили, закопали. (Каждый горсть земли бросил.) Разошлись. Я один остался. Снегопад кончился. На венках ветер ленты полощет: «Незабвенному другу и брату...» Кладбище огромное, могилы до горизонта.

– Складывай свою треногу, Феллини, – подъехал, не забыл меня приятель. – Черный благословил тебя на поминки привезти. Кассету давай. Там снимать не надо. Я вот думаю, может, к этому фильму рекемием написать?

В ресторане мы с краю сели.

– Это наша харчевня, Феллини, тут все по-домашнему. Если голоден – заходи, накормим. Ты постишься, что ли? Правильно. Вот икорки возьми, черной, она полезнее. После третьей – перекур. Идем, Феллини, покурим.

От тепла и от водки меня развезло. Композитор меня под руку в холл ведет, с братвой знакомит.

– Вот, – говорит, – Черный, разреши тебе представить лучшего режиссера в стране.

Смотрю – мужчина, крепкого телосложения, в белой рубашке, рядом человек-гора в руках пиджак и галстук держит.

– Всех снял? – спрашивает Черный.

– Всех, – говорит Композитор, – кассета у меня.

– Как нам отблагодарить тебя? – спрашивает Черный. Я не сразу понимаю, что это он ко мне, и пожимаю плечами.

– Он в мэрии полгода театр пробивает, – говорит Композитор.

– Театр? В мэрии? – на лице у Черного недоумение. – И это все, чего ты хочешь?

– Проси, Феллини, чего хочешь, проси, – шепчет Композитор. А я курю, и дым пускаю кольцами. Смех меня вдруг разобрал.

– Значит, я теперь тоже, – говорю я и смехом давлюсь, – тоже благоразумный разбойник?

– Это он из Библии, – извиняется за меня Композитор, – про того, кто рядом висел. . .

– Знаю, – обрывает его Черный. – Хочешь театр?

– Театр? – переспрашиваю я. И вдруг говорю: – Не хочу.

– А чего же ты хочешь? – спрашивает Черный и смотрит на меня стальными глазами.

– Хочу ныне же быть в раю.

Черный у человека-горы галстук взял, туго на шее затянул, подставил руки под пиджак, застегнулся, полы одернул, коротко глянул на меня и вышел вон.

– Так это не сказка? – спрашивает Соня.

– Угу, – отвечаю я. Матвей уже спит. Все, слава Богу.

– И ты был в раю?

– Да.

– Значит, Черный исполнил твое желание?

– Единственное.

## ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

**Н**у, конечно, Соня, это была среда. В ту среду тоже шел дождь. Иуда весь мокрый пришел в синагогу. Там уже были первосвященники. Они узнали его. Волосы на его голове слиплись, с одежды капало, на полу грязные следы его сандалий.

– Я знаю, где Он, – сказал Иуда.

Первосвященники смутились. Иуда знал, чувствовал много больше. Он знал, что они хотят убить Христа, он знал их трусость и нерешительность и он презирал их.

– Я приду к ним со стражей и поцелую Его, – сказал Иуда.

– Сколько ты хочешь? – спросили первосвященники.

Иуда улыбнулся. Неужто они будут торговаться?

– Тридцать сребреников.

– Хорошо, – сказали они.

Я не знаю, Матвей, может быть, кошелек бросили на пол, может быть, из него даже высыпалось несколько монет, и Иуда поднял их, но я вижу, как он поднимается с колен, вижу его лицо, лицо гордого сильного

человека. Первосвященники отвернулись. Иуда вышел вон. На улице все еще шел дождь. Иуда подставил лицо дождю и омыл его. Вы заметили, когда человек смотрит на небо, он улыбается. Чистое небо, снег или дождь – все равно человек улыбается. Иуда улыбался. На улицах было пусто. Вдруг проехала крытая повозка, возница с любопытством посмотрел на Иуду.

– Но-о-о, ленивые! – стеганул лошадей.

Тысячу раз, Соня и Матвей, мир будет предоставлять вам случай совершить подлость. Вы почувствуете, что эту подлость хотят совершить все вокруг, но боятся. А в вас, как и во мне, нет страха. И вы почувствуете в себе силу с легкостью совершить то, что они не смогут никогда. Так было со мной не раз. Я презирал их за трусость и нерешительность, совершал недоступную им подлость, а после презирал себя.

Иуда повесился. Дождь прошел. Завтра чистый четверг.

## КРИК

« **У** мира с человеком война. Когда мир не может убить душу, он убивает тело. Если сейчас какой-нибудь террорист взорвет среди нас бомбу, мы все, наверное, попадем в рай», – так размышлял человек, идя крестным ходом на Пасху. Он шел не спеша, его обгоняли другие, торопясь услышать: «Христос Воскресе!» Человек не думал о Воскресении. Еще вчера, в Страстную пятницу, он вот так же шел со всеми крестным ходом вокруг храма. Тогда шел дождь, отцы несли плащаницу, следом – хор, потом – прихожане. Бо-о-ом! – бил большой колокол. Потом – Бом повыше, еще выше, еще и, наконец, самый звонкий – День! И опять – Бо-о-ом! «Бог умер, – думал человек. – Какие хорошие похороны: никто не торопится, и дождь. На человеческих похоронах всегда есть немного суеты, а здесь так спокойно, грустно, хорошо. Умер Бог. Так было в пятницу, а сегодня Великая суббота, ночь. Я пройду этот круг, и Христос воскреснет. Но отчего в сердце моем нет предчувствия радости, отчего я не спешу, как все, завершить круг?»

Чтобы не было скучно, человек стал складывать слова в историю. Он любил это делать. Вот и сейчас сложилась история про деревенского батюшку Василия. Он был старенький и у него начинался склероз. Однажды в Великий пост во время чтения Покаянного Канона он перед алтарем поднялся с колен и не смог вспомнить слов молитвы. Батюшка смотрел на свою паству, плакал и шептал: «Все не то, братцы, все не то...». И все в церкви вдруг заплакали, даже хор. И всем было хорошо. И Бог был посреди всех.

От этой придуманной истории человек тоже захотел заплакать, но слез не было.

«В моей душе пустота, – подумал человек. – Сейчас наш молодой батюшка возгласит: «Христос Воскресе!», а я вместе со всеми откликнусь:

«Воистину Воскресе!», но это будет ложь! Христос умер в моем сердце в пятницу, а я, как паршивая овца, со своей затаившейся ложью бреду со всеми вместе. Нет, я буду молчать. Если я, как и они, воскликну: «Христос Воскресе!» – я стану предателем среди всех».

Человек и не заметил, как оказался у паперти, зажатый со всех сторон, среди лиц, с надеждой глядящих наверх, туда, где стояли батюшка, дьякон, пономари с хоругвями.

– Христос Воскресе! – воскликнул батюшка.

– Воистину Воскресе! – закричали все вокруг человека одним общим выдохом.

«Какие у них неинтересные, уставшие лица. А у меня, какое лицо у меня?» – задумался человек.

– Христос Воскресе! – во второй раз воскликнул батюшка.

– Воистину Воскресе! – опять закричали все вокруг.

«Все они веруют, – подумал человек, – брошенные и забытые на Земле люди. Но ведь и я такой же брошенный и забытый всеми человек. Но я не забыл Бога, я помню Его, Он умер в пятницу. Не то, братцы, не то!» – захотелось крикнуть ему.

– Христос Воскресе! – в третий раз возгласил батюшка.

«Какое у святого отца светлое лицо. Какая радость в нем. Я знаю, что эта радость и свет не от людей. Эта радость от Бога. Но отчего ее нет во мне? Отчего, Господи, ты не даешь мне радости твоего Воскресения. Отчего я не верую в него, Господи? Господи Иисусе Христе, дай мне веры в святое Твое Воскресение, прости меня, Господи, и помилуй! Господи, помилуй, Господи помилуй, Господипомилуйгосподипомилуйгосподи...»

– Воистину Воскресе! – отчаянно закричал человек и вдруг почувствовал, что кричит со всеми вместе, почувствовал, что стал как все, нет – больше, много больше: он почувствовал, что стал – все, и стал Бог.

## СУХАРИК

– **В**се! Это последняя сказка, и вы уснете, чтобы проснуться взрослыми. Вы постареете за одну ночь, мои сказки станут вам неинтересны, и я умру от печали и ...

– Ну давай, рассказывай уже, – перебивает меня Соня.

– Хотите, чтобы я умер?

– Ты не умрешь, – говорит Матвей, – ты шутишь.

Сегодня, проезжая по нашей улице, заметил Юрия Ильича. Он стоял, опершись на калитку, и не узнавал меня. Я вышел из машины, двигатель не заглушил.

– Христос Воскресе, Юрий Ильич!

- Воистину.
- Как здоровье?
- Плохо.

Я всмотрелся в него. Похудел. Лицо обтянулось кожей, глаза поблекли.

- Умру скоро.
- Устали?
- Устал.

Я попробовал пошутить и не смог. Юрий Ильич, наш Ильич, живет с нами по соседству. Познакомились мы пять, нет, шесть лет назад. Въехали мы в январе, а в мае я вышел с тачкой собирать мусор в лесу около дома.

– Что вы тут делаете? – обратился ко мне ответственный прохожий, когда я вез на мусорник очередную полную тачку.

- Навожу порядок.
- Зачем? – будто допрашивал тот.

Я уперся в него тачкой и сказал:

- У меня три высших образования.
- Ну и что?

– А то, что для того, чтобы понять, зачем убирать мусор в ничейном лесу, необходимо иметь не менее трех высших образований.

– Этот лес государственный, а не ничейный, – возразил прохожий. И вдруг нас окружили блеющие козы.

– Вот они понимают, а ты нет, – сказал подошедший старик.

«Пастух», – подумал я, глядя на суковатую палку в его руке.

– Иди отсюда, фашист, – обратился он к прохожему и тот пошел.

– Ну давай знакомиться, – и пастух протянул мне руку. – Юрий Ильич, сосед.

Я обтер ладонь о штаны, и рукопожатие мне понравилось: сухое, крепкое, мужское.

– Почему фашист? – спросил я, кивая в сторону удаляющегося прохожего.

– А то кто ж? Избранный. Народ ждал, кого после коммунистов терпеть будет, и дождался. У нас теперь чиновничий фашизм. А ты правильно делаешь, – он ткнул палкой в мою тачку. – У меня сюда руки не доходят. Вон, видишь, вишенки вдоль дороги? Напротив мой дом. А вишенки я для своего созерцания красоты посадил, и для услаждения вкуса прохожих.

Козы заблеяли громче.

– Сейчас пойдем. Дайте с человеком поговорить, – отозвался Ильич. – Чадам твоим, – он достал из кармана две карамельки и протянул мне.

Вот так мы и познакомились. Весной. А летом на моей калитке появился самодельный крючок из проволоки. На нем кулек с огурцами, потом –



с помидорами, с молодой картошкой, ближе к осени – яблоки, буряки... И козье молоко, когда Матвей простудился.

– Пляши, Матвей, не жалея лаптей, – Ильич протягивал Матвею карамельку, или яблоко, или грушу...

– И Софии – мудрости Божьей, гостинчик от деда.

Дети бросали «спасибо» и убегали во двор. А мы беседовали, в окружении коз, о том, что мир становится хуже, о Боге, который все это терпит, и о человеках, потерявших страх Божий.

– Куда мы идем, вот вопрос, – завершал Ильич, лукаво подмигивал и вел своих коз домой.

Иногда, если у меня были гости, и мы сидели во дворе, я приглашал его за стол. Ильич выпивал «за здоровье присутствующих представителей культуры», быстро пьянел и требовал, чтобы я снял «обличающий падший мир фильм». Козы ждали его у калитки и жалобно блеяли.

– Народ мой скорбит, – кивал в их сторону Ильич, – страдает без вождя. Оттого что без веры живет. Но они животные. А мы кто? Вот вопрос.

А в прошлом году, сославшись на нездоровье, Ильич коз продал. Встречаться мы стали реже. Но всякий раз, при встрече, он доставал из кармана пару карамелек, или яблочко, или пару сухешек. Вот и сегодня, прощаясь, Ильич остановил меня, пошарил в карманах и протянул мне сухарик. Обычный сухарик.

– Чадам твоим.

И я поехал с мыслью, что старик недолго протянет.

Умер Ильич накануне великомученика Георгия. В тот день на вечерне освящали пять хлебов, потом раздавали кусочки.

– Как называется этот хлеб? – спросил я батюшку.

– Хлебчик.

Я сунул его в карман и обнаружил сухарик Ильича. Удивился совпадению. Хлебчик я еще получу в церкви не раз, и съем его, помолившись, на рассвете; а сухарик Ильича – последний и единственный. И как я с ним поступлю, еще не знаю. Господи, упокой душу раба Юрия.

## ДЕРЕВО

– Пойдем спать, – просит Матвей.  
– А Соня?  
– У Сони соннапсина.

Мы оставляем Соню, Юльку и под сонатину Клементи поднимаемся на второй этаж. Идем в темноте, взявшись за руки, мы – бесстрашные

мужчины. Но в детской я зажигаю настольную лампу и умиляюсь растопыренным пальчикам на ножках Матвея. Наши ноги такие разные. У меня скрюченные от вечно тесной в детстве и юности обуви пальцы, а тут... Мой сын – свободный человек.

– Расскажи про жука, который был деревом, – говорит он, забираясь под одеяло.

– Жил-был жук. Жужжал – что хотел, ел – когда хотел, летел – куда хотел. Однажды утром он проснулся, расправил крылья и не смог взлететь. Его задние лапы вросли в землю, его руки превратились в ветви, а на них появились зеленые листья. Вот так жук стал...

– Деревом, – подхватывает Матвей. – А теперь расскажи про жука, который...

– Подожди. Это только начало. Появилась компания жуков, его приятелей.

– Эй, смотрите, новое дерево! – крикнул один из них.

– Свеженькое, – сказал другой, и все они стали есть его листья.

– Друзья! – закричал жук, который стал деревом. – Я тоже жук, я совсем не дерево. Но они не поняли его, ведь он кричал на деревянном языке. Для жуков это был всего лишь шелест листы. Компания скоро наелась и улетила, а жук остался один. Впрочем, не совсем один. Вокруг тоже были деревья.

– Здравствуй, новое дерево, – сказали они.

– Я не дерево, я – жук: жужжу – что хочу, ем – когда хочу, лечу – куда хочу. Деревья вокруг тихо засмеялись всеми своими листьями. Незаметно пошел дождь, была осень, дождь был долгий: до ночи. Но когда он кончился, с листьев жука еще долго падали капли. Жук плакал. Плакал, плакал и заснул.

Утром вышло солнце. Жук проснулся и подумал: какой ужасный сон мне приснился. Во сне я был деревом. Но подул холодный ветер, больно обрывая листья, и жук понял, что это не сон. Ах, ему захотелось стать хотя бы листочком, чтобы полететь куда-нибудь. Но он был всего лишь деревом.

– Доброе утро, – прошелестели деревья вокруг.

– Здравьете, – сказал жук, – я – жук.

И деревья засмеялись.

– Вы не знаете, что значит быть жуком. Вы привязаны к земле, а я жук: жужжу – что хочу, ем – когда хочу, лечу – куда хочу.

– Как удивительно, – сказали деревья. Они ему не поверили. И жук больше с ними не разговаривал. Все листья на нем облетели. Однажды пошел снег. Жук стоял голый, но ему не было холодно. Он заснул. Зимой засыпают все деревья.

А весной он проснулся. На нем, как и на всех деревьях, проклюнулись молодые листочки, его корни пили влагу из земли, на его ветвях птицы сви-

ли гнезда. Иногда прилетали жуки, но наш жук уже не узнавал их. Он забыл, что был жуком. Он стал деревом: радовался солнцу, теплому дождю, ветру и облакам и был счастлив, если в его тени отдыхал уставший путник.

## РОЖДЕСТВО

«**Ж**ук, который был елкой, ходил по домам и квартирам, выдавал себя за Рождественскую елку, нагло колядовал, и в конце концов лопнул, обожравшись конфетами».

Матвей уснул в самом начале этой сказки. Ночь. Половина третьего. Мы вернулись со службы. Соня в одних трусиках стоит перед иконами и молится. Ей холодно.

– Соня, залезай под одеяло, там домолишься.

– Нет, я так не могу.

Я жду. Мне хочется спать. Окончив диалог с Богом, Соня забирается в кровать и дрожит под одеялом.

– Рас-с-скажи п-про жука, к-который был к-кружевом.

– Жил-был жук, который был кружевом. И все жуки смеялись над ним. Они были черными, коричневыми, в крапинку – настоящие жуки, а он – белый, прозрачный, тонкий, как паутинка...

– Я знаю, – перебивает меня Соня. – Он был не жук, а жучиха.

– Нет, он был жук. Он страдал от своей утонченности, и не знал, как ему жить, – говорю я и замолкаю.

– Я знаю, – выручает меня Соня, – ему надо поменяться с какой-нибудь дамой из парижской коммуны.

– Да? Согласен. Дама из парижской коммуны была стальная и свинцовая. Они поменялись формами, жук стал как все и заскучал. А дама из парижской коммуны ловила кружевами рыбу в реке и поймала золотую рыбку.

– Нет, – говорит Соня, – он поменялся с ней обратно.

– Хорошо. Жук опять стал кружевом, выстирал себя в стиральной машине и полетел на небо. Да. Тут пришла зима. Жук влюбился в снежинку, они были очень похожи и обвенчались.

– Жена жила у него в холодильнике?

– Ну да. И у них появились дети: искусственные снежинки, ими украсили на Рождество нашу елку. Все, спать!

– Покажи.

Я встаю, иду к елке и снимаю с ветки искусственную снежинку.

– Вот.

– Это их ребенок?

– Да.

– Какой некрасивый.

– Нормальный.

– У этой сказки есть продолжение, – говорит Соня, – рассказать?

Три часа ночи. Хорошо, что у Сони каникулы – завтра отоспится. А я, во сколько бы ни лег, встаю до рассвета. Завтра, нет, уже сегодня, проснусь и запишу эту сказку. Я зеваю.

– Рассказывай.

## СКАЗКА ПРО СЕМЕЙНУЮ ЖИЗНЬ

« **Ж**или-были принц и принцесса, и было у них двое деток...  
– У принцев и принцесс детей не бывает, они сами дети.  
– Хорошо. Соня, Матвей, глаза закрыли. Слушаем сказку. Жили-были король с королевой, и было у них двое деток. И как-то так получилось, что король с королевой друг другу крепко надоели. Жили, любили и вдруг надоели. Так бывает: королю надоела яичница по утрам, королеве – рюмочки, которые король иногда выпивал. Чувствуют, что вот-вот и развод: раздел королевского имущества. Но двое деток... Решили они с парашютом прыгнуть. Говорят, помогает. Первой прыгнула королева, ей семья была дороже. Ага, не помогло. Ударилась правой рукой о землю, думала – перелом, но доктор сказал – ушиб. Болит рука страшно, муж совсем опротивел. Тут уже и король собрался на аэродром. А через два часа звонит, хохочет: перелом левой руки в двух местах. Королева на такси привезла его домой, а он бац – в обморок. Вызвали скорую: оказалось, позвончик треснул. Положили короля в больницу на растяжки, растянули, то есть, чтобы позвонки не скрючивались. Королева с детками одна дома мается. Утром деток в школу, потом в больницу к королю, потом на работу, в магазин, в школу, в больницу, домой, в школу, в больницу, в магазин, домой, в школу... А еще и в ЖЭК, ужас. Рука болит, не проходит. Вот уже и короля выписывают. Тут королевский доктор королеве рентген сделал на всякий случай. Оказалось, у нее не ушиб, а тоже перелом, и какой-то там уже некроз завелся. Гипс наложили, укол сделали. И вернулись король с королевой домой оба загипсованные. У королевы правая рука, у короля – левая. Яичницу детям по утрам вдвоем жарят. И вообще друг без друга обойтись уже не могут. Две руки на двоих – это немало. Если две левые, то, конечно, не так удобно, а тут и правая, и левая. Из двух один человек образовался. Муж да жена одна плоть стали. Кости срослись, гипс сняли, но привычка сохранилась. О разводе и думать забыли. И детки успокоились, а то ведь нервничали: как их делить будут. Все. Вопросы отменяются. Спать. Ангела-хранителя, детки.

## О СЧАСТЬЕ

«З асыпашь?

– Угу.

– Ангела-хранителя, любимая.

Человек прыгал на одной ножке и повторял: «Я счастливый человек! Я – счаст – ли – вый – че – ло – век!» Это начало сказки.

А на улице моей  
Голуби голубят выгуливали:  
Гули-гули.  
Кошки котят вылизывали:  
Мяу-мяу.  
Собаки виляли хвостами,  
А дети сажали деревья.  
Сердце мое радовалось-радовалось  
И разбилось.

Меня распирает от счастья. Если сейчас вдруг умру...

Наша собака Вара долго болела, редко вставала похлепать из миски, трудно укладывалась, вздыхала. Я, проходя мимо, трогал ее: теплая, значит живая. Раньше Вара, когда спала, храпела, теперь – нет. Десять лет. Для черных терьеров это срок. Ее братья и сестры поумирали почти одновременно: в одно лето. Вара-Вара. Я забыл закрыть калитку. Оглянулся, вдруг, не знаю почему, и увидел резво убегающую Вару. Она радостно виляла обрубок хвоста. Вара торопилась умирать.

– Вара! Варька!

Не до меня. Не до всех. Хм. Сбежала туда, где нет «ни болезней, ни вздыхания». Вара нас любила. К старости устала любить. Но какая сила вдруг так преобразила ее? Уж точно не человеколюбие. Мы неделю искали ее в лесу. Не нашли. Н-да. Тут нужно было бы связать это с человеком, со счастливым человеком. Не связывается. А что если счастье человека – последнее покаяние? Вот оно, преображение: я всем прощаю, и Тебе больше нечего будет прощать мне, Господи. Ты лишил меня времени грешить. Я больше никого не обижу, не солгу, мне некогда грешить, я спешу к Тебе, Господи. Вот оно, счастье!

Утром проснется Улинька, я ей сказку прочитаю: «Жил-был счастливый человек...»

## СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие .....	3
<b>БУМАЖНОЕ КИНО .....</b>	<b>7</b>
Я делаю открытия .....	8
О вреде курения табака .....	9
Абгемахт.....	11
День рождения Наполеона .....	12
Бытие.....	19
Финиковая ветвь.....	21
Фетишист .....	27
Выдох .....	28
Кто сказал, что Фрейд прав? .....	29
Жертва .....	30
Книга Соколова .....	31
Путешествие отца и сына.....	33
Про говно .....	35
Три подвига Геракла .....	39
Балабол.....	40
Сидя на золотом крыльце.....	41
Умиление.....	43
Оболонцы.....	45
Воскресенье.....	47
Иерейский детектив.....	48
О пользе антисемитизма.....	55
Бумажное кино .....	56
<b>НОМЕ VIDEO .....</b>	<b>67</b>
<b>ПЯТАЯ КНИГА .....</b>	<b>109</b>
Последний русский.....	110
Лосев (эпизоды).....	110
На конференции .....	111
Легко запомнить .....	116
Запой.....	116
В течение жизни .....	119
Из жизни поэтов.....	122
Пластилиновый рай .....	124
Я – Гагарин .....	130
Стол .....	131
Бог, весна и парикмахерша.....	132
Чудо .....	134
Предчувствие дождя.....	136

Мама.....	138
Спасающая мир красота.....	140
Женихи.....	141
Пять лет.....	143
Во-вторых.....	144
Среди ночи.....	146
Ильин день.....	147
Завтра.....	149
Два монастыря.....	149
О ТАНЕ.....	153
ДЕТСКИЙ МИР.....	189
Пробуждение чувств.....	190
Время сказок.....	191
Про лампочку, которая не хотела выйти замуж.....	193
Как я выдумал сказку.....	194
Принцесса и карандаш.....	195
Благонамеренная история.....	197
Любовь – не картошка.....	199
Живое.....	200
Машина времени.....	201
Человек с маленькой буквы.....	203
Присказка.....	204
Святой дурак.....	204
Сильная любовь.....	206
Спичечная судьба.....	207
Слезы.....	209
Мальчик.....	210
Ирпень-рыба.....	213
Пикник на том свете.....	214
Покаянный канон.....	215
Черный пианин.....	215
Жизнь в розовом доме.....	217
Благодарные разбойники.....	218
После дождика в четверг.....	221
Крик.....	222
Сухарик.....	223
Дерево.....	225
Рождество.....	227
Сказка про семейную жизнь.....	228
О счастье.....	229

Художньо-літературне видання

**Столяров Олександр Миколайович**

## **НОВА КНИГА**

Оповідання, повісті

*(Російською мовою)*

Відповідальні за випуск *Олександр Ананьєв, Ігор Собко*  
Редактор *Вікторія Цимбал*  
Технічний редактор *Валентина Усенко*  
Коректор *Валентина Нечай*  
Комп'ютерна верстка *Віти Суглобової*  
Фото *Юрія Косіна*

Видання благодійної організації  
«Центр православної культури «Лествиця»  
49000, м. Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 23  
Тел. (056) 74478-78  
[www.lestvitsa.dp.ua](http://www.lestvitsa.dp.ua); e-mail: [lestvitsa@bk.ru](mailto:lestvitsa@bk.ru)

Підписано до друку 05.12.2011 р. Формат 60x84<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Папір офсетний. Друк офсетний.  
Ум. друк. арк. 13,48. Ум. фарбовідб. 13,94. Обл.-вид. арк. 15,12.  
Наклад 1000 прим. Замовл. № 4043.

Видавництво ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС»  
49010, м. Дніпропетровськ, узвіз Лоцманський, 10-А  
Свідоцтво ДК № 4052 від 21.04.2011 р.

Друкарня ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «АРТ-ПРЕС»  
49010, м. Дніпропетровськ, узвіз Лоцманський, 10-А  
Тел./факс (056) 370-20-27  
[www.art-press.com.ua](http://www.art-press.com.ua)

ISBN 978-966-348-259-0